

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1954

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка)	3
Н. И. Конрад (Москва). О литературном языке в Китае и Японии	25

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. Бокарев (Москва). Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков	41
Р. А. Будагов (Москва). К вопросу о языковых стилях	54

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. А. Магомедов (Тбилиси). Неизданная монография П. К. Услара о та- басаранском языке	68
--	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. К. Чичагов (Москва). Филологические заметки (К выходу в свет пер- вого научного издания новгородских грамот на бересте)	77
---	----

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

К. Яначек (Прага). Что мы знаем в настоящее время об этрусском языке?	93
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Белецкий (Киев). Р. А. Будагов. Очерки по языкознанию	102
Т. Г. Брянцева и Р. М. Цейтлин (Москва). Инструкция для состав- ления «Словаря современного русского литературного языка» (в трех томах)	111
М. А. Соколова (Ленинград). П. Я. Черныш. Язык Уложения 1649 года.	122
Э. А. Макаев (Москва). М. П. Стеблин-Каменский. Истории скандинавских языков	126

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вал. Вас. Иванов (Москва). Обсуждение вопросов формирования русской народности и нации	133
В. Л. Воронцова, Н. З. Гаджиева, А. И. Сумкина (Москва). В Институте языкознания АН СССР	151
М. Г. Сенкевич (Москва). Совещание по вопросам болгарской грамматики	156

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции)
Р. А. Будагов, В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов,
Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного
редактора), В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42.

Т-04010	Подписано к печати 19. V. 1954 г.	Тираж 14 000 экз.	Зак. 121
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 5	Печ. л. 13,7	Уч.-изд. 17,0

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

В. В. ВИНОГРАДОВ

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВСОЧЕТАНИЙ

(На материале русского языка)

1

В синтаксис, кроме учения о предложении, кроме правил составления предложений или соединения слов в предложение, входит описание способов сочетания слов, описание видов словосочетаний.

Изучая правила сочетаемости слов и форм слов, синтаксис, естественно, прежде всего обращается к тем грамматическим единствам, которые, возникая из сочетания слов по законам или правилам данного языка, выражают в составе предложения единые, хотя и расчлененные значения. Такого рода грамматические единства, называемые словосочетаниями, состоят не менее чем из двух полнозначных слов и являются строительным материалом для предложения. Только в составе предложения и через предложение словосочетания входят в систему коммуникативных средств языка. Рассматриваемые вне предложения, как строительный материал для него, словосочетания так же, как и слова, относятся к области номинативных средств языка, средств обозначения предметов, явлений, процессов и т. п.

Вопросы о грамматической сущности словосочетания, об объеме словосочетания, о его форме и значении, о его отношении к предложению и слову в разных языках еще остаются мало изученными. Кроме того, в определении словосочетания и в понимании его отношения к предложению нет полного согласия и единства между разными грамматистами.

Одни языковеды, опираясь на буквальный этимологический смысл термина «словосочетание», относят к словосочетаниям все виды грамматического сочетания полнозначных слов — независимо от различий их структуры, их функций в процессе общения и их отношения к разным формам мышления. Именно на такой точке зрения стояли некоторые представители нашего отечественного языкознания: А. В. Добиаш, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон и др.

Так, Ф. Ф. Фортунатов, считая предложение лишь разновидностью словосочетаний, определял словосочетание следующим образом: «Словосочетанием в речи я называю то целое по значению, которое образуется сочетанием одного полного слова (не частицы) с другим полным словом, будет ли это выражение целого психологического суждения или выражение его части»¹. С этой точки зрения все сочетания слов, включая сюда

¹ Ф. Ф. Фортунатов, О преподавании грамматики русского языка в средней школе, в кн. «Труды Первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях (22—31 декабря 1903 г.)», СПб., 1904, стр. 393.

и те, которые соответствуют предложениям, рассматривались в одной плоскости. Структурное различие между словосочетанием и предложением как разными синтаксическими категориями стиралось: предложение выступало лишь как форма или разновидность словосочетания, как «законченное словосочетание». Больше того: при таком широком понимании словосочетания границы его могут далеко выходить за пределы простого предложения; сочетание словосочетаний или сложное словосочетание становится синонимом сложного предложения. Изучение структуры предложений в таких случаях или вовсе отсутствует, или сводится к простому подведению слов и словосочетаний под традиционные рубрики членов предложения.

Напротив, у тех языковедов, для которых в центре синтаксиса находилась теория предложения и его членов (например, у Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, А. А. Шахматова и др.), изучение словосочетаний отходило на задний план и даже нередко совсем исчезало из синтаксиса.

Между тем словосочетание и предложение — качественно различные синтаксические категории. В отличие от предложения, словосочетание совсем не является цельной единицей языкового общения и сообщения. Для структуры словосочетания не характерны и не типичны те своеобразные так называемые «субъективно-объективные» синтаксические категории (вроде категорий лица, времени и модальности), которые обуславливают относительную законченность сообщаемой мысли в речи. Вместе с тем важность изучения словосочетаний как строительного материала для предложения несомненна. В правилах сочетания слов, в закономерностях образования разных видов и типов словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка.

Словосочетание организуется около одного знаменательного слова, являющегося стержнем словосочетания; это обнаруживается как в формальной, так и в смысловой его стороне². Конструктивные свойства словосочетания чаще всего определяются морфологическим строем его господствующего, стержневого слова. Словосочетанию так же, как и слову, принадлежит способность формоизменения, т. е. обладание системой форм. В связи с этим находится многообразие синтаксических функций одного и того же словосочетания, если его господствующее, стержневое слово является изменяемым. Например: *сторонник мира, сторонника мира, стороннику мира* и т. д.

Естественно, что в систему форм глагольных словосочетаний — *изучать философию, заниматься пением, сочувствовать товарищу* и т. п. входят и их предикативные формы: *изучаю философию, занимаюсь пением* и т. п. Но эти формы представляют собой лишь потенциальный материал для составления предложения, так как словосочетание само по себе не имеет интонации сообщения и ему чужды соотносительные категории подлежащего, сказуемого и других членов предложения. Проблема предикативных соединений слов относится не к теории словосочетания, а к учению о предложении. Впрочем в большей части современных грамматических исследований синтаксические категории, свойственные словосочетанию и предложению, смешиваются самым беззащитным образом. Поэтому и объем категории словосочетания, и состав разных видов словосочетаний, т. е. синтаксические границы словосочетания, и их классификация, их деление на виды или типы остаются во многом неопределенными.

² Ср. Z. Klemensiewicz, *Scupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe*, Kraków, 1948, стр. 1.

Если признать, что отправной базой изучения словосочетаний является анализ двусловных (не считая служебных слов) сочетаний, образующих грамматическое единство, способное выражать цельное значение и служить обозначением, то сразу станет ясным, что сюда не могут быть отнесены такие, например, вырванные из предложения словесные отрезки: *они, пьяные, потные...* («Все *они, пьяные, потные*, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню». Л. Толстой, *Война и мир*); *трезвый, он...* («Но однажды, *трезвый, он* прочитал мне только что написанный им рассказ о мужике». Горький, *Сторож*); *обессиленный, онемев, я* чувствовал, что страшная тяжесть давит меня». М. Горький, *Сторож*); *жизнь теплая* — в отличие от словосочетания *теплая жизнь* («Т е т е р е в. А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают *жизнь теплую*, жизнь сытую, жизнь удобную». Горький, *Мещане*) и т. п.

Такого рода отношения слов, наблюдаемые в составе предложения, возникают на основе словосочетаний, но представляют собою своеобразные видоизменения их, обусловленные отношениями членов предложения, наличием элементов интонационного членения и т. п. В сочетаниях слов этого типа исследователи обычно находят утверждение, хотя и неполное, выражаемое инверсией (перестановкой) прилагательного, интонационным его обособлением. Синтаксические отношения, связанные с выражением утверждения или отрицания, с направленным на окружающую действительность сообщением, называются предикативными — в широком смысле этого слова. Они типичны для предложения. Отношения предикативные осуществляются лишь в составе предложения и возможны только между членами предложения; следовательно, эти отношения не могут рассматриваться в синтаксическом учении о словосочетании и разных его типах. Вот почему широко распространенное деление словосочетаний на два главных разряда — непредикативные и предикативные — лишено внутреннего основания: оно возникло вследствие смешения вопросов изучения словосочетания и структуры предложения³.

Механический перенос предложения в круг словосочетаний связан с ликвидацией в предложении самых существенных его признаков: со стороны значения — функции единицы сообщения и средства общения, со стороны формы — интонации предложения. Когда предложение рассматривается как словосочетание или соединение словосочетаний, тогда от него обычно отнимается интонация. Между тем интонация — органический элемент структуры предложения. Любопытна в этой связи данная А. А. Шахматовым характеристика отличий словосочетания от предложения: «Со стороны формы, словесного облика, предложение отличается от соответствующего ему, состоящего из тех же слов незаконченного словосочетания интонацией; со стороны значения предложение отличается от незаконченного словосочетания соответствием законченной единице мышления...»⁴

Из сказанного ясно, что так называемые «предикативные словосочетания» не относятся к синтаксическому учению о формах и типах словосочетаний. Этот же вывод с несомненностью вытекает и из анализа структурных качеств словосочетаний. Словосочетание хотя и резко отличается по своей структуре от отдельного, даже сложного слова, представляющего

³ См., например: В. П. Сухотин, Проблема словосочетания в современном русском языке, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», под ред. В. В. Виноградова, М., 1950, стр. 176—177.

⁴ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., Учпедгиз, 1941, стр. 274.

собою не делимое на самостоятельные синтаксические элементы морфологическое целое, все же, подобно слову, может иметь систему форм; предикативное же сочетание слов спаяно в единство категориями лица, времени и наклонения и, будучи единицей сообщения, не является именованием.

Словосочетание обычно образуется на основе слова, принадлежащего к той или иной части речи, в соответствии с правилами сочетаемости этого слова с другими словами. Учение о словосочетании и его видах или типах в русском языке еще со времен «Российской грамматики» М. В. Ломоносова было тесно связано с учением о частях речи. Отсюда возникла и группировка словосочетаний по стержневому, грамматически господствующему, главному слову, в зависимости от которого находятся другие слова в составе того или иного словосочетания. Различают словосочетания именные (субстантивные и адъективные), глагольные и наречные (или адвербиальные). Это различие очень важно. Есть синтаксические связи, типичные для отдельных частей речи (например, для глагола — сочетания с винительным прямым объектом, для существительных — с родительным определительным, с родительным субъектом, а также с согласуемым прилагательным). Таким образом, правила образования словосочетаний прежде всего вытекают из морфологических свойств разных частей речи с присущим каждой из них кругом форм и категорий.

Но, наряду с этим делением словосочетаний, его пересекая и осложняя, идет (со стороны главного, господствующего слова) деление словосочетаний по семантическим классам и словообразовательным гнездам, объединяющим в своем составе слова разных частей речи — иногда по общности основы и по связи словообразовательных отношений, иногда по общему семантическому качеству; например: *согласиться с кем-чем* — *согласие с кем-чем* — *согласный с кем-чем*, *согласно с чем* (но ср.: *согласно чему* и — в канцелярском стиле — *согласно чего*); ср. также: *доверять кому-чему*, *доверие к кому-чему*, *доверчиво к кому-чему* (*относиться*); *покориться судьбе*, *покорный судьбе*, *покорность судьбе* и т. п. Вместе с тем, на основе взаимодействия разных типов словосочетаний, в связи с развитием так называемых слабоуправляемых предложных связей, широко распространяются, охватывая разные части речи и разнообразные семантические разряды слов, словосочетания со вторым обстоятельственным или обстоятельством-определяющим членом, например: *остановиться у реки*, *дом у реки*, *высокий у реки холм*; *устать от хлопот*, *усталый от хлопот*, *усталость от хлопот* и т. д.

Разные типы словосочетаний, обладая системой форм, присущей грамматически господствующему слову словосочетания, могут выполнять в строе предложения очень разнообразные функции. Так, именное словосочетание *первый снег*, состоящее из имени существительного *снег* в качестве грамматически господствующего, стержневого слова и из согласованного с ним порядкового числительного, в разных своих формах (*первого снега*, *первому снегу*, *первым снегом*, *о первом снеге*) может играть разную роль в составе предложения и по-разному входить в состав сложных словосочетаний (например: *рассказ о первом снеге*, *близина первого снега*, *лыжный пробег по первому снегу* и т. п.).

Морфологические категории имеют разную степень внутреннего единства; слова, относящиеся к разным морфологическим категориям, обладают разным по численности и по многообразию функций составом форм. Вот почему и правила сочетания слов — в зависимости от их морфологической природы — очень разнообразны. Для примера возьмем простейший случай — синтаксическое употребление слов, относящихся к именам прилагательным. Обозначая качество, признак предмета, имена прилагательные в русском языке, как правило, всегда сочетаются с именами суще-

ствительными и облекаются в соответствующие определяемым ими словам формы рода, числа и падежа. При этом по законам русского языка прилагательное в словосочетании всегда ставится впереди определяемого им существительного, например: *осенняя пора, голубое небо, свежий ветер*. У М. Исаковского (в стихотворении «Новый Свет») — об Америке:

Лежит на ней *бесславных дел* позор,
В ней все живое — ныне под запретом...
Так по какому ж праву до сих пор
Она еще зовется *Новым Светом*?

Функция согласуемого определяющего слова к имени существительному, в основном, определяет роль имени прилагательного в составе словосочетания. Однако имя прилагательное, образуя замкнутое по смыслу словосочетание с тем существительным, с которым оно согласуется, в некоторых своих семантических разрядах может распространяться и зависимыми от него формами косвенных падежей имен существительных без предлога или с предлогами; например: *твердый в решениях, опытный в садоводстве, коричневый от загара, слепой от рождения, строгий к себе, чувствительный к переменам погоды* и т. д. Как уже сказано, эти синтаксические свойства, хотя они все больше и больше развиваются в именах прилагательных, характеризуют не всю эту категорию слов в целом, а лишь отдельные, правда, многочисленные и все растущие семантические группы в ее пределах. Типической и основной синтаксической функцией всякого имени прилагательного, кроме способности сочетаться с наречными определениями или характеристиками количества, степени и эмоциональной оценки (*очень хороший, весьма старательный, ужасно добрый, замечательно правдивый* и т. п.), остается функция согласуемого определяющего слова к имени существительному. Синтаксические отношения, связанные с этой функцией, в научной лингвистической литературе обычно называют отношениями атрибутивными, или определительными.

Но в строе предложения эта основная синтаксическая функция имени прилагательного может быть осложнена и видоизменена. Здесь связь признака и предмета, лица может представляться не как непосредственно данная в акте обозначения (*мужественный борец за свободу, милая невеста, дорогая жена*), а как устанавливаемая, приписываемая предмету, лицу.

На этой почве связь прилагательного с существительным видоизменяется и развиваются своеобразные отношения прилагательного с глаголом-сказуемым; синтаксические связи такого прилагательного становятся двойственными, двусторонними. Например: «Она сидела, как каменная, вся *иселтая, бледная, с сжатыми губами*» (Тургенев, *Дворянское гнездо*); «Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, *красный, важный*, как генерал» (Горький, *В людях*); «За кормой шелково струится, тихо плещет вода, *смолистогустая, безбрежная*» (Горький, *Мои университеты*); «Никита Зотов стоял перед ней истоиво и прямо, как в церкви, — *расчесанный, чистый*, в мягких сапожках» (А. Толстой, *Петр Первый*).

Кроме того, широкие стилистические возможности перемещения, открывающиеся для имени прилагательного в структуре распространенного предложения, и способность вступать в ряды однородных, т. е. выполняющих одну и ту же определительную функцию, слов и словосочетаний способствуют отделению, обособлению форм имени прилагательного от определяемых ими существительных внутри предложения. Тем самым

в составе предложений существенно преобразуются приемы употребления прилагательных, типичные и закономерные для словосочетаний⁵.

Вместе с тем необходимо заметить, что между определительными (или атрибутивными) отношениями и отношениями предикативными наблюдается самое тесное взаимодействие: они взаимообратимы. Например: *белый потолок, сладкий сахар, черные сапоги*; ср.: «Лебедев. На этом свете все просто. *Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий*» (Чехов, Иванов).

Особенно разнообразны и многочисленны типы словосочетаний, состоящих из имени существительного или глагола в качестве грамматически господствующего, стержневого слова и из зависимой предложной и беспредложной формы другого существительного (например: *чашка чаю, чайник с отбитым носиком, конверт без марки, мысль о погибшем друге, борьба за мир во всем мире; возделывать землю, освободиться от забот* и т. п.). Глагольные словосочетания отличаются от субстантивных разнообразием связей с наречиями и наречными образованиями (например: *говорить шопотом, идти шагом, опрометью броситься навстречу, читать про себя, выговорить вслух, стать на вытяжку, глядеть исподлобья* и т. п.).

В кругу субстантивных словосочетаний наблюдаются существенные различия в характере связей между теми словосочетаниями, в которых грамматически господствующим словом является отглагольное существительное (например: *злоупотребление властью, вмешательство в чужие дела* и т. п.) или семантически соотносительное с глаголом (например: *ход конем, пешкой*), и между словосочетаниями с господствующим словом конкретно-предметного значения (например: *стул без спинки, сарай с железной крышей* и т. п.).

Таким образом, на основе сочетания принадлежащих к разным частям речи слов с зависимыми от них словами и на основе обобщения этих связей у семантически однородных групп слов формируются разные типы словосочетаний.

2

При изучении словосочетаний бросается в глаза тот факт, что способность слова сочетаться с другими словами и формы проявления этой способности зависят не только от принадлежности слова к той или другой части речи, но и от его лексического значения.

Чрезвычайно важным фактором обобщения или унификации синтаксических связей слов, относящихся к разным частям речи, является принадлежность этих слов к одному и тому же лексическому, словообразовательному гнезду или к однородной семантической группе. Слова, составляющие в силу общности основы, в силу своих живых и тесных словообразовательных связей одно и то же лексическое гнездо, очень часто характеризуются одноклассными синтаксическими связями (за исключением таких случаев, как, например, переходные глаголы с винительным прямым объектом, управление которых, по законам грамматики русского языка, не может перейти к производным отглагольным существительным и прилагательным). Во взаимодействии разных видов словосочетаний играет огромную роль единство или, лучше, обобщение синтаксических связей, присущих как основному, так и производным от него словам, например: *дружить с товарищем — дружный с товарищем, дружба с товарищем* (ср. разные оттенки значений словосочетаний: *друг товарища, верный*

⁵ Любопытно, что определительные отношения имен прилагательных к личным местоимениям могут устанавливаться только в составе предложения.

друг товарищу и большой друг с товарищем); простой в обращении, простота в обращении; торговать хлебом, торговля хлебом, торговец хлебом; бороться за мир, борьба за мир, борец за мир; страх за кого-нибудь, что-нибудь — страшно за кого-нибудь, что-нибудь — страшиться за кого-нибудь, что-нибудь; чувствительный в чем-нибудь и к кому-нибудь — чувствительность в чем-нибудь и к кому-нибудь, чему-нибудь; твердый, смелый в решениях, твердость, смелость в решениях и т. п. Тут открываются новые линии связи законов словообразования с законами и правилами грамматики.

В той мере, в какой производные слова сохраняют те же синтаксические свойства сочетаемости с другими словами, что и слова производящие, законы словопроизводства и правила соотношения основ оказываются тесно связанными с правилами образования словосочетаний. Следовательно, правила образования разных типов словосочетаний отчасти опираются на законы общности или соответствия синтаксических связей у словообразовательно однородных цепей слов. Эти качества словосочетаний и эти взаимодействия разных видов словосочетаний еще ярче и нагляднее подтверждают мысль о необходимости выводить предикативные сочетания слов за пределы теории словосочетаний.

Вместе с тем известно, что одно и то же слово в разных значениях может вступать в различные связи с другими словами или даже вовсе утрачивать способность сочетаться с зависимыми от него словами, например: *он курит и курить крепкие сигары; сдать три предмета и предметы искусства; почувствовать во рту горечь и горечь разлуки; полное ведро лесной малины и полный энергии, сил; солнце пекло и женщина пекла хлеба; печенье хлеба и сладкое печенье; семейный очаг и очаг войны, очаг заразы и т. д.* Поэтому иногда выдвигается деление слов на слова абсолютные и относительные по признаку их сочетаемости с другими словами, по способности быть распространенными другими словами и «управлять» ими (например, у акад. Л. В. Щербы, у чешского синтаксиста В. Шмилауера)⁶. Вернее было бы говорить об абсолютных и относительных значениях слов: некоторые слова для полноты смысла обязательно требуют распространения (например: *купить, хотеть, стремиться, направиться, передача* и т. д.); другие и без такого распространения образуют целостное обозначение действия, предмета и т. п. (например: *рассвет, крошиться, устать, заснуть* и т. д.).

Вопрос о закономерностях сочетаемости одного слова с другими в зависимости от его значений, о связи разных значений слова с разными способами его сочетаний, с разными формами его синтаксического распространения другими словами имеет большое значение для синтаксиса словосочетаний. К сожалению, в толковых словарях русского языка, а также в общей теории русской лексикографии нет строго разработанной системы описания синтаксических качеств слова, обусловленных его многозначностью.

Впрочем, несмотря на всю свою важность, семантические наблюдения над связью значений слова с его синтаксическим употреблением, с формами и характером его синтаксического распространения, его синтаксической сочетаемости служат лишь одним из средств исчерпывающего описания и изучения способов образования словосочетаний и принципов разграничения их разных видов. Только на широкой базе — грамматической, словообразовательной и семантической — могут быть определены общие грамматические правила образования словосочетаний и установлены их основные, исторически сложившиеся в языке типы.

⁶ См. V. Š m i l a u e r, *Novočeská skladba*, Praha, 1947.

3

Следует различать словосочетания простые и сложные. Простые словосочетания обычно двусловны: они состоят из двух знаменательных слов, например: *простые люди, знаменосец мира, решить задачу, усердно заниматься, движение вперед* и т. п.⁷ К простым словосочетаниям семантически примыкают те трехсловные словосочетания, в которых определительная часть представляет собой семантически неделимое словосочетание с целостным смысловым содержанием. Это бывает в тех случаях, когда одно из определительных слов является обозначением слишком общего критерия классификации, разграничения и характеристики и поэтому не может быть вполне конкретным определением, а также когда определительный член относится к числу фразеологических единств или грамматических идиоматизмов. Например: *мужчина средних лет, девушка скромного поведения, мальчик семилетнего возраста, актер с развинченной походкой, дом в три этажа, дочь семи лет, праздник Первого мая, событие двадцатилетней давности* и т. п. Вообще словосочетания, состоящие из существительного и зависимой от него формы родительного падежа другого существительного со значением возраста, веса, количества, отвлеченного свойства, обычно включают в себя для полноты смысла имя прилагательное, определяющее степень возраста, веса, количества, качества, отвлеченной принадлежности (например: *человек острого ума, большого таланта, сильного характера; двигатель огромной мощности, ящик среднего размера* и т. п.).

Характерным признаком словосочетаний этого рода является то, что они образуются посредством определительного распространения стержневого слова, а не словосочетания и что зависимый член их может служить полноценным определением только как целое словосочетание (ср. смысловую неполноту, а потому и невозможность образования сочетаний «человек характера», «двигатель мощности», «ящик размера» и т. п.).

Однако необходимо иметь в виду, что даже трехсловные словосочетания типа *человек твердого характера* близки к простым только с семантической точки зрения; в синтаксическом же отношении они, в сущности, ничем не отличаются от сложных словосочетаний (ср.: *старик с бородой, старик с седой бородой и старик с живыми глазами* — при смысловой недостаточности сочетания «старик с глазами»). В этом убеждают и наблюдения над другими способами синтаксического осложнения устойчивых фразеологических единиц, например: *иметь желание — иметь страстное желание; вести борьбу — вести ожесточенную борьбу; подавать надежды — подавать большие надежды; носить отпечаток чего-нибудь — носить резкий отпечаток чего-нибудь* и т. д.

Таким образом, с чисто грамматической точки зрения простыми словосочетаниями должны быть признаны синтаксически организованные и семантически цельные сочетания двух знаменательных слов, выражающие единое сложное значение и способные быть обозначением предмета, действия, качества и т. п. Не переставая быть номинативным единством

⁷ Словосочетания нельзя смешивать со сложными (или аналитическими) формами слов, так как эти формы не представляют собой соединения двух полнозначных слов и обычно входят в систему форм простого слова (*буду говорить, самый удобный, было стыдно, стал учиться* и т. п.). Точно так же нет оснований для отнесения к словосочетаниям современных русских составных числительных (вроде: *пятьсот, пятьюстами* и т. д.), так как в современном русском языке это — особый тип составных имен, изучаемых в морфологии. По тем же причинам не должны войти в круг словосочетаний ни неопределенные сложные местоимения, ни местоименные фразеологические единства, образовавшиеся в результате сращения и слияния частей сложного предложения (например: *неизвестно кто, какой попало, кто угодно, невесть что, бог знает где, неведомо почему, чорт знает что, не приведи бог какой, какой хочешь* и т. п.).

и не теряя своих семантических функций, простое словосочетание может распространяться другими словами по законам данного языка и в осложненном виде выражать новое, еще более расчлененное, конкретизированное, но единое, хотя и сложное значение, например: *спросить о здоровье* — *спросить о здоровье сына* — *взволнованно спросить о здоровье сына*; *спросить с волнением об исходе состязания* — *спросить с глубоким волнением об исходе сегодняшнего состязания* и т. п.

Сложное словосочетание в большинстве случаев является продуктом распространения простого словосочетания. При этом каждое новое слово или словосочетание, присоединяющееся к простому словосочетанию, должно прибавляться не к основному, господствующему слову, а к целому словесному комплексу, например: *близкий друг*, *наш близкий друг*, *близкий друг Пушкина*, *близкий друг всего нашего семейства*; *фарфоровый чайник*, *старинный фарфоровый чайник*, *старинный фарфоровый чайник с художественной росписью* и т. п.

Но есть и другой способ образования сложных словосочетаний — присоединение к господствующему слову не отдельного слова, а целого словосочетания. Именно так входят в сложные словосочетания двусловные словосочетания, функционально сближающиеся с наречиями и выражающие обстоятельственные значения; ср.: *вяло идти* и *идти вялой походкой*; *тихо поздороваться* и *поздороваться тихим голосом* и т. д. На этой основе возникает синонимический параллелизм двусловных и трехсловных словосочетаний.

У глагольных словосочетаний наблюдается соотносительность и параллелизм в формах построения между конструкциями с переходными невозвратными глаголами и между конструкциями с производными от них непереходными возвратными глаголами. Поэтому двусловным словосочетаниям, в которых главным словом является непереходный глагол с аффиксом -ся (например: *баллотироваться в депутаты*, *отправиться на Алтай*, *вовлекаться в работу*, *закутаться в платок* и т. п.), соответствуют трехсловные словосочетания, в основе которых лежит соотносительный переходный глагол (например: *баллотировать стазановца в депутаты*, *отправить бригаду на Алтай*, *вовлекать учеников в работу*, *закутать ребенка в платок* и т. п.).

У переходных глаголов приставочного образования способность распространения двумя существительными сразу иногда бывает заложена в самой грамматической структуре этих глаголов, а также в их семантических свойствах. Так, переходные глаголы со значением конкретного физического действия, имеющие приставку в-, сочетаются с формой винительного падежа прямого объекта и другой формой винительного падежа, которой предшествует предлог в: *вложить патрон в ружье*, *вдеть нитку в иголку*, *воткнуть заступ в землю*, *всадить пулю в стену* и т. п. Эти словосочетания легко распространяются и дательным падежом со значением косвенного объекта действия или творительным орудийным, например: *вложить противнику пулю в лоб*, *вбить молотком гвоздь в стену* и т. д.

Таким образом, сложные словосочетания далеко не всегда являются продуктом соединения целых словосочетаний. Очень часто они образуются путем распространения какого-нибудь слова или словосочетания. Однако широкое взаимодействие и взаимосвязь разных видов словосочетаний ведут к тому, что по типам и образцам простых словосочетаний широко образуются аналогичные типы сложных словосочетаний, например: *фраза о счастье* и *крылатая фраза о мецанском счастье*; *критика теории* и *убийственная критика теории бесконфликтности* и т. д.

Следовательно, правила образования простых словосочетаний, изучение типов простых словосочетаний в живом историческом развитии, пра-

вила составления сложных словосочетаний, изучение развития их основных типов — вот главный предмет теории словосочетания. Принадлежность словосочетания к номинативным средствам языка и к строительному материалу для предложения определяет типичные для того или иного периода в развитии языка границы распространения сложных словосочетаний. Они не могут заходить за пределы так называемых непредикативных сочетаний слов с цельным, хотя и сложным номинативным значением.

Вместе с тем развитие форм и видов словосочетаний происходит в самой тесной связи с развитием разных типов предложения. Как уже отмечалось выше, в центре учения о предложении и его типах лежит категория предикативности со всеми относящимися к ней частными категориями. Эта категория находится за границами теории словосочетания. Тем самым в особую проблему синтаксиса предложения выделяется изучение устойчивых грамматических предикативных конструкций, входящих в структуру разных видов сказуемых, например, конструкций с творительным предикативным, вроде: *делаться сильным, являться незваным, становиться мудрым, спать одетым* и т. д. В этой связи следует заметить, что сочетания глаголов модального и видового значения с инфинитивом в современном русском языке еще не отделились от соответствующего круга словосочетаний, так как им присуща непосредственно номинативная функция, например: *прекратить ссориться* (ср. *прекратить ссору*), *продолжать читать* (ср. *продолжать чтение*), *стремиться победить* (ср. *стремиться к победе*) и т. д., и так как широко развиваются близкие к ним и соотносительные с ними субстантивные словосочетания с инфинитивом (*желание нравиться, стремление открыть, возможность учиться* и т. д.).

4

В состав словосочетаний некоторыми исследователями (например, Й. Рисом, М. Н. Петерсоном, А. М. Пешковским и др.) вводятся разные виды так называемых сочинительных словосочетаний (или «слабых групп слов», «незамкнутых сочетаний», «открытых рядов»). Сюда относятся сочетания слов, не находящихся в грамматической зависимости одно от другого, а объединяемых на основе равноправного «сочинения», вроде: *война и мир; брат и сестра; не мир, но меч; лебедь, рак да щука; униженные и оскорбленные; дешево и сердито; виноват, а не сознается* и т. д.

Легко заметить, что этого типа сочетания слов однородны; их структурные свойства не зависят от грамматических связей между частями речи. В этих сочетаниях слова идут одно за другим, не вступая друг с другом в отношения подчиненности.

Синтаксические связи, выражаемые соединительными, противительными и разделительными союзами в так называемых словесных рядах или сочинительных словосочетаниях, отчасти синонимичны тем связям, которые выражаются соединительной паузой и интонацией перечисления или противопоставления; ср.: *сильные и смелые люди* и *сильные, смелые люди*; *великий, могучий, правдивый и свободный русский язык* (Тургенев) и *великий и могучий русский язык* и т. п.

Разные виды сочинительных сочетаний обычно извлекаются из круга так называемых однородных членов предложения. Например: «Сквозь *невеселую, хотя свежую* улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы» (Тургенев, Свидание); «Он повторил обвинения свои *слабым, но смелым* голосом» (Пушкин, Капитанская дочка); «*Точность и краткость* — вот первые достоинства прозы» (Пуш-

кин, О прозе); *«Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую, монотонную музыку»* (Чехов, Степь).

В «сочинительных», «незамкнутых» сочетаниях (сочетаниях однотипных единиц) количество параллельно идущих слов может быть, теоретически рассуждая, безгранично: пределы развития или распространения словесной цепи, построенной путем нанизывания однородных членов, в принципе ничем не ограничены.

Те синтаксические отношения, те связи, которые устанавливаются между частями «сочинительного», «однородного словосочетания» (или открытого словесного ряда), в одинаковой мере свойственны и сочетаниям отдельных слов, и сочетаниям групп слов. Например: «Мощный поток грузовых машин устремляется рано утром из гаража. Он растекается *по улицам города, по трактам области, по шоссе*, ведущим в Москву и в районные центры, *по заводам и фабрикам, колхозам и совхозам, станциям и пристаням, заготовительным пунктам, больницам и школам, стройкам, артелям, магазинам, элеваторам, базам и складам»* (Рыбаков, Водители).

«Однородность» слов и словосочетаний всегда связана со структурой предложения; понятие «сочинительных» или «однородных» словосочетаний вырастает на почве смешения словосочетаний и так называемых однородных членов предложения, на почве общего неразграничения словосочетания и предложения. В сущности анализ сочинительных, однородных словосочетаний почти всегда подменяется анализом однородных членов предложения, хотя и с очень своеобразной, больше семантической, чем грамматической, точки зрения.

При широком понимании состава сочинительных словосочетаний утрачивается ясное представление об основных структурных признаках словосочетания. Одноразрядность и одноформенность сочетающихся слов (на что иногда ссылаются как на существенный структурный признак «однородных словосочетаний») очень условна и непостоянна. Кроме того, в аспекте теории словосочетания непонятны принципы и приемы сочинительного сцепления слов, относящихся к разным частям речи, или различных форм одной и той же части речи, например: «Она слушала его *со страхом и жадно*» (Горький, Мать); «Няня повествовала *с пылом, живописно, с увлечением*, местами *вдохновенно*» (Гончаров, Обломов); «*Между окнами и по стенам висело около дюжины крошечных деревянных клеток с жаворонками*» (Тургенев, Пунин и Бабурин).

Однако парные сочетания слов, принадлежащих к одной и той же части речи и соединенных сочинительными (а может быть, также и сопоставительно-отождествительными) союзами, если они, вычленившись из состава предложения, подверглись лексико-семантической стабилизации, довольно широко употребляются в номинативной функции и тем самым раздвигают пределы словосочетаний в сторону так называемых словесных рядов. Сюда относятся сочинительные словосочетания типа *отец и мать* (родители), *день и ночь* (сутки), *муж и жена, униженные и оскорбленные, отцы и дети* и т. п. Но в целом словосочетания, образуемые посредством союзной сочинительной связи, приходится рассматривать как функциональные. Анализ их строя и их употребления в принципе ничем не отличается от анализа однородных членов предложения, имеющих ту же структуру.

5

Само собой разумеется, что при изучении предложений приходится иметь дело не только с законами соединения слов в предложения, но и с законами и правилами использования и соединения словосочетаний при

построении разных типов предложений. Есть такие синтаксические связи между словами, которые целиком определяются структурой предложения. Так, предикативное употребление слова или словосочетания может быть связано с расширением круга синтаксических связей этого слова или словосочетания, с усилением их конструктивных свойств. Например, слова со значением лица, выступая в предложении в функции сказуемого или при предикативном обособлении, могут сочетаться с дательным падежом: «А все-таки, она *ему не сестра*» (Тургенев, Ася); «Полковник наш рожден был хватом: *Слуга царю, отец солдатам*» (Лермонтов, Бородино).

Количественные наречия возможны лишь при тех существительных, которые выступают в роли сказуемого и выражают качественно-оценочные значения: *очень не дрянь, почти портрет, совсем дитя, вовсе глупыш* и т. п.

Существительные, относящиеся к категории лица, в предикативной функции развивают качественные значения и приобретают способность сочетаться с другими словами по типу качественных прилагательных или причастий, например: *формалист до мозга костей* (ср. *испорчен до мозга костей*); *чиновник до глубины души* (ср. *искренний до глубины души*) и т. п. Вместе с тем в составе предложения, на основе форм словосочетаний, иногда с включением союзных сцеплений целых предложений как частей сложной конструкции, могут устанавливаться более широкие и свободные связи между словосочетаниями и частями словосочетаний. Например: «*В первой моей молодости, с той минуты*, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели» (Лермонтов, Бэла).

Таким образом, формами словосочетаний, естественно, не определяются целиком те виды связей между словами, которые устанавливаются в строе предложения. Объясняется это не только тем, что в структуре предложения словосочетания могут быть раздвинуты или расслоены в силу тех или иных стилистических, эмоционально-смысловых заданий. Они могут сливаться или пересекаться друг с другом; они могут подвергаться изменениям, типическим для тех или иных видов распространения и осложнения предложений. Примером могут служить такие строки из стихотворения Некрасова «Родина»:

Воспоминания дней юности, *известных*
Под *громким* именем *роскошных и чудесных*,
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

На этой почве у некоторых языковедов возникает тенденция включить в теорию словосочетания все вообще виды и способы парных и более сложных соединений, сочетаний слов, наблюдающиеся в составе предложений. В таком случае в состав словосочетаний должны быть включены не только «предикативные» сочетания слов, однородные конструкции и т. п., но и основные части сложных предложений. С этой точки зрения словосочетание *мысль о гибели друга* вполне эквивалентно сочетанию слов *мысль о том, что друг погиб*.

Однако если видеть в сложном предложении соединение двух или нескольких словосочетаний, то придется признать, что простые предложения, становясь частями сложного предложения, превращаются в словосочетания. Тем самым в теорию словосочетаний включаются не только вопросы о правилах сочетания слов, о формах и типах словосочетаний, но и вопросы о трансформации простых предложений в словосочетания при

построении сложного предложения. Дело усложняется тем, что части сложного предложения, хотя и не имеют самостоятельной интонации сообщения, все же характеризуются наличием строго определенных интонаций, свойственных им как основным структурным элементам сложного предложения. Все это приводит к тому, что понятие словосочетания лишается твердых логических признаков.

Лinguисты, понимающие словосочетание чересчур широко, вынуждены различать описание форм словосочетаний, т. е., в сущности, морфологию словосочетаний, с одной стороны, и синтаксис словосочетаний, с другой. В синтаксис словосочетаний ими включается изучение структуры разных типов предложений во всем разнообразии интонационных схем их построения и со всеми относящимися сюда грамматическими категориями. При таком смещении основных понятий грамматики и основных ее разделов морфологии и синтаксис теряют свои границы и свои очертания, а в самом синтаксисе теория словосочетаний и теория предложения механически накладываются одна на другую.

6

Следует различать четыре основных категории или четыре основных вида правил формирования разных типов словосочетаний.

1. Правила, в которых выражаются свободные синтаксические связи, свойственные отдельным частям речи и обусловленные характером соответствующих грамматических категорий. Таковы, например, связи переходного глагола с формой винительного падежа существительного в роли прямого объекта действия (*косить сено, пилить доски, рубить дрова, мести пол, вытирать пыль, резать хлеб, читать книгу, писать письмо* и т. п.); таково согласование имени прилагательного, порядкового числительного, местоименного прилагательного и причастия в формах числа, рода и падежа с следующим за ним существительным (*серая туча, мокрый песок, первый снег, трескучий мороз* и т. п.); таково сочетание качественного наречия с глаголом (*усердно заниматься, громко петь, ласково ответить, приветливо улыбнуться* и т. д.).

2. Правила, которыми определяются способы построения разнообразных и многочисленных типов словосочетаний, имеющих в качестве «стержневого», главного члена слово, относящееся к любой части речи, с присоединенным к нему посредством предлога «слабоуправляемым» существительным. Относящиеся сюда типы словосочетаний чрезвычайно актуальны и продуктивны. Их отличительной чертой является двусторонняя и довольно свободная предложная связь между сочетающимися элементами.

Характер и особенности строения этих видов словосочетаний определяются не столько грамматическими или семантическими качествами господствующего «стержневого» слова, сколько спецификой выражаемых предлогами отношений между сочетающимися словами; например: *отправиться на курорт, путевка на курорт; погрузиться по пояс, мокрый по пояс, вода по пояс; сыт по горло, наестся по горло; синяки под глазами, синева под глазами, темнеет под глазами, лиловые под глазами круги; толпа у театра, толпится у театра, колонны у театра* и т. д.

Трудно сомневаться в том, что широкое развитие субстантивных и адъективных, а также наречных словосочетаний этого типа происходит под непосредственным влиянием глагольных словосочетаний, а также путем вычленения из предложения все более сложных словосочетаний предложно-именного характера. Ср.: «Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета» (Чехов, Дом с мезони

ном); «Сидела на скамье под яблоней, спустив белый шелковый платок с головы на плечи» (Горький, Жизнь Матвея Кожемякина).

В предложно-именных словосочетаниях обнаруживается явная тенденция к широкому переносу и усиленному развитию глагольных связей у тех существительных, которые по своему значению так или иначе соотносятся с соответствующими глаголами. Этот процесс достигает особенного развития в русском литературном языке XIX и XX веков. Предложно-именные сочетания, первоначально связанные с глаголами и зависевшие от них, с развитием и усложнением грамматического строя языка стали присоединяться непосредственно к именам существительным. [Например: *мандарины, доставленные или привезенные из Грузии — мандарины из Грузии; рамки, сделанные из сосновых шишек — рамки из сосновых шишек* (ср. у Горького в повести «Жизнь Матвея Кожемякина»: «Над постелью, в рамках из сосновых шишек, — две фотографии»). Ср. также: *письмо из Ленинграда, путь из города, «коренные поморы с Севера»* (Федин, Необыкновенное лето); *свет от уличного фонаря, тепло от печки, тропинка от дачи к пруду* и т. п.]

Сочетания существительных с зависящими от них предложными формами других существительных в русском языке все возрастают по числу и многообразию конструкций. Богатство и разнообразие значений предлогов обуславливает широту и разнообразие определительных функций сочетающихся с ними форм косвенных падежей существительных, нередко с яркой примесью обстоятельственных оттенков места, времени, причины и цели.

Наиболее употребительны и разнообразны по значениям конструкции, в которых пояснительные функции выражаются зависимыми существительными в творительном падеже с предлогом *с* и в предложном падеже с предлогом *в*.

В этом кругу словосочетаний, так же, как и в других, роль семантико-лексических категорий в уточнении и дифференциации синтаксических связей между словами очень велика. В этом отношении очень показательны конструкции из имен существительных, сочетающихся при посредстве предлога *с*. Если оставить в стороне словосочетания с главным словом — производным существительным, сохраняющим управление производящего глагола или прилагательного (*бороться с врагами — борьба с врагами; биться с неприятелем — бой с неприятелем; спорить с докладчиком — спор с докладчиком; соотносительный с существительными — соотносительность с существительными* и т. д.), то в субстантивных словосочетаниях этого типа выявляются три ряда отношений: а) отношения определительные (т. е. предмета и сопровождающего признака, содержащего и содержимого), б) отношения совместности и в) отношения объектные (т. е. состояния и предмета, по отношению к которому оно наблюдается или с которым оно связано); например: *девушка с характером, ученый с именем, солдаты с ружьями; отец с сыном, скатерть с салфетками; случай с письмом, история с поездкой, неприятности с деньгами* и т. п. Разграничение разных разрядов словосочетаний в этих случаях почти целиком определяется различиями в характере лексических или семантико-грамматических категорий, к которым относятся сочетающиеся существительные.

Изучение этих продуктивных типов словосочетаний неотделимо от исследования функций предлогов в той сфере синтаксических отношений, которая объединяется под названием «слабого управления». В тесной связи с развитием этих словосочетаний находится расширение форм и способов связи существительных с наречиями. В русском литературном языке со второй половины XIX в. начинает быстро развиваться особый тип словосочетаний, состоящих из существительных конкретно-предмет-

ного значения и употребленных в определительной функции наречий пространственного значения, например: *дверь налево, дыра подмышкой, столы посредине* и т. п. (ср.: *поставить столы посредине; увидеть подмышкой дыру; налево сделать дверь* и т. п.).

3. Правила, которыми определяются в строе словосочетаний связи слов не только грамматически обусловленные, но и семантически ограниченные. Такого рода связи можно было бы, в отличие от свободных синтаксических связей, назвать связями семантически не свободными, а образуемые на основе их словосочетания — словосочетаниями семантически связанными. Эти связи охватывают как слова разных частей речи — в силу общности или соотносительности их значений, — так и частные семантические разряды слов внутри одной и той же части речи.

В самом деле, в очень большом количестве случаев синтаксические связи, лежащие в основе того или иного разряда словосочетаний, осуществляются только по отношению к словам строго определенных семантических разрядов. Например, глаголы мысли, речи, чувства сочетаются с обозначениями предметов, на которые направлены мысль, речь или чувства, при помощи предлога *о* и формы предложного падежа существительного: *спросить о результатах поездки, доложить о ходе дела, говорить об изобретении, мечтать об отдыхе, плакать о сыне, беспокоиться о матери, узнать о победе* и т. п.

Та же форма синтаксической связи присуща отвлеченным именам существительным, произведенным от основ соответствующих глаголов или соотносительным с глаголами и семантически близким к ним. Например: *доклад о международном положении, мечты о возвращении домой, беспокойство, тревога о сыне, весть о победе* и т. п.

В приведенных примерах именные и глагольные словосочетания объединяются — со стороны главного слова — словообразовательно и семантически.

Кроме синтаксической специфики разных частей речи, кроме словообразовательных связей слов, важную роль в группировке словосочетаний, в их классификации и в способах их построения играют и собственно семантические условия. Например, имена существительные, обозначающие эмоциональное отношение, чувство, расположение или нерасположение, сочетаются посредством предлога *к* с формой дательного падежа существительных, обозначающих лицо, предмет или отвлеченное понятие, например: *любовь к отечеству, к семье, к детям; ненависть ко лжи, к врагу; сострадание к несчастному; зависть к таланту, к сопернику; недоверчивость к помощнику; доверие к окружающим; усердие к службе; доброжелательство к людям* и т. п. Это — очень продуктивный, все расширяющийся тип словосочетаний, притягивающий к себе новые виды субстантивных словосочетаний, производные от глаголов эмоционального или волевого отношения или соотносительные с ними, например: *сочувствие к другу* (ср. *сочувствовать другу*), *интерес к делу* (ср. *интересоваться делом*) и т. п.

Некоторые глаголы этой семантической группы управляют формой винительного падежа прямого объекта или дательного падежа без предлога: *любить родителей, почитать своего учителя* (ср. *почтение к учителю*), *ненавидеть ложь, презирать трусость, завидовать сопернику, доверять друзьям, доброжелательствовать окружающим* и т. п.

Для характеристики развития этого типа словосочетаний в качестве иллюстрации можно указать на исторические изменения в синтаксических связях слова *отвращение*. У Пушкина — наряду с конструкцией *отвращение к кому-чему* — мы находим *отвращение от кого-чего*, например, в «Арапе Петра Великого»: «Отец ее, несмотря на *отвращение* свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам не-

мецким у пленного шведского офицера»; «Нет,— ответил Ибрагим,— я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению, и то, если она не имеет *от меня* решительного *отвращения*». В академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. при толковании слова *отвращение* приводится такой пример: «иметь отвращение от пищи». Следовательно, в 40-е годы XIX в. в русском литературном языке господствующим еще было сочетание слова *отвращение* с предлогом *от* и формой родительного падежа существительного. Но с середины XIX в. положение меняется. Любопытны относящиеся к 60—70-м годам заметки Я. К. Грота в защиту конструкции *отвращение к кому-чему*⁸: «Разве чувство, будет ли оно положительное, или отрицательное, может иметь какое-либо иное отношение, кроме *к* чему-нибудь? Разве можно что-нибудь чувствовать *от* лица или *от* предмета в том смысле, о каком здесь речь идет? Отвращение есть такое же чувство, как и любовь или влечение, и непременно должно быть *к* кому или *к* чему-нибудь. Когда мы говорим: я имею отвращение, то разумею: чувство отвращения,— тут явное отношение одного предмета или существа к другому: для показания этого отношения предлог *к* необходим». Круг существительных, обозначающих отношения и сочетающихся с другими словами посредством предлога *к* и дательного падежа, все растет (ср. *привязанность к кому-чему-нибудь*, *жестокость к кому-чему-нибудь*, *нежность к кому-нибудь*, *чувство к кому-нибудь* и т. д.).

Естественно, что к этому продуктивному типу субстантивных словосочетаний притягиваются семантически близкие словосочетания адъективного характера, т. е. образуемые прилагательными; например: *добрый, чувствительный, строгий, равнодушный, предупредительный, ровный, ревнивый, безучастный, расположенный к кому-нибудь* и т. п., а также *склонный, способный, готовый, пригодный к чему-нибудь* и т. п. Производные от этих прилагательных или соотносительные с ними существительные имеют ту же конструкцию с предлогом *к* (*готовность к чему-нибудь, безучастие к кому-чему-нибудь, равнодушие к кому-чему-нибудь* и т. п.).

Гораздо сложнее обстоит дело с глаголами. Далеко не все глаголы, от которых произведены или с которыми связываются существительные, обладающие этой формой сочетаемости, имеют то же синтаксическое свойство. Ср.: *стремиться к кому-чему-нибудь* — *стремление к кому-чему-нибудь*; *тяготеть к кому-чему-нибудь* — *тяготение к кому-чему-нибудь*; *влечься к кому-чему-нибудь* — *влечение к кому-чему-нибудь* и т. п., но: *пренебрегать кем-чем-нибудь* — *пренебрежение к кому-чему-нибудь*; *презирать кого-что* — *презрение к кому-чему-нибудь*; *симпатизировать кому-нибудь* — *симпатия к кому-нибудь* и т. п.

Взаимодействие, взаимозависимость лексических значений слов и их синтаксических связей в формах словосочетания, роль семантических групп слов в образовании разрядов словосочетаний привлекли к себе интерес наших отечественных авторов грамматик и составителей словарей еще в XVIII в. Но на широкую принципиальную основу этот вопрос был впервые поставлен проф. Н. М. Кошанским в работе «О русском синтаксисе» в 1819 г. («Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете», ч. XV, М., 1819, стр. 86—118).

Особенно много внимания и кропотливого труда посвятил описанию семантически или лексически связанных, несвободных способов сочетания слов А. Х. Востоков в своей «Русской грамматике» (1831 г.). Он тщательно разработал вопрос о предложном и беспредложном употреблении зависимых форм косвенных падежей существительных (а также предметно-личных местоимений и субстантивированных прилагательных и причастий) при именах, глаголах и других словах. А. Х. Востоков внимательно следил за взаимодействием лексических значений и синтаксических связей слов в формах словосочетаний. Он стремился уяснить роль лексических значений в структуре

⁸ Заметки эти хранятся в Архиве Академии наук СССР.

семантически связанных, лексически ограниченных типов словосочетаний. В «Русской грамматике» он выделяет и разграничивает разнообразные семантические категории слов, связанные с теми или иными формами управления (и отчасти примыкания — по отношению к сочетаниям с зависимым инфинитивом имен существительных, прилагательных и глаголов). Иногда А. Х. Востоков дает подробные перечни глаголов и имен, входящих в строго замкнутые семантические разряды и управляющих формами имен существительных в определенном падеже.

Собранные А. Х. Востоковым материалы, относящиеся к характеристике семантически или лексически ограниченных, связанных словосочетаний, позволяют судить о некоторых из тех изменений, которые произошли с пушкинской поры в составе отдельных разрядов словосочетаний. Например, А. Х. Востоков указывал на то, что в русском литературном языке предлог *до* «служит в помощь» прилагательным *добр, ласков, строг, крут, охоч, лаком, жаден* и существительному *охотник* (т. е. «любитель чего-либо»), например: *добр, строг до подчиненных, жаден до новостей, охотник до чтения*. В современном русском языке почти все соответствующие слова (кроме *охотник до чего-нибудь* и — в просторечии — *лаком, жаден до чего-нибудь*) подверглись влиянию более сильного разряда словосочетаний типа *склонен к чему-нибудь, строго относиться к кому-нибудь* и т. п.; ср.: *крутой и ласковый с кем-нибудь и к кому-нибудь, строгий к кому-нибудь, жадный к чему-нибудь, добрый к кому-нибудь* и т. п.

Таким образом, анализ типов или разновидностей семантически обусловленных, связанных словосочетаний невозможен без определения и выделения семантических разрядов слов, имеющих однотипную конструкцию и нередко принадлежащих к разным частям речи.

Точно так же связаны с строго определенными семантическими группами слов, принадлежащими к разным частям речи — глаголу, имени существительному, прилагательному и категории состояния, — словосочетания с инфинитивом. Все они обладают общими семантическими качествами, обуславливающими сочетаемость их господствующих слов с инфинитивом. Общее для них значение — значение модального характера, возможности, желательности, необходимости, позволения, побуждения, уменья и т. п., например: *готовый помочь, готовность помочь, готовиться помочь; способный понять, способность понять; возможность учиться* и т. п.

В русском языке особенно богаты и разнообразны типы глагольных словосочетаний, т. е. таких словосочетаний, в которых стержневым, главным или управляющим словом является глагол. Разнообразие грамматических форм сочетающихся слов, виды взаимодействий свободных синтаксических связей с семантическими ограничениями словесных сцеплений здесь очень богаты и выразительны. Определенные семантические разряды глаголов, связанных с тем или иным видом синтаксической сочетаемости, оказывают влияние не только на производные от них или по смыслу близкие к ним имена существительные, но и на прилагательные.

Влияние глагольных словосочетаний на развитие близких по смыслу словосочетаний, главным, господствующим словом которых является имя прилагательное, особенно заметно усиливается в русском литературном языке с середины XVIII в. Именно в результате этого влияния возникли словосочетания, образуемые такими именами прилагательными, которые или по своему значению, морфологическому, словообразовательному составу соотносительны с глаголами и повторяют конструкцию соответствующего глагола, или приближаются к образцам глагольных словосочетаний в силу близости выражаемых ими семантических отношений. Например: *гордый победой* (ср. *гордиться победой*), *похожий на отца* (*походить на отца*), *свободный от налогов* (*освободить от налогов*), *годный к работе* (*годиться для работы и к работе*) и т. д.

Семантические разряды слов, образующих главный, господствующий член словосочетания и обуславливающих форму зависимого слова, могут быть разной степени широты, разного объема. Так, немногочисленные непереходные (обычно с аффиксом *-ся*) глаголы внутреннего состояния,

эмоционального и волевого переживания сочетаются с предлогом *на* и формой винительного падежа существительного, обозначающего лицо или предмет, вызывающий соответствующее состояние, переживание, эмоциональное действие. Это — глаголы *гневаться, разгневаться* (на кого-нибудь), *сердиться, рассердиться* (на кого-нибудь) (ср. *пенять* на кого-что-нибудь), *жаловаться* (на кого-что-нибудь), *плакаться* (на что-нибудь), *надеяться* (на кого-что-нибудь) (ср. *возложить надежду* на кого-что-нибудь), *согласиться* (на что-нибудь), *решиться, осмелиться* (на что-нибудь) и некоторые другие.

Естественно, что та же конструкция свойственна и части имен существительных, соотносительных с этими глаголами, если их значения не разошлись далеко и резко. Например: *надежда на помощь, жалоба на мужу, согласие на участие в работе* и т. п.

Словосочетания, состоящие из глаголов со значением горестного чувства, внутреннего состояния и формы имени существительного в предложном падеже единственного числа с предлогом *по* и в дательном падеже множественного числа с тем же предлогом, совсем единичны: *грустить, тосковать, скучать, вздыхать, убиваться, рыдать по ком-нибудь* (ср. *грусть, тоска, вздох* или *вздыхания по ком-нибудь*).

Очень немногочисленна по своему составу группа глаголов с общим значением прикосновения к какому-нибудь предмету, сцепления с ним: *брать, братья, взять, взяться, держать, держаться, дергать, дернуть, схватить, схватиться, трогать, тронуть, тянуть, цепляться, уцепить, уцепиться, хватать* и некоторые другие. Соответственно ограничены определенными лексическими разрядами словосочетания типа *держаться за перила, уцепиться за ветку, ухватиться за веревку, дернуть за кольцо* и т. п.

Эта обусловленность отдельных видов словосочетаний семантическими своеобразиями национального языка особенно ярко выступает при сравнении соответствующих синтаксических конструкций русского языка с однородными элементами родственных языков, например украинского: *підступати до чого — подступать, приближаться к чему, дбати про що — заботиться о чем; заздрити до кого — зависть к кому-чему* и т. д.

4. Правила, которыми определяется структура непродуктивных лексически связанных словосочетаний. Такого рода словосочетания часто включают в себя в качестве стержневых слова семантически очень далекие, но объединяемые общим признаком обязательности именно данного синтаксического способа раскрытия их лексического значения. Например, глагол *участвовать* как бы уже включает в свое лексическое значение («принять участие в ком-чем-нибудь») «потребность» раскрытия объекта при помощи предлога *в* и формы предложного падежа имени существительного (*участвовать в конференции, в работе, в подготовке проекта* и т. п.).

Та же конструкция типична для таких семантически разнородных групп непереходных глаголов, как, например:

- а) *состоять в чем-нибудь, проявляться в чем-нибудь;*
- б) *разочаровываться в ком-чем-нибудь, обманываться в ком-чем-нибудь; сомневаться в ком-чем-нибудь, отчаиваться в чем-нибудь;*
- в) *нуждаться в ком-чем-нибудь;*
- г) *убеждаться, уверяться в чем-нибудь; сознаваться, признаваться в чем-нибудь;*
- д) *разобраться в чем-нибудь;*
- е) *теряться в чем-нибудь, растворяться в чем-нибудь.*

Понятно, что соответствующие некоторым из этих слов переходные глаголы (без-ся) и их лексические синонимы образуют словосочетания по

крайней мере трехсловные — с однотипной конструкцией: *уверять приятеля в дружбе, убеждать всех в своей правоте, упрекать собеседника в неискренности, обвинять мальчика во лжи, подозревать кого-нибудь в чем-нибудь; ср. признавать, ценить что-нибудь в ком-нибудь, презирать в ком-нибудь что-нибудь.*

Точно так же лексически ограничены трехсловные сочетания, состоящие из переходного глагола, формы винительного падежа существительного, которое обозначает предмет, подвергающийся действию, и вводимой посредством предлога *в* формы винительного падежа другого существительного, которое обозначает то, что получилось или получается в результате этого действия (*превратить пустыню в сад*). Круг глаголов, связанных с этой синтаксической конструкцией, в современном русском языке очень тесен, но семантические группы входящих в него слов разнородны, почти полярны. Это, с одной стороны, отвлеченные глаголы: *превратить* (*превратить овраг в пруд*), *преобразовать*, *претворить*, *переоборудовать*, *переделать* (*переделать роман в пьесу*) и др.; с другой стороны, это глаголы конкретного действия: *разбить* (*разбить чашку в черепки*), *изорвать*, *разорвать* (*разорвать платье в клочья*), *истолочь* (*истолочь кусок сахара в порошок*), *растереть* и др.

В сущности, этими четырьмя видами правил исчерпываются главные способы построения форм и типов словосочетаний в современном русском языке. Отдельно должны быть рассмотрены правила, которыми охватываются фразеологически замкнутые связи. Этого рода связи ограничены не столько способами лексического распространения значения того или иного слова, сколько семантически замкнутыми синтаксико-фразеологическими схемами построения устойчивых оборотов. Например: *с минуты на минуту, с часу на час, с секунды на секунду; лицом к лицу, носом к носу; плечом к плечу; изо всех сил, изо всей мочи* и т. п. Сюда же примыкают единичные словосочетания типа *охотник до журнальной драки, лаком до чего-нибудь; верить во что-нибудь* (*в себя, в судьбу*), *уродиться в кого-нибудь* и т. п.

Говоря о видах синтаксических связей, охватываемых правилами построения разных типов словосочетаний, нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что разные виды этих связей отличаются друг от друга не только степенью отвлеченности, степенью абстракции и — соответственно — объемом охвата категорий, групп слов, но и степенью устойчивости или изменчивости, степенью продуктивности.

Естественно, что связи фразеологически замкнутые непродуктивны. Они не типичны для живой системы современного словосочетания. Точно так же пополняются лишь отдельными, немногочисленными синонимическими образованиями группы словосочетаний, лексически связанных или семантически узких. Обычно пополнение это происходит путем притягивания к таким словосочетаниям слов, синонимичных с теми или иными семантическими звеньями этих словосочетаний (например: *ориентироваться в чем-нибудь* по образцу *разбираться в чем-нибудь, иронизировать над кем-чем-нибудь* по типу *издеваться, насмехаться над чем-нибудь* и т. п.).

Само собой разумеется, что особенно устойчивы как продуктивные синтаксические типы словосочетания свободные, подчиненные общим синтаксическим категориям русского языка, основным законам его грамматического строя.

Пополнение соответствующих грамматических разрядов или категорий слов равнозначно увеличению объема образуемых на их базе типов словосочетаний. Так, образование или усвоение нового слова, относящегося к категории имен существительных, неразрывно связано с возникновением на основе этого слова субстантивных словосочетаний продуктивных

типов. Например, с образованием слова *скоростник* закономерно и естественно появились словосочетания *скоростник по кладке кирпичей, известный скоростник* и т. п. Образование нового глагола с переходным значением ведет к пополнению глагольных словосочетаний с винительным падежом прямого объекта (например: *заснять горы, водопады Карелии* и т. п.). Точно так же все увеличиваются в объеме — и одновременно в многообразии своих вариаций и разновидностей — типы словосочетаний с так называемыми слабоуправляемыми предложными конструкциями. Быть может, в их развитии и заключается одна из основных тенденций совершенствования грамматического строя русского языка в области словосочетаний (ср.: *мобилизация коллектива на выполнение производственного плана, массовое движение передовиков за вскрытие производственных резервов, соревнование за полное выявление и пуск в действие резервов на каждом рабочем месте* и т. п. Из газет).

Устойчивы также главные виды семантически связанных или ограниченных словосочетаний. Они широко пополняются однотипными словосочетаниями, возникающими на базе слов, которые вовлекаются в соответствующий семантический разряд или в соответствующую семантическую группу. Так, тип субстантивных словосочетаний, в основе которых лежит имя существительное с отвлеченным значением эмоционального или волевого отношения, сочетающееся с дательным падежом другого существительного посредством предлога *к*, как уже было сказано, сильнее и шире соотносительных глагольных словосочетаний. Ср., например: *завидовать кому-чему-нибудь — зависть к кому-чему-нибудь; сочувствовать кому-чему-нибудь — сочувствие к кому-чему-нибудь; уважать, почитать, любить, ненавидеть кого-что-нибудь — уважение, почтение, любовь, ненависть к кому-чему-нибудь; пренебрегать кем-чем-нибудь — пренебрежение к кому-чему-нибудь; интерес к кому-чему-нибудь, требовательность к кому-чему-нибудь, чуткость к кому-чему-нибудь* и т. п.

Понятно, что в эту категорию словосочетаний вовлекаются и другие семантически близкие слова, например: *симпатия к кому-чему-нибудь* — словосочетание, заменившее собою прежнее — *симпатия с кем-нибудь*. Так же пополняются и другие продуктивные типы словосочетаний, например: *действовать, подействовать на кого-что-нибудь* образовалось из *действовать — подействовать над кем-чем-нибудь* (ср. *оказать свое действие над кем-чем-нибудь*).

На основе словосочетаний типа *ехать в Киев, путешествие в Африку, поездка в Бахчисарай* и т. п. развиваются однородные синтаксические связи у существительных с предметным и отвлеченным значением, способных передавать оттенки значения направления, движения, протяженности, типа: *дорога в Казань, путь в Дамаск, дверь в комнату, окно в сад* и т. п. Вообще семантические связи слов оказывают очень большое влияние на распространение того или иного типа словосочетаний, на взаимодействие и контаминацию именных и глагольных словосочетаний.

Изучение правил образования словосочетаний, правил производства именных словосочетаний от глагольных, правил взаимодействия и контаминации разных типов словосочетаний, тенденций формирования их новых видов в структуре предложения, правил использования словосочетаний при построении разных типов предложений — основные задачи изучения о словосочетании.

Разные типы словосочетаний, установленные на основе разграничения частей речи и различных способов их синтаксической связи, находятся между собой в непрестанном и живом взаимодействии, во взаимосвязи.

В общественной практике пользования языком как средством общения это взаимодействие, естественно, охватывает как грамматическую сторону, так и лексический состав и семантику словосочетаний (ср. хотя бы контаминацию словосочетаний *играть роль* и *иметь значение*). Эта взаимосвязь словосочетаний идет по разным направлениям: и по линии словообразовательных соотношений (ср. *махать рукой* и *взмах рукой*, *зависеть от кого-чего-нибудь* и *зависимость от кого-чего-нибудь*, *писать отцу* и *письмо отцу* и т. п.), и по линии смысловых связей (*смотреть на реку* и *вид на реку*), и по линии синонимических функций грамматических форм и предложных конструкций (*разговоры о поездке*, *разговоры относительно поездки*, *разговоры про поездку*, *разговоры насчет поездки* и т. п.), и по линии синтаксических отношений. Словосочетания в живом языке образуют активную и изменчивую систему разных типов и разновидностей, постоянно влияющих друг на друга. Семантическая, в том числе и синонимическая связь слов, принадлежность их к однородным или близким смысловым группам ведет к развитию синонимии разных форм и типов словосочетаний (например: *меры, направленные к улучшению продукции* и *меры, направленные на улучшение продукции*, *меры для устранения недостатков* и *меры к устранению недостатков*, *разговор о важных вопросах* и *разговор по важным вопросам*, *требовательность к чему-нибудь* и *требовательность в чем-нибудь* и т. п.). Синтаксические отношения внутри отдельных категорий словосочетаний (опредетельно-именных, определительно-глагольных, обстоятельно-глагольных и т. п.) обобщаются; соответствующие обобщения отчасти служат основанием для схематической характеристики функций слов в качестве членов предложения.

Так, например, функциональная связь и синонимическая соотносительность лежат в основе объединения всех тех синтаксических отношений, которые создаются сочетанием существительных с определительными словами в широком смысле этого термина. Достаточно вникнуть в синонимический параллелизм таких словосочетаний: *голубоглазый ребенок* — *ребенок с голубыми глазами*; *двадцатипятилетний дом* — *дом в двадцать этажей*; *книжная полка* — *полка для книг*; *флотская служба* — *служба во флоте*; *высококачественная шерсть* — *шерсть высокого качества*; *охотничьи рассказы* — *рассказы охотников*; *железная крыша* — *крыша из железа*; *смазочное масло* — *масло для смазки*; *январский день* — *день в январе*, *день января*; *медвежья шуба* — *шуба из шкуры медведя*; *стерляжья уха* — *уха из стерлядей*; *высококвалифицированный специалист* — *специалист высокой квалификации*; *капиталистические страны* — *страны капитализма*; *мирная политика* — *политика мира* и многие другие.

Но дело не ограничивается одним кругом синонимических параллелей. С согласуемыми определительными словосочетаниями функционально сближаются и другие виды определительных пояснений и раскрытий существительных, включающие в себя не только разные падежные формы существительного с предлогом и без предлога, но и инфинитив, наречие и др. Кроме того, в сложных видах словосочетаний (а также в строе распространенных предложений) возможны самые разнообразные комбинации определительных слов, например: *осеннее пальто коричневого цвета*; *зимнее пальто из мохнатой материи*; *охотничья снасть самого лучшего качества*; *двигатель последней конструкции*; *собачка английской породы*; *хлеб домашней выпечки*; *яйца всмятку*; *соседи справа и слева*; *страсть декламировать*; *привычка противоречить*; *люди с орлиным сердцем*; *кто-то в белом* и т. п. Определительное распространение предметного имени возможно также при помощи форм имен существительных в родительном и творительном падеже без предлога (*человек чести*, *борода*

лопатой) и форм родительного падежа личных местоимений в притяжательном значении (*его книга*).

Само собой разумеется, что развитие определительных отношений в системе словосочетаний связано с ростом и дифференциацией смысловых оттенков в соответствующем кругу синтаксических объединений. Присоединение к имени несогласуемых форм, как один из видов выражения определительных отношений, представляет собой живой, продуктивный, все расширяющийся и обогащающийся способ синтаксического сочетания слов. Тут к определительным значениям нередко применяются своеобразные оттенки обстоятельственной характеристики путем указания на пространственное положение предмета, на его отношение ко времени, на причины его возникновения, на целевое назначение и т. п. (ср.: *дача на реке, дом на пригорке, пальто до пят, дверь на террасу, цветник перед домом, окно в стене, обморок от волнения, жестянка из-под керосина, лес для постройки сарая, вагон для детей, токарь по металлу, шаги по ступенькам лестницы*).

Однородные объединительные и обобщающие тенденции можно проследить и в кругу глагольных словосочетаний, включающих в себя наречия или формы косвенных падежей имен существительных в обстоятельном значении (обычно с предлогами), например: *безумно любить* и *любить до безумия*; *бесцельно слоняться* и *слоняться без цели* и т. д.

Так создается база для сведения всего многообразия форм синтаксической связи в системе словосочетаний к немногочисленным категориям «членов предложения».

Н. П. КОНРАД

О ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ В КИТАЕ И ЯПОНИИ

1

В европейских работах по китайскому и японскому языкам широко употребляются термины «литературный язык», «письменный язык». Западноевропейскими китаистами и японистами употребляется преимущественно второй термин («written language», «langue écrite», «Schriftsprache»), русскими — главным образом первый.

Но тем и другим термином обозначается одно явление языковой действительности, именуемое в Китае «вэньянь» и в Японии «бунго». Слова эти в обоих языках совершенно однородны — не только по значению и употреблению, но даже и этимологически. «Литературный язык» и «письменный язык» являются не более, чем переводами этих слов, причем переводами, исходящими из их этимологии. Корневой элемент *вэнь*, *бун* в китайском и японском словах обозначает одновременно и «литература», и «письменность»; с этой стороны он аналогичен латинскому *litterae* (одновременно и «литература», и «литеры»). Поэтому для точного перевода слов «вэньянь», «бунго» нужен термин, который обозначал бы одновременно и то, и другое. Такого термина в европейских языках не нашли, почему появилось два перевода, впрочем, свободно употребляемые один взамен другого. Для того чтобы единство понятия, обозначаемого китайским и японским терминами, не ускользало от читателя, мы будем в дальнейшем условно передавать «вэньянь» и «бунго» по-русски выражением «письменно-литературный язык».

В европейских работах по китайскому и японскому языкам этот «письменно-литературный язык» всегда противопоставляется «языку разговорному»¹ («spoken language», «colloquial language», «langue parlée», «Umgangssprache»). И первое, от чего приходится исходить при изучении языковой действительности этих стран, состоит в констатации наличия в этой действительности обоих языков.

Однако всякий китаист или японист, которому пришлось наблюдать языковую практику в Китае и Японии в течение первой половины XX в., не только видел эти языки в действии, но и наблюдал их борьбу друг с другом. Письменно-литературный язык, господствовавший ранее в официальных и деловых документах, в публицистике, в художественной литературе, постепенно вытеснялся языком разговорным. В художественной литературе письменно-литературный язык уступил в конечном счете разговорному языку почти всю прозу и удержался лишь на некоторых участках

¹ Этот термин — также переводный и соответствует китайскому «байхуа», японскому — «ко:го». Этимологически «байхуа» раскрывается как «простая речь», «ко:го» — как «устная речь». Мы будем в дальнейшем употреблять в качестве перевода этих терминов русское выражение «разговорный язык».

поэзии. Отступая из научных работ, письменно-литературный язык упорно отстаивал свои позиции в газетной статье и отстаивал при этом столь успешно, что дело кончилось «компромиссом»: разговорному языку пришлось на этом участке «интегрировать» в свой состав некоторые элементы письменно-литературного языка. Если раньше письменно-литературный язык долго и нераздельно властвовал в официальной и деловой сфере, где все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией в приеме белья в прачечную, то в конечном итоге он не устоял и в этой своей цитадели. В Японии, например, новая японская конституция 1945 г., созданная после капитуляции, т. е. документ из разряда таких, которые всегда создавались строго по нормам письменно-литературного языка, оказалась написанной на разговорном языке.

Такой же процесс развернулся с конца второго десятилетия XX в. и в Китае. И конечным результатом его было аналогичное утверждение разговорного языка почти на всех участках, где раньше господствовал письменно-литературный язык.

Так обрисовывается второе положение, из которого должен исходить исследователь языковой действительности в Китае и Японии в последние 40—50 лет: он должен констатировать борьбу этих двух языков — письменно-литературного и разговорного, борьбу, в которой наступающей стороной явился разговорный язык и в результате которой письменно-литературный язык в конце концов вынужден был отступить по всему фронту.

Эта борьба не была притом «академической». И в Китае, и в Японии, как об этом свидетельствует вся современная история этих стран, вопросы языка не раз становились предметом самого широкого общественного внимания. В 80-х годах XIX в. в Японии, например, вспыхнул ожесточенный спор о том, какую из трех существующих в языке глагольных связок (*да*, *дэс*, *дэару*) следует употреблять. И повели этот спор отнюдь не ученые, не лингвисты; его повели писатели прежде всего, а за ними в обсуждение вступила и широкая общественность. В самые последние годы горячо обсуждается, например, вопрос, какие из существующих личных местоимений надлежит употреблять. И таких примеров можно было бы привести много. Важно отметить лишь одну характерную черту, обычно присутствующую в таких спорах по вопросам языка: объектом нападок всегда бывал письменно-литературный язык, характеризовавшийся притом как «реакционный», «феодальный». Усилившаяся же в Китае в 1918—1919 гг. борьба за оттеснение письменно-литературного языка из художественной литературы и публицистики была прямо объявлена «революцией».

Такие оценки появились потому, что каждый подъем движения против письменно-литературного языка всегда был сопряжен с новым общественным подъемом — с усилением борьбы за демократизацию общественного строя и культуры. Так, первый подъем движения за отказ от письменно-литературного языка в художественной литературе в Японии произошел во время буржуазно-либерального движения 70—80-х годов XIX в., когда после политической революции 1868 г. предстояло провести основные преобразования, открывавшие для Японии путь перехода от феодализма к капитализму. Первый подъем борьбы за разговорный язык в Китае произошел в 1919 г. в атмосфере «Движения 4 мая», как принято называть в Китае начавшееся тогда широкое демократическое движение, поставившее своей целью ликвидацию остатков феодализма в общественном строе и освобождение от гнета зарубежного империализма. Последняя по времени волна такого движения в Японии поднялась после поражения японского империализма и милитаризма во второй мировой войне,

в связи с вступлением широких масс японского народа в борьбу за проведение подлинно демократических преобразований. Последняя по времени волна этого движения в Китае была одним из последствий победы революции. О том, с чем связывались тогда вопросы языка, свидетельствуют слова Мао Цзэ-дуна, сказанные им в речи «Против шаблонных схем в партии» на собрании руководящих работников в Яньани 8 февраля 1942 г.: «Во время „Движения 4 мая“ люди новые выступили против того, чтобы писать на вэньянь, и призывали писать на байхуа. Они выступили против старых догм и призвали к науке и демократии. И в этом они были совершенно правы»².

Из всего этого обрисовывается третье положение, от которого должен исходить изучающий письменно-литературный язык в Китае и Японии: он должен учитывать тот факт, что общественное сознание в этих странах, представленное прогрессивными демократическими слоями, всегда связывало письменно-литературный язык со всем старым, мешающим социальному и культурному прогрессу.

2

Основным пособием для изучения родного языка в японской начальной школе служит «Хрестоматия» («Токухон»). Эта хрестоматия — собрание специально составленных или особо подобранных текстов, призванных служить образцами японского языка. Язык этих текстов — тот, на котором говорят учителя и учащиеся, т. е. разговорный. Необходимо добавить, однако, что этот язык может не совпадать полностью с тем, на котором говорят в некоторых местностях Японии ученики и даже учителя у себя дома, в своей семье, особенно, если эта семья — крестьянская. «Домашний» язык может быть местным диалектом, в школе же говорят на языке, которому учат по всей стране, который все понимают, на котором пишутся литературные произведения.

В тех разделах хрестоматии, какие изучаются в старших классах, время от времени после очередного текста дается одна-две фразы из этого текста в двух вариантах: в том, в каком эта фраза дана в тексте, т. е. в разговорном варианте, и в том виде, какой она должна принять в письменно-литературном варианте. Приведем пример такого сопоставления (верхняя строка — разговорный вариант, вторая — письменно-литературный, третья — значение каждого слова); в русском переводе это будет: «В городе Осака среди товаров, покупаемых за границей, больше всего риса».

О:сака	сидэ	гайкокукара	каиирэру	синамонова	комэга
О:сака	синитэ	гайкокуёри	каиуруру	синамонова	комэ
«Осака	в городе	из-за границы	покупаемые	товары	рис

итибан	о:и
моттомо	о:си
наиболее	многочисленен» ³ .

Из такого сопоставления учащийся узнает, что местный падеж существительного в разговорном языке оканчивается на *дэ* (*сидэ* — «в городе»), в письменно-литературном языке — на *нитэ* (*синитэ*); что исходный па-

² Мао Цзэ-дун, Избр. произвед., Харбин, Дунбэй шудянь, 1948, стр. 956 (на китайск. языке).

³ Пример взят из «Хрестоматии» 1907—1908 гг. См. Д. Позднеев, Токухон или книга для чтения и практических упражнений в японском языке, ч. 2, книги V—VIII, Иохохамы, 1908, стр. 145.

деж в разговорном языке оканчивается на *кара* (*гайкокукара* — «из-за границы»), в литературном — на *ёри* (*гайкокуёри*); что именительный падеж в одном случае оканчивается на *га* (*комэга* — «рис»), в другом имеет форму основы (*комэ*); что определительная (причастная) форма глагола *каиирэру* «покупать» в разговорном языке будет *каиирэру*, в письменно-литературном — *каиуруру*; что сказуемая форма прилагательного *о:и* («многочисленный») в одном случае — *о:и*, в другом — *о:си*; что, наконец, слово *итибан* «очень, наиболее» в письменно-литературном варианте лучше заменить словом *моттомо*. Учащийся видит, таким образом, что в разговорном и письменно-литературном языке различны окончания некоторых падежей, различны окончания некоторых форм спряжения глаголов и прилагательных и даже различны некоторые слова.

В японской начальной школе ограничиваются сравнительно немногим, но в средней школе изучение письменно-литературного языка развивается широко. В хрестоматию включается большое количество текстов — образцов этого языка. Насколько велики расхождения разговорного и письменно-литературного языков, можно судить по тому, что нужен особый курс грамматики письменно-литературного языка. Как же велико может быть расхождение в лексике, можно судить хотя бы по такому примеру: при «переводе» на разговорный язык фразы

<i>сайхай</i>	<i>хандзэн</i>	<i>бэцудзини</i>	<i>дзокусэри</i>
«успех и неудача»	явственно	к разным вещам	принадлежат»

одно слово *сайхай* следует заменить двумя словами — *сэйко*: и *сиппай*; слово *хандзэн* — словом *хаккирито*, слово *бэцудзини* — словосочетанием *бэцуно котони*, глагол *дзокусэри* — глаголом *наттэиру*; в последнем случае берется не только другое слово, но и другой вид одной и той же по значению глагольной формы⁴.

Хрестоматия является основным пособием при изучении родного языка и в Китае. Во многих хрестоматиях, предназначенных для средней школы, даются сразу два варианта текста: оригинальный — на письменно-литературном языке, и переводный — на разговорном языке. Приведем пример, русский перевод которого будет таков: «Однажды у всех лисиц не стало еды и они собрались выйти в поле и поискать еду»⁵.

Оригинальный текст:

<i>и</i>	<i>жи</i>	<i>чжун</i>	<i>хуа</i>	<i>ши</i>	<i>цзюэ</i>	<i>цзян-чу</i>
«один	день	многие, все	лисицы	еда	кончилась	собрались выйти
<i>е</i>	<i>цю</i>	<i>ши</i>				
поле	искать	еду»				

Перевод на разговорный язык:

<i>ю</i>	<i>итянь</i>	<i>суйдо</i>	<i>хуа</i>	<i>ли</i>	<i>ляньши</i>	
«есть	однажды	многие, все	лисицы	провизия	(съестные припасы)	
<i>ваньла</i>	<i>тамьнь</i>	<i>бянь-сян</i>	<i>чу</i>	<i>вай</i>	<i>сюнь</i>	<i>еши</i>
кончилась	они	задумали	выйти	наружу	искать	корм»

⁴ Пример взят из хрестоматии «Гэндайбун ё:кай», Токио, «Кэнсэйдо», 1927, стр. 94—95.

⁵ Пример взят из хрестоматии «Говэнь дубэнь», кн. 2, Шанхай, «Шицзе шу-цзюй», 1930, стр. 4—5.

Из сопоставления этих двух вариантов китайский школьник видит, что в письменно-литературном языке чуть ли не все слова — не те, которые он привык употреблять: вместо обычного *итянь* «однажды» стоят два слова — *и жи*; вместо *сюдо* «все, многие» стоит *чжун*; вместо *хуали* «писицы» — *хуа*; вместо *лянши* «провизия» — *ши*; вместо *ваньла* «кончилась» — *цзюа*; вместо *сюнь* «искать» — *цю*; вместо *еши* «корм» — *ши*. Китайский школьник видит, что иными в письменно-литературном языке являются и некоторые грамматические формы. Форма совершенного вида глагола, в разговорном языке оканчивающаяся на *ла*, в письменно-литературном языке сохраняет форму основы. Несколько иным будет и построение фразы: не нужно слово *ю* «есть», которое в разговорном языке тут необходимо; не нужно и местоимение *тамынь* «они».

Из другого примера: *го е чжэ фэй и-эр жэнь-чжи го* «государство не есть государство одного-двух людей» — китайский школьник видит, что разговорному слову *годзя* «государство» в письменно-литературном языке соответствует *го*; что там, где в разговорном языке стоят два слова — отрицание *бу* «не» и связка *ши* «есть», в письменно-литературном языке стоит одно слово *фэй* как специально отрицательная связка⁶. Короче говоря, учащийся убеждается, что составители хрестоматии поступили правильно, назвав разговорный вариант «переводом на разговорный язык».

Приведенных примеров достаточно, чтобы не знающий китайский и японский языки мог составить себе некоторое представление о том, в чем именно заключается отличие письменно-литературного языка от разговорного и до какой степени оно доходит. Письменно-литературный язык обладает своим словарем, в значительной части — даже когда это касается «обычных» слов — не совпадающим со словарем разговорного языка; письменный язык имеет и свою грамматику, во многом отличающуюся от грамматики разговорного языка.

Что же это такое — этот письменно-литературный язык?

3

Письменно-литературный язык изучается по образцам. Образцы эти берутся из произведений как авторов нового и даже новейшего времени, так и из литературных памятников прежних эпох. Объясняется это тем, что такие публицисты и общественные деятели, как, например, Симада Сабуро: (1852—1923) в Японии или Лян Ци-чао (1874—1930) в Китае, фразы из произведений которых мы выше привели, в своих работах воспроизводили нормы старого языка.

Конечно, словарный состав текстов разных эпох может далеко не совпадать. Да и странно было бы ожидать, чтобы статьи об избирательном праве или профсоюзном движении, работы о дифференциальном исчислении или о вексельном курсе могли быть построены на старой лексике. С этой стороны очень характерен язык, которым писал Сунь Ят-сэн: по своему грамматическому строю это — типичный «вэньянь», письменно-литературный язык; по своей лексике это — современный китайский язык — язык, на котором говорят.

Впрочем, принадлежность какого-либо произведения по лексике к разговорному языку ограничивается главным образом пределами специальной лексики, соответствующей терминологии; когда же дело доходит до «общих» слов, вступают в силу нормы старого языка и в области словаря.

Что же такое этот старый язык? К какому времени он относится?

Когда изучаешь японские учебные хрестоматии, содержащие образцы

⁶ Хрестоматия «Говэнь дубэнь», кн. 2, стр. 33.

старого языка, бросается в глаза очень частое обращение составителей к «Цурэдзурэгуса» — одному из очень известных памятников литературы XIV в. Это — сборник коротких очерков, заметок, рассуждений на всевозможные темы — жизненные, исторические, философские. Принадлежит эта книга поэту, страннику, монаху Канэёси, более известному под монашеским именем Кэнко-хо:си. Язык этого произведения и подается как образец письменно-литературного языка.

Книга Кэнко-хо:си по своему языку не одинока: с этой стороны она показательна для целой полосы японской литературы XIII—XIV вв. После «Цурэдзурэгуса» чаще других памятников этой литературы в подобных хрестоматиях встречаются историческое повествование «Масу-кагами», также относящееся к XIV в., и «Ходзё:ки» — автобиографическая повесть начала XIII в. Таким образом, историческим образцом или моделью письменно-литературного языка Японии нового и новейшего времени является язык, зафиксированный в указанной литературе XIII—XIV вв.

Подобной исторической моделью для письменно-литературного языка в Китае нового и новейшего времени служит язык «восьми великих писателей Тан и Сун», т. е. прославленных поэтов, публицистов, историков времен танской и сунской династий. На первом месте среди них обычно стоят Хань Юй (768—823), Лю Цзун-юань (773—829), Оуян Сю (1007—1072) и Су Ши (1063—1101). Произведения этих писателей служат материалом для изучения письменно-литературного языка уже давно — со второй половины XVI в., когда известный литератор того времени Мао Кунь издал со своими примечаниями «Собрание избранных произведений восьми великих писателей Тан и Сун». И уже совершенно учебное применение произведения этих писателей получили в первой половине XVIII в., когда появилась составленная Шень Дэ-цзянем «Хрестоматия из произведений восьми великих писателей Тан и Сун». В какой мере язык этих писателей служил образцом того, как нужно писать, для литераторов последующего времени, можно судить по словам Лу Синя, который, говоря о писателях второй половины XIX в. и даже начала XX в., сказал, что «они, если не подражали Хань Юю, то подражали Су Ши»⁷. При этом Лу Синь имел в виду не столько содержание, сколько именно язык. Таким образом, исторической моделью письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени является язык, зафиксированный в произведениях указанных писателей VIII—XII вв.

Что же сделало в глазах последующих поколений язык литературы более ранней исторической эпохи классическим письменно-литературным языком? Ответ на этот вопрос дает история языка.

История литературного японского языка — в том виде, в каком она отражена в дошедших до нас памятниках, начиная с VIII в., — свидетельствует, что язык этот прошел своеобразный путь развития.

Вплоть до XX в. держались в японской письменности застывшие нормы литературного языка, оформившегося еще в VIII—XII вв. Однако живой разговорный язык, развивая свою фонетическую, лексическую и грамматическую систему, на протяжении столетий вел упорную борьбу с архаическими формами письменности и вытеснил их, в конце концов, почти полностью из всех стилей литературно-письменной речи. Выше были приведены примеры одного и того же текста в вариантах письменно-литературном и разговорном. Указанные там различия этих двух вариантов в лексике и грамматике и являются различиями этих двух систем.

⁷ См. речь на тему «Безмолвный Китай», произнесенную в Гонконге 16 февраля 1927 г. [Лу Синь, Собр. соч., т. IV, стр. 24 (на китайск. языке)].

Здесь нет возможности сколько-нибудь обстоятельно описывать каждую из систем. Поясним сказанное лишь в самой общей форме и притом на примере грамматического строя, взяв в нем то, что составляет один из важнейших его разделов: систему глагола и прилагательного.

На всем протяжении истории японского языка сохраняется неизбле-мым одно положение: наличие у глагола и прилагательного ряда общих грамматических черт. Эти общие черты — наличие и у глагола, и у прилагательного в равной мере сказуемых, определительных и обстоя- ственных форм; способность глагола и прилагательного иметь формы вре- менные и модальные. Конечно, внешние выражения этих грамматических форм у глагола и прилагательного различны, не все эти формы в обоих случаях одинаково развиты; кроме того, и глагол, и прилагательное имеют и свои особые, присущие только каждому из них грамматические формы. На этом основании они и не сливаются в одну лексико- грамматическую категорию. Но в то же время наличие указанных общих черт не позволяет и полностью отъединять их друг от друга.

Таким образом, общая грамматическая характеристика глагола и при- лагательного остается неизменной на всем протяжении истории японского языка, но внешние выражения отдельных форм, степени их развития, а также сама их система меняются. Так, в старом языке система глаголь- ного спряжения основана на особой форме для каждой функции глагола в предложении. Поэтому имевшее там место противопоставление форм сказуемой и определительной обусловило включение в систему гла- гольных форм и причастия. В современном языке это противопоставле- ние исчезло, в связи с чем исчезла и почва для выделения причастия, что в свою очередь повлияло и на характер структуры определительного пред- ложения. Модальность в старом языке получила свое развитие в системе наклонений; в современном языке не только изменились эти формы внешне, но — что важнее — некоторые виды модальности выпали из системы грамматической модальности вообще, чем и была разрушена ее прежняя система.

О том, насколько различны сами грамматические формы в старом и со- временном языке, могут дать представление хотя бы такие примеры.

Прошедшее время в старом языке имело две формы; например, от гла- гола *тору* «брать» эти формы будут: *торики* и *торитарики*. В современ- ном языке прошедшее время (изъявительного наклонения) имеет только одну форму *totta*. Будущее время в старом языке имеет форму *toran* (*тораму*), в современном — *торо*:. Отрицательные формы глагола в старом языке образуются при помощи спрягаемого суффикса *дзу*, в современ- ном — при помощи *най*, так что «не беру» в старом языке будет *торадзу*, в современном — *торанай*; «не брал» в старом языке — *торадзарики*, в современном — *торанакатта*. Сказуемая форма прилагательно- го в старом языке имела окончание *си*, определительная — *ки*; в совре- менном языке обе эти формы стали одинаковыми и получили оконча- ние *и*.

Конечно, в истории японского языка подобные изменения зарожда- лись и развивались постепенно; к тому же изменения шли не по всему фронту языка, а появлялись в разное время и на разных участках, и в те- чение долгого времени обычно существовали две формы — прежняя и но- вая; иногда новая форма не удерживалась и вновь восстанавливалась в полной силе старая.

Так, например, старая система глагольного спряжения складывалась на протяжении длительного времени — нескольких веков и в течение столь же длительного времени она постепенно изменялась в новую, и в самой этой новой системе отложились многие черты старой. Поэтому

когда мы говорим о системе старого или современного языков, то имеем в виду историческую форму языка, получившую наибольшую определенность и устойчивость в большинстве своих явлений.

Следует, однако, сказать, что и в этом случае мы имеем некоторый отход от живой, разговорной речи. Определенность и устойчивость обуславливаются, конечно, реальной картиной языка, но особую силу эти качества получают в письменном выражении, в литературе. Письменная фиксация уже сама по себе есть орудие, вносящее определенность и могущее содействовать устойчивости. Определенность и устойчивость действуют при этом не только в сфере письменного языка, но и в сфере разговорного, поскольку зафиксированные в письме языковые формы приобретают значение образцов языка, его норм.

Именно такую картину мы и наблюдаем в истории японского языка VIII—XIV вв. По памятникам литературы этих веков мы можем проследить, как постепенно обнаруживается большая устойчивость одних форм, меньшая — других. При сравнении же языка произведений книжной литературы с языком произведений, которые ближе к общенародной речи, в последнем наблюдается более частое употребление разнообразных языковых форм. Так, если сравнить язык упомянутого выше памятника «Цурэдзурэгуса» с языком «кё:гэн» — народных фарсов XIV—XV вв., окажется, что в языке этих фарсов присутствует ряд элементов, которые в дальнейшем стали нормой нового языка. Поскольку язык фарсов вне всякого сомнения передает живую речь своего времени, постольку из такого наблюдения мы можем сделать вывод о факте некоторого расхождения между языком «большой» литературы XIV в. и языком чисто разговорным. Расхождение это заключается в том, что в разговорном языке наряду с теми формами, которые мы видим в литературе, присутствовали и другие. Так, например, в речи персонажей фарсов мы встречаем и разные формы для глагола в определительной и сказуемой позиции, и одну и ту же форму для обеих этих позиций. Но сама возможность беспрепятственного пользования либо двумя формами, либо одной свидетельствует о том, что никаких затруднений для понимания такие факты не представляли.

Таким образом, в языке «Цурэдзурэгуса» и подобных ему литературных произведений XIII—XIV вв. мы находим как бы итог предшествующего развития японского языка — итог, представленный в тех его формах, которые выдержали длительное испытание языковой практикой и приобрели устойчивость, позволившую этим формам в их совокупности и в их соотношениях образовать определенную систему.

Устойчивость эта была определена общественной практикой, но в деле создания такой устойчивости известную роль сыграла и письменность, литература.

Как показывают наблюдения над историей японского языка, язык литературы может сыграть серьезную роль в укреплении наиболее пригодных, устойчивых языковых форм при наличии двух условий: если язык этой литературы вмещает в себя весь важнейший языковой опыт и если эта литература имеет в эпоху своего бытия крупную и притом прогрессивную значимость.

Произведения указанного типа японской литературы XIII—XIV вв. удовлетворяют обоим этим условиям.

Если мы сравним язык «Цурэдзурэгуса» с языком «Гэндзи-моногатари» — знаменитого романа конца X—начала XI в., то с первого же взгляда увидим, что это — не совсем одно и то же. Язык «Гэндзи-моногатари» и других прославленных, так называемых «хэйанских», романов IX—XI вв. — полностью разговорный. Его грамматическая система — та же,

что и в «Цурэдзурэгуса». Прошедшее время глагола образуется так же, имеет то же окончание, как и в «Цурэдзурэгуса»; так же и во всем прочем в области морфологии. Но в области синтаксиса, в построении предложения в «Цурэдзурэгуса» обнаруживается склонность к более коротким синтаксическим построениям, к более экономным средствам выражения. Еще больше бросаются в глаза отличия в лексике. В целом в своей основной массе — она одна и та же, но в «Цурэдзурэгуса» много слов, идущих из китайского языка, в то время как в «Гэндзи-моногатари» их очень мало.

Такого рода факты показывают, что общие нормы языка, о котором говорилось выше, складывались на основе двух источников: из чисто разговорной и из книжной речи. Мы знаем источники этой книжной речи: все образование в Японии VIII—XII вв. было построено на изучении китайской литературы — исторической, законодательной, политической и художественной.

Знаем мы и как велось обучение: оно было основано на переводе и толковании тех или иных китайских текстов. При этом старались при переводе сохранить почти все слова китайского оригинала и давать конструкцию фразы по возможности близкую к китайской. В связи с этим в школе создался особый переводческий жаргон, впоследствии превратившийся в один из стилей письменно-литературного языка, так и получивший наименование «стиля буквального перевода с китайского» («камбун-тёку-якутай»).

Постепенно все большее и большее число слов этой китайской литературы переходило из специального обихода в общее употребление, входило в общий язык. Вместе с ними переходили и некоторые синтаксические обороты. К XIII в. этот — первоначально книжный — пласт в японском языке уже занял заметное место. Те особенности в языке «Цурэдзурэгуса» сравнительно с языком «Гэндзи-моногатари», о которых говорилось выше, принадлежат именно этому пласту.

Указанные лексические заимствования, позволившие широко развернуть в японском языке общественно-политическую, философскую лексику, обогатили словарный состав японского языка. И естественно, что обогащение лексики сказалось прежде всего не в нравоописательных романах, а в произведениях типа «Цурэдзурэгуса», т. е. в рассуждениях на всевозможные темы общественной жизни, в изложении взглядов и мыслей по разным идеологическим вопросам. Поэтому язык «Цурэдзурэгуса» действительно является итогом всего развития японского языка до того времени.

Несомненна и общественная значимость подобных произведений японской литературы XIII—XIV вв. В эти столетия Япония вступила в полосу феодальной раздробленности, вступила в огне почти непрерывавшихся столкновений отдельных групп феодалов, крестьянских волнений. Особенной силы эта внутренняя борьба достигла в середине XIV в. Как «Цурэдзурэгуса», так и «Масу-кагами» принадлежат именно данной эпохе. «Масу-кагами» повествует о самих событиях этих десятилетий, «Цурэдзурэгуса» излагает взгляды, суждения, мнения, вкусы людей того времени. С этой стороны «Цурэдзурэгуса» — настоящая художественная энциклопедия мировоззрения и умонастроений наиболее образованных и вдумчивых представителей японского общества XIV в.

Таковы те историко-лингвистические, общественно-исторические и литературно-художественные основания, которые позволяют видеть в языке этих произведений литературный язык средневековой Японии. Такова историческая модель письменно-литературного языка Японии нового и новейшего времени.

4

Что представляет собою историческая модель письменно-литературного языка Китая нового и новейшего периодов, того языка, который в Китае именуется «вэньянь»? Выше мы указали, что эта модель — язык «восьми великих писателей Тан и Сун», т. е. язык крупнейших писателей VIII—XII вв. Что же такое — для своей эпохи и в общей истории китайского языка — язык их произведений?

Первое, что мы должны определить, это — отношение языка произведений указанных танских и сунских писателей к живому, разговорному языку их времени.

Как было указано выше, и Хань Юй, и Лю Цзун-юань, и Су Ши, и прочие литераторы из плеяды «восьми великих» — поэты, публицисты, философы. Их прозу мы назвали бы статьями, очерками, трактатами. Диалогическая речь, которая лучше всего передает разговорный язык, в них отсутствует.

Устанавливать их отношение к разговорному языку той эпохи можно поэтому путем сопоставления с другими литературными памятниками, где диалогическая речь существует, где вообще язык несет на себе явную печать разговорной стихии. Такие памятники есть: это — повествовательная литература VIII—XII вв., прежде всего — так называемая «танская новелла».

Новеллы, относящиеся к танскому времени, т. е. к VII—X вв., построены на сюжетах из обычной жизни, вполне реалистичны. Мы видим в них людей того времени, слышим их речь. Очень известной новеллой является «Повесть об Ин-ин» — рассказ о любви двух простых людей⁸.

Автор ее — Юань Чжэнь. Друг знаменитого поэта танского времени Бо Цзюй-и (772—846) и брата последнего — Бо Син-цзянь (775—826), Юань Чжэнь был и сам не только новеллистом, но и поэтом. Мы знаем, что они все входили в одно литературное содружество того времени. Таких содружеств, дружеских кружков литераторов тогда в обеих столицах танской империи — Чанъане и Лояне — было много. Эти кружки были наиболее распространенной формой литературно-общественной жизни. Бо Син-цзянь был также поэтом и новеллистом. Одну из его новелл «Повесть о прекрасной Ли» можно прочесть и в русском переводе⁹.

Несомненно, что язык этих новелл — язык их авторов, язык, на котором говорили Бо Син-цзянь и Юань Чжэнь и их литературные друзья, говорили все литераторы — представители интеллигенции средневекового феодального Китая. Говорили же они на том языке, на котором говорило почти двухмиллионное население главной танской столицы — Чанъаня. Это был наиболее общий для Китая того времени язык.

И вот, сопоставляя язык этих новелл с языком статей «восьми великих», нетрудно усмотреть, что с учетом различий, вызванных различием жанров, это — один и тот же язык. Поэтому и можно сказать, что язык «восьми великих» не был оторван от живой, разговорной стихии своего времени.

В биографии Бо Цзюй-и рассказывается, будто бы поэт решался на опубликование своего стихотворения только после того, как прочитывал его своей старой няньке и убеждался, что она все понимает. Конечно, подобный рассказ не более чем один из анекдотов, обычно влетаемых в биографии прославленных писателей, но все же он заслуживает внимания:

⁸ О ее содержании мы можем судить по пьесе «Пролитая чаша», идущей в Москве: пьеса представляет собою сценическую переделку именно этой новеллы.

⁹ Бо Син-цзянь, Повесть о прекрасной Ли (перевод с китайского), «Восток», сб. 1, «Academia», 1935, стр. 139—162.

интересна сама мысль о том, что язык писателя должен проверяться языком простого народа. Такая мысль не могла появиться без реальной почвы: язык стихотворений Бо Цзюй-и был действительно языком своего времени. И если таков был язык поэзии, то тем более близким к разговорному языку был язык прозы. А все эти писатели, повторяем, принадлежали к одному и тому же общественному слою — интеллигенции большого города средневекового феодального Китая.

Для характеристики языка этих писателей очень важны некоторые факты. Первый из них идет из истории грамматики, второй — из истории поэтики.

Как довольно широко известно и неспециалистам по китайскому языку, в старом феодальном Китае существовала своя грамматическая наука, развивавшаяся без влияния каких-либо грамматических теорий Запада. В основу грамматической системы в этой старой науке были положены некоторые языковые категории, существование которых было отмечено старыми грамматистами. Вначале это были категории «полных знаков» («шицзы») и «пустых знаков» («сюцзы»). Ввиду того, что слово в глазах этих грамматистов всегда прочно связывалось с письменным знаком, «знак» в этих терминах следует понимать как «слово».

Под «полным» разумелось такое слово, которое несет в себе определенное вещественное и притом самостоятельное значение; под «пустым» — слово, которое такого вещественного значения не имеет. Европейские китаеведы считают, что термин «полное слово» соответствует нашему «знаменательному слову», «пустое слово» — «служебному».

Такое деление слов на две принципиально различные группы и создало почву для построения старой китайской грамматической системы. Ее сущность заключалась в том, что знаменательные слова, вступая в речи в определенные взаимоотношения друг с другом, нуждаются в служебных словах; они нуждаются в таких словах и в случае какого-либо изменения в своем значении. Таким образом, под «пустыми словами» разумелись все грамматические элементы языка, и грамматика сводилась поэтому к анализу функций этих грамматических элементов.

Изучение грамматического строя китайского языка строилось главным образом на данных языка танских и сунских писателей. Хрестоматия избранных сочинений этих писателей была, как мы указали выше, главным пособием в школьном образовании. Да и сами писатели XVIII—XIX вв. писали, по словам Лу Синя, «если не подражая Хань Юю, то подражая Су Ши». Поэтому такое грамматическое учение по-своему отражает грамматический строй китайского языка VIII—XII вв.

Известная разработанность этой старой грамматики и несомненная ее внутренняя стройность и законченность не могли бы получиться, если бы самый материал не давал для этого данных. Мы, подходя к этому материалу иначе, чем старые китайские грамматисты, со своей стороны, можем только подтвердить исключительную разработанность и цельность языка «восьми великих» танского и сунского времени.

Хорошо известно также, что и вся классическая поэтика в Китае построена прежде всего на материалах языка танских и сунских писателей. На произведениях танских поэтов учились писать поэты XVIII—XIX вв.; изучая приемы построения статей, трактатов, этюдов танских и сунских писателей, прозаики XVIII—XIX вв. учились, как нужно строить общую композицию сочинения, изучали существующие приемы экспозиции, развития сюжета, концовок и т. д. Коротко говоря, знакомясь с классической поэтикой Китая, мы фактически знакомимся главным образом с тем, что китайские исследователи нашли у танских и сунских авторов.

Эти факты позволяют сделать существенный вывод: язык «восьми ве-

ликих» писателей танского и сунского времени по своему качеству давно приобрел значение грамматической и стилистической нормы. Мы вправе поэтому видеть в нем литературный язык Китая VIII—XII вв. Таким образом, исторической моделью письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени был литературный язык средневекового феодального Китая.

Однако к сказанному необходимо сделать одно существенное добавление: в языке танских и сунских авторов есть и другие элементы. Они идут из книжных источников.

Хань Юй — поэт, публицист, философ танской эпохи — провозгласил лозунг, ставший знаменем не только его собственной деятельности, не только общим знаменем его времени, но и знаменем всей танской и сунской эпохи, т. е. VIII—XII вв. Лозунг этот — обращение к «литературе древности» («гу вань»).

«Литература древности» была для Хань Юя и его последователей действительно древняя и для них литература Китая VII—IV вв. до н. э.: «Ши-цзин» («Книга песен»), «Шу-цзин» («Книга истории») и другие древние памятники, из которых впоследствии сложились так называемые «классические книги» конфуцианства. Древностью для танских и сунских писателей были и последующие столетия, когда жил первый великий поэт Китая — Цюй Юань (340—278 гг. до н. э.), «отец истории» в Китае — Сыма Цянь (145—86 гг. до н. э.), крупнейший мастер «поэм в прозе» — Сыма Сян-жу (179—118 гг. до н. э.). Произведения этих и некоторых других писателей тех же столетий и составили для Хань Юя и его соратников «литературу древности».

Оставляя пока в стороне вопрос об историческом смысле такого обращения к древности, укажем здесь лишь, что в результате этого обращения, сопровождавшегося интенсивным изучением древней литературы, на языке танских и сунских писателей отразилось влияние языка указанных произведений древности, т. е. языка совсем другой эпохи.

При той общей неразработанности истории китайского языка, особенно — его грамматического строя, которая существует в науке до сих пор, нам трудно определить существо и степень грамматических отличий языка древнего Китая и языка средневекового Китая. Но все же, наблюдая следы древнего языка в языке танских и сунских писателей, мы видим, что многие конструкции этого древнего языка легко вместились в рамки языка средневекового. С другой стороны, изучение грамматических трактатов старых и новых китайских авторов, посвященных письменно-литературному языку («ваньянь»), показывает, что в них широко используются примеры и из древних письменных памятников. Поэтому предполагать какую-то серьезную разобщенность литературного языка древнего и средневекового Китая невозможно, хотя во многих отношениях этот древний язык отличался от средневекового и был для китайцев времен Тан и Сун языком древней книжности. Поэтому мы и позволяем себе рассматривать элементы, перешедшие из древнего языка в язык танских и сунских писателей, как идущие из книжного источника.

Однако та легкость, с которой эти элементы вошли в язык VIII—XII вв., свидетельствует, что танские и сунские авторы взяли от древнего языка именно то, что сохраняло свою значимость и для последующих времен; иначе говоря, — то, на чем держалась общая направленность языкового развития. Поэтому мы можем считать, что язык писателей времен Тан и Сун был своего рода итогом развития и нормализации наиболее устойчивых и жизненных элементов китайского языка. Нельзя не видеть в этом одну из причин, по которым этот язык стал литературной нормой, приобрел значение литературного языка средневекового Китая.

Для полного понимания существа этого литературного языка следует, однако, учитывать и еще одно обстоятельство, а именно: некоторое расхождение его с чисто разговорным языком той же эпохи. В этом мы убеждаемся, сопоставляя произведения танских и сунских авторов, даже такие из них, как, например, новеллы, которые наиболее близки к разговорному языку, с так называемыми «сборниками изречений» («юй лу») и «книжками рассказов» («хуа бэнь») времен Сун (X—XII вв.).

В языке этих памятников так называемой «народной литературы» есть ряд явлений, отсутствующих в языке указанных писателей.

Мы хорошо знаем, что приблизительно с XIII в. начинается новая полоса в истории китайского языка, конечным этапом которой является современный китайский национальный язык. Эта полоса связана с развитием так называемой «народной литературы»: народной песенной поэзии, рассказа, драмы. Все ставшие знаменитыми китайские романы и драмы появились именно после XIII в. И характерный признак их — со стороны языка — то, что они были написаны на «байхуа», т. е. на разговорном языке своего времени.

Если брать этот новокитайский язык, как его можно условно называть, в позднейшем его развитии, то наиболее существенным его отличием в грамматическом отношении от средневекового языка будет, как нам представляется, следующее.

Выше мы указали, что грамматическое учение средневекового языка было построено на противопоставлении двух языковых категорий: «полных слов» и «пустых слов». Грамматическое учение нового времени должно было от этого отойти: вместо двух основных категорий в языке были обнаружены три. Две из них назвали прежними терминами — «ши цзы» и «сюй цзы»; третью — новым термином: «чжу цзы»¹⁰.

Однако эти прежние термины получили иное значение. Слово *ши* в термине «ши цзы» имеет значение и «полный», и «действительный», «реальный»; слово *сюй* в термине «сюй цзы» значит и «пустой», и «отсутствующий в действительности». Соответственно этим вторым значениям термин «ши цзы» стал пониматься как «слова, обозначающие предметы», «сюй цзы» — как «слова, обозначающие действия и свойства предметов». Такое понимание связано с представлением старых китайских грамматистов о том, что существование присуще лишь предмету; что же касается действия или свойства, то они отдельного от предмета существования не имеют¹¹.

Но за этим толкованием скрывалось грамматическое наблюдение: было замечено, что появление того или другого «сюй цзы», т. е. «служебного слова» в прежнем понимании, зависит от того слова, которое этим служебным словом, так сказать, обслуживается. Иначе говоря, были подмечены служебные элементы, связанные с категорией имени, и служебные элементы, связанные с категорией действия и качества. Намечался путь к выделению морфологии имени, с одной стороны, и морфологии глагола и прилагательного — с другой.

Такого рода грамматическое учение, естественно, не могло возникнуть, если бы не было в языке фактов, наталкивавших на него. И эти факты были новыми по сравнению с языком танских и сунских авторов.

Повторяем, что изложенное касается китайского языка более позднего времени; в сунских народных рассказах и сборниках изречений факты такого рода еще не получили полного утверждения и сосуществовали с фактами, представленными в языке танских и сунских писателей. По-

¹⁰ См., например, специальный трактат об этих «служебных словах» — «Чжу юй цы» автора Лу И-вэй (последняя четверть XVI в. — первая четверть XVII в.).

¹¹ См. грамматику китайского языка «Бумпо:сё» японского китаевода 2-й половины XVIII в. Ходзуми Икан.

этому никакого затруднения для понимания они не представляли. К тому же язык сунских народных рассказов относился к просторечию того времени и указанные элементы были, следовательно, характерны только для этой сферы языка. Но все же следует признать, что литературный язык средневекового Китая, представленный танской новеллой и произведениями «восьми великих», включал в себя только наиболее устоявшиеся, отработанные и оправдавшие себя общественной практикой языковые нормы, т. е. был именно тем, что мы и называем литературным языком.

Такова историческая модель письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени. Необходимо отметить, что значение такой модели литературный язык средневекового Китая получил и вследствие общественной значимости литературы его представителей. Выше мы указали, что Хань Юй провозгласил лозунг обращения к «литературе древности». Этот лозунг стал знаменем целой большой эпохи, охватившей VIII—XI вв. Стали возрождаться из забвения старые классики, их стали переиздавать, изучать, комментировать. Их цитировали на каждом шагу. Ими подкрепляли свои мнения и соображения. Началось настоящее возрождение древности.

Что влекло к этой древности? Что искали в произведениях VII—II вв. до н. э. философы, публицисты, поэты VIII и последующих веков? Ответ на это дает тот, кто первый призвал к обращению к древности, — Хань Юй: в них искали тот гуманизм, который стремились сделать содержанием своей эпохи эти танские и сунские писатели и мыслители.

Хань Юй в своем небольшом трактате «О человеке» первый провозгласил, что человек — высшая ценность всего бытия, что в нем сосредоточивается все бытие. «Небо» для него — только «солнце, луна, планеты, звезды»; «Земля» для него — только «травы, деревья, горы, реки». А все между ними — все живущее, живое, действующее — сосредоточено в человеке. В другом своем трактате «О пути» Хань Юй сформулировал второе положение китайского гуманизма VIII в. Это положение — «всеобщая любовь», т. е. любовь ко всем. Такая любовь ко всем, по представлениям Хань Юя, должна быть основой всей жизни общества, его прогрессивного развития.

Подобные идеи были для средневекового Китая того времени новы и означали большой шаг вперед. А к чему они приводили в творчестве, свидетельствует поэзия Бо Цзюй-и, вся пронизанная таким гуманизмом. Этот гуманизм и обусловил огромную общественную значимость произведений танских и сунских авторов, значимость, далеко вышедшую за пределы их эпохи. Тем самым была подкреплена и значимость языка их произведений — литературного языка средневекового Китая.

5

Мы надеемся, что вышеприведенное изложение раскрыло существо того явления, которое именуется в современном Китае «вэньянь», в Японии «бунго», т. е. письменно-литературным языком. Почему же он вызвал страстные протесты и в конце концов должен был сойти со сцены?

Ответ на этот вопрос, как мы полагаем, ясен и без особых объяснений: этот язык оказался непригодным для людей новейшей эпохи. Непригодным он оказался прежде всего потому, что он уже устарел. И устарел во всех своих важнейших элементах: и по лексике, и по грамматическому строю. Из литературного языка он превратился в письменно-литературный язык.

Выше мы в общих чертах уже охарактеризовали, в каком направлении пошло развитие китайского и японского языков в новое время. Новые

черты приобрел грамматический строй, бурным потоком вторглась в языковую действительность новая лексика. Вопрос, казалось бы, можно было решить просто: начать писать так, как говорили. Но на этом пути встали два препятствия: недостаточная разработанность «байхуа» в Китае и «ко:го» в Японии и особенности общественного строя.

Литература на языке нового времени стала развиваться в Китае с XIII в. и к концу XIX в. насчитывала уже огромное количество романов, рассказов, драм. Но все прочие отрасли письменности правящий класс феодального Китая крепко держал в своих руках. Поэтому закон, политический и экономический трактат, философское сочинение, т. е. вся «серьезная» литература, должны были быть написаны на языке «классиков». Даже «высокая» поэзия и художественная проза, и те не имели права спускаться до уровня «простого языка», просторечия. Тем самым старый литературный язык был призван поддерживать китайский феодализм. Этим и объясняется, что борьба за новый Китай втянула в свою орбиту и язык.

Те же условия очень долго удерживали старый литературный язык и в Японии. И он для людей нового времени устарел, перестал быть понятен. Из литературного языка он превратился в письменно-литературный. В течение XVII—XIX вв., в последний период японского феодализма, в Японии выросла огромная литература городских сословий, пользовавшаяся главным образом живым разговорным языком того времени. Этим языком писались романы, рассказы, в меньшей степени — театральные пьесы. На этом языке выросла обширная область «устного рассказа» — крайне популярного в народной среде эстрадного жанра. Но, как и в Китае, в другие области письменности, контролируемые правящим классом феодалов, разговорный язык, как «просторечие», не допускался. Поэтому и текст закона, и трактат по экономике, политике, философии, если все они не писались вообще по-китайски, были написаны на старом литературном языке. Этот старый язык стал одним из орудий монополизации правящим классом просвещения, образования; правящий класс прочно связал его с самим собой. Понятно после этого, что когда в Японии в 1868 г. произошла буржуазная революция, правда, незавершенная, но все же переведшая страну на путь капиталистического развития, борьба с остатками феодализма, которую повела молодая, тогда еще радикально настроенная буржуазия, включила в число своих объектов и старый литературный язык, уже давно ставший, как мы сказали выше, письменно-литературным языком. Но тот факт, что и в капиталистической Японии основой власти стал реакционный блок крупной буржуазии и помещиков, обусловил и половинчатость позиций буржуазии, быстро утратившей свой первоначальный радикализм, и упорство правящих классов в отстаивании письменно-литературного языка. Выше мы обрисовали, как долго держался этот язык в официальном обиходе. Только напор демократических масс после поражения японской реакции во второй мировой войне вынудил правящий класс уступить позиции и в данной языковой области — последней, которую этот класс еще держал в своих руках.

Развитие системы нового языка, в полной мере обнаружившееся в Японии с конца XVI в., привело к тому, что к концу XIX в. в этом языке уже существовали вполне сложившиеся нормы — как в области лексики, так и в сфере грамматики. Тем самым уже существовали условия для образования нового литературного языка. Такой язык и существует в Японии. Он называется «образцовым» («хэйдзюнго»).

За долгое время развития нового языка в Китае также образовались свои устойчивые нормы, подготовившие образование и нового литературного языка. Процесс такой подготовки зашел так далеко, что позволил

Лу Синю — этому основоположнику современной китайской литературы — уже в конце второго десятилетия XX в. создавать произведения, фиксирующие этот новый литературный язык. Он именуется в Китае «байхуа», т. е. тем же словом, которое ранее обозначало «разговорный язык» и даже «просторечие». Таким перенесением термина как бы подчеркивается единство языковой сферы современного литературного и разговорного языков.

*

Из сказанного можно сделать, как нам кажется, следующие выводы:

1. Литературный язык — явление историческое, закономерно подвергающееся существенным изменениям на каждом большом этапе истории языка, этапе, характеризуемом определенностью и устойчивостью всех важнейших элементов языка, складывающихся в некую систему. Поэтому в истории какого-либо народа может быть несколько различных по времени исторических форм литературного языка.

2. Литературный язык для своего окончательного оформления нуждается в литературе. Поэтому о литературном языке мы вправе говорить только тогда, когда такая литература существует.

3. Значение литературного языка как определенной языковой нормы подкрепляется общественной значимостью той литературы, в которой он зафиксирован.

4. Ввиду того, что общественная значимость данной литературы с изменением исторических условий может меняться, изменяется и общественное отношение к литературному языку, зафиксированному в этой литературе: при переходе к новому этапу общественного развития литературный язык, связанный с литературой, характерной для уходящего этапа, воспринимается как неприемлемый для нового общественного развития.

5. Литературный язык, образовавшийся в средневековый период, и литературный язык, образовавшийся в новое время, различны по диапазону своего действия и, следовательно, по степени своего общественного значения.

Это связано с общим состоянием языка: как языка народности в первом случае, как языка нации — во втором. В первом случае общественная значимость литературного языка ограничена определенными общественными слоями, главным образом — господствующим классом; во втором случае он получает всенародное значение, которое становится тем более эффективным, чем решительнее идет процесс демократизации общественного строя.

6. Антагонистическое противопоставление старого и нового литературного языков не может удерживаться долго. Помимо общей исторической преемственности, связывающей новый литературный язык со старым, новый литературный язык и практически — в своем развитии — должен обращаться к старому. В приложении к новому литературному языку в Китае об этом хорошо сказал т. Мао Цзэ-дун: «...мы должны еще учиться тому живому, что есть в языке наших предков. Мы недостаточно усердно учились языку, а потому пока еще не использовали в полной мере и рационально то многое в языке наших предков, что еще жизнеспособно. Конечно, мы решительно против использования уже отмершей лексики и отмершей фразеологии — это бесспорно, но воспринять все хорошее, годное мы должны»¹².

¹² Мао Цзэ-дун, Избр. произвед. (перевод с китайского), т. 4, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1953, стр. 104.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. БОКАРЕВ

ЗАДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

Уже в конце XVIII — начале XIX в., когда кавказские языки стали объектом научного изучения, возник вопрос об их родстве между собой и об отношении их к другим языкам и языковым группам, расположенным за пределами Кавказа¹.

Сравнительно легко разрешался вопрос о родстве тех кавказских языков, которые находились в большой материальной близости друг к другу, тем более, что наиболее очевидная материальная близость языков в большинстве случаев оказывалась связанной и с их территориальной смежностью. В словаре акад. Палласа² кавказские языки, видимо не случайно, были расположены следующим образом: аварский, бежитинский, цезский (дидойский), грузинский, мегрельский, сванский, кабардинский, абхазский, чеченский, ингушский, бацбийский, лакский, андийский, даргинский³.

Порядок, принятый в словаре Палласа, более или менее соответствовал материальной, т. е. генетической близости языков. Обращает на себя внимание лишь то, что из дагестанских языков андийский, лакский и даргинский языки даны обособленно от аварского, бежитинского и цезского. Гюльденштедт⁴, чьи материалы по кавказским языкам были использованы в словаре Палласа, делит кавказские языки на следующие группы: «лезгинскую» (т. е. аваро-андо-цезскую. — Е. Б.), кистинскую (т. е. вейнахскую. — Е. Б.), черкесскую (кабардинский и абхазский языки) и грузинскую (грузинский, мегрельский и сванский языки). Клапрот⁵ объединяет под наименованием «лезгинские языки» аварский, андийский, цезский, лакский, даргинский, лезгинский, затем выделяет вейнахскую группу, а после нее дает черкесский, абхазский и сванский языки.

С середины XIX в. классификация кавказских языков, основанная на их материальной близости, приняла уже более или менее устойчивый вид, если отвлечься от некоторых частных, которые и до сего времени иногда

¹ Об истории изучения кавказских языков см. М. Я. Немировский, Из прошлого и настоящего кавказской лингвистики, Владикавказ, 1928.

² «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы», СПб.: ч. I — 1787; ч. II — 1789.

³ Здесь и далее названия языков приводятся в форме, более обычной в настоящее время.

⁴ J. A. G ü l d e n s t ä d t, Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge, Teil, II, St. Petersburg, 1791.

⁵ J. K l a p r o t h, Reise in den Kankasus und nach Georgien, Bd. II, Halle — Berlin, 1814.

вызывают разногласия среди специалистов. Капитальными трудами П. К. Услара по горским языкам Кавказа начинается новый период в исследовании кавказских языков, характеризующийся стремлением к тщательному и глубокому изучению их грамматического строя и словарного состава. Приступая к своим исследованиям, Услар намечал провести их в сравнительно-историческом плане, т. е. ставил перед собой задачу выяснить генетические связи между исследуемыми языками. В одном из его ранних писем читаем: «Если тем, что я напишу, мне удастся хотя несколько способствовать указанию настоящего пути для будущих исторических исследований на Кавказе, вроде исследований Гримма, Боппа, Лассена, Потта и др., то уже заслуга моя будет очень велика»⁶. Хотя Услар и не оставил после себя обобщающих трудов, в которых содержались бы доказательства единства кавказских языков, основанные на их сравнительно-историческом изучении, все же ему принадлежит ряд отдельных ценных сопоставлений в области лексики и грамматики, которые прочно вошли в научный обиход. В результате своих исследований Услар пришел к выводу о том, что кавказские языки образуют совершенно особую языковую семью, не связанную с другими, уже известными науке. «Теперь уже утвердительно можно сказать, что к великим семействам языков старого света: индоевропейскому, семитическому, кушитскому (коптский, эфиопский) и урало-алтайскому должно присоединить еще совершенно самостоятельное семейство языков *кавказских*, так как все эти языки, при изумительном разнообразии, представляют глубокие родственные черты»⁷.

Таким образом, уже первое знакомство с кавказскими языками позволило наметить языковые группы на основании их очевидного родства: картвельскую, абхазо-адыгскую и вейнахскую. Дальнейшие исследования только подтверждали существование этих групп. Больше всего сделано в настоящее время в области сравнительно-исторического изучения языков картвельской группы кавказских языков (работы А. А. Цагарели, Н. Я. Марра, А. С. Чикобава⁸, А. Г. Шанидзе, В. Т. Топурия. Для обоснования единства абхазо-адыгских языков важны работы Г. Дюмезиля, К. В. Ломтатидзе, Г. В. Рогава⁹). Генетическое единство вейнахских языков получило освещение в работах А. А. Шифнера, А. Sommerfeldta, Ю. Д. Дешериева¹⁰. Однако ни по одной из этих групп мы все еще не имеем сравнительно-исторических грамматик, в которых было бы систематически и последовательно показано генетическое родство языков, входящих в указанные группы.

⁶ Письмо к А. П. Берже от 26 марта 1859 г. См. П. К. Услар, *Этнография Кавказа. Языкознание*, II, Тифлис, 1888, стр. 7.

⁷ Письмо к А. П. Берже от 10 февраля 1864 г. См. П. К. Услар, указ. соч., стр. 35.

⁸ См.: А. А. Цагарели, *Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков*, СПб., 1872 (литограф. изд.); Н. Я. Марр, *Грамматика чанского (лазского) языка*, СПб., 1910; Арн. Чикобава, *О лингвистических чертах картвельских языков*, «Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка», М.—Л., 1948, вып. 1, стр. 25—33; его же, *Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта*, Тифлис, 1936.

⁹ См. G. Dumézil, *Études comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest (Morphologie)*, Paris, 1932; см. также докторскую диссертацию Г. В. Рогава «К вопросу о структуре именных основ и категорий грамматических классов в адыгских (черкесских) языках» [автореферат докт. дисс.—Тбилиси, 1953 (Ин-т языкознания АН Груз. ССР)].

¹⁰ См.: A. Schiefner, *Tschetschenzische Studien*, SPb., 1834; A. Sommerfeldt, *Études comparatives sur le caucasiennes du Nord-Est* («Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», Oslo: Bd. VII — 1934, стр. 178—210; Bd. IX — 1935, стр. 115—143; Bd. XIV — 1947, стр. 141—155); Ю. Д. Дешериев, *Вайнахский язык*, М., Изд-во АН СССР, 1953 (см., например, стр. 46—50).

Особо должен быть рассмотрен вопрос о родстве дагестанских языков, который долгое время был неясным. Обобщающее наименование «дагестанские языки» основывалось на чисто географическом понятии, т. е. в большей степени на признаке территориального соседства языков, чем на признаке их материальной близости и родства по происхождению. Многочисленность дагестанских языков, малая изученность большинства из них, а порой даже и полная неизученность, значительные различия между ними как в области словарного состава, так и грамматики не давали полной уверенности в их генетическом единстве, хотя отдельные сопоставления слов и грамматических показателей в различных языках указывали на большую вероятность того, что и дагестанские языки представляют собой особую группу родственных языков. Приведем некоторые из этих сопоставлений.

В о д а: аварск. *лългн*, цезск. *лзи*, лакск. *шин*, даргинск. *шин*, цахурск. *хан*, удинск. *хе*, рутульск. *хад*, лезгинск. *йад*, табасаранск. *шар*, агульск. *хер*.

Т р и: аварск. *лъаб*, цезск. *лъе*, лакск. *шам*, цахурск. *хеб*, удинск. *хиб*, рутульск. *хибу*, лезгинск. *пу* (**йпу*), табасаранск. *шибу*, агульск. *хибу*.

Д о ч ь: аварск. *йас*, андийск. *йоши*, лакск. *душ*, даргинск. *рурси*, кубачинск. *йусе*, цахурск. *йис*, табасаранск. *риш*, лезгинск. *руш*.

С е р д ц е: аварск. *ракI*, цезск. *рокIу*, лакск. *дакI*, даргинск. *уркIи*, лезгинск. *рикI*, табасаранск. *йукI*¹¹.

После П. К. Услара, давшего отдельные сопоставления слов различных дагестанских языков, попытки сравнительно-исторического толкования фактов этих языков мы видим у Н. Я. Марра, Н. С. Трубецкого¹², А. С. Чикобава и в ряде работ молодых грузинских исследователей¹³. Однако в области изучения дагестанских языков нужна еще очень большая работа по описанию этих языков и их диалектов, по составлению сравнительно-исторических грамматик отдельных подгрупп, прежде чем можно будет приступить к обобщающему исследованию вопроса о генетическом единстве всей совокупности дагестанских языков и к решению проблемы об их отношении к другим кавказским языкам.

Еще большую трудность представляет собой выяснение генетического родства кавказских языков в целом. Эти языки так сильно различаются по своему грамматическому строю и словарному составу, что непосредственные сближения их, без предварительных сравнительно-исторических реконструкций, почти невозможны. Сомнение в родстве северокавказских языков с картвельскими не раз высказывалось в литературе

¹¹ В последних двух словах вначале мы встречаемся с окаменелыми классными показателями, указывавшими на принадлежность существительного к тому или иному классу.

¹² См. Н. Я. Марр, Непечатный источник истории кавказского мира, «Известия Академии наук», Пг., 1917, № 5, стр. 307—338; N. Troubetzkoy, Les consonnes latérales des langues caucasiques-septentrionales, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. XXIII, fasc. 3, Paris, 1922, стр. 184—204; ег о ж е, Studien auf dem Gebiete der vergleichenden Lautlehre der nordkaukasischen Sprachen, «Caucasica», fasc. 3, Leipzig, 1926, стр. 7—36; ег о ж е, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Bd. XXXVII, Heft 1—2, Wien, 1930, стр. 76—92.

¹³ Из них следует прежде всего упомянуть коллективный доклад Т. Е. Гудава, Д. С. Имнайшвили, Э. А. Ломтадзе, З. М. Магомедбековой, И. И. Церцвадзе «О звуковых соответствиях в языках аварско-английско-диодской группы» на III (IX) научной сессии Ин-та языкознания АН Груз. ССР в 1952 г. (печатается в «Трудах» Ин-та языкознания АН СССР) и доклад Ш. Г. Гаприндашвили «О лакско-даргинских звукосоответствиях» на IV (X) сессии того же института в 1953 г. (см. тезисы докладов сессии).

(Н. С. Трубецкой, А. Мейе, Г. Фогт, В. Поляк¹⁴ и др.). Не составлены еще сравнительно-исторические грамматики отдельных языковых групп, что предопределяет невозможность создания сравнительно-исторической грамматики кавказских языков, которая только и смогла бы показать со всей убедительностью их генетическое единство.

А. Дирр в своем «Введении в изучение кавказских языков», основываясь на том, что различия между кавказскими языками чрезвычайно велики, также говорит о их единстве условно, только как о рабочей гипотезе, высказывая даже предположение, что в результате дальнейшего изучения вопроса эту гипотезу, может быть, придется заменить учением о принадлежности кавказских языков к трем различным языковым группам¹⁵.

Однако большинство кавказоведов стоит на точке зрения генетического единства кавказских языков, так как отдельные сопоставления между этими языками, приводившиеся в литературе, сообщают этой точке зрения значительную степень вероятности. Следует сказать, что чем больше исследователи кавказских языков углубляются в их изучение, тем более возрастает число таких сопоставлений, усиливая уверенность в истинном родстве кавказских языков.

Приведем некоторые из этих сопоставлений:

Т р и : аварск. *лаб*, лакск. *шам*; грузинск. *sami*, сванск. *semi*; кабардинск. *шы*.

Н о ч ь : аварск. *ре-ле-да* (вечером), андийск. *ре-лго*, лезгинск. *йи-ф*; лазск. *s-eri*, грузинск. *s-er-oba* (ужин).

С е р д ц е : аварск. *ра-кI*, лакск. *да-кI*, табасаранск. *йу-кI*; кистинск. *дуо-г*; грузинск. *g-uli*, сванск. *g-wi*; абхазск. *a-gvə*.

Аналогичный материал, который мог бы подтвердить предположение о генетическом единстве кавказских языков, рассеян по многим специальным исследованиям¹⁶. Однако он не собран воедино, критически не рассмотрен, а потому и не всегда в достаточной степени убедителен¹⁷. Нужна еще большая работа по составлению сравнительно-исторических грамматик отдельных языковых групп с тем, чтобы завершить сравнительно-историческое исследование кавказских языков и подойти к составлению сравнительно-исторической грамматики всей семьи кавказских языков в целом. Только это и смогло бы придать учению о генетическом единстве кавказских языков полную убедительность и превратило бы имеющиеся предположения в научнообоснованные утверждения.

¹⁴ См. N. Troubetzkoy, *Langues caucasiques septentrionales*, сб. «Les langues du monde», [под ред.] A. Meillet et M. Cohen, Paris, 1924, стр. 327—342; A. Meillet, [печ. на кн.:] A. Dirr, *Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen*, Leipzig (Asia Major), 1928 — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. XXIX, fasc. 2, Paris, 1929, стр. 242—244; H. Vogt, *La parenté des langues caucasiques*, «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», Bd. XII, Oslo, 1942, стр. 242—257; V. Polák, *L'état actuel des études linguistiques caucasiennes*, «Archiv Orientální», vol. XVIII, № 1—2, Praha, 1950, стр. 383—407.

¹⁵ См. A. Dirr, *Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen*, Leipzig, 1928, стр. III.

¹⁶ См., например: К. В. Ломтатидзе и А. С. Чикобава, *Иберийско-кавказские языки* (БСЭ, 2-е изд., т. 17, 1952); R. Lafon, *Quelques rapprochements entre les langues caucasiennes septentrionales et les langues kartvèles*, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. XXIX, fasc. 3, Paris, 1929, стр. 138—152.

¹⁷ См., например, книгу: И. А. Джавахишвили, *Введение в историю грузинского народа*, т. II — Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков, Тбилиси, Изд. Груз. филиала АН СССР, 1937 (на груз. языке), в которой наряду с большим фактическим материалом и интересными мыслями и наблюдениями еще много натянутого и неубедительного, что, впрочем, не должно казаться неожиданным, так как данная работа не могла опереться на необходимые предварительные исследования.

*

Несмотря на то, что работа по сравнительно-историческому изучению кавказских языков еще далека от завершения, а по отношению к ряду языковых групп, можно сказать, только еще начинается, в науке уже с конца XVIII в. делались попытки установления генетических связей кавказских языков с другими языками и языковыми группами, расположенными вне Кавказа. При этом кавказские языки сравнивались чуть ли не со всеми языками мира: индоевропейскими, финно-угорскими, палеоазиатскими, индейскими, памирскими, вершикским, дравидскими, мон-кхмер, мунда, австронезийскими, семитическими, хамитическими, африканскими, баскским, а также с различными мертвыми языками: урартским, хеттским (неситским), протохаттским, хурритским, шумерским, эламским, лидийским, ликийским, критским (минойским), пелазгским, этрусским, иберским, древнеегипетским. В связи с этим пытались включить кавказские языки в искусственно созданные языковые семьи более широкого объема. Так, например, Фр. Гоммель¹⁸ ввел в обиход наименование «алародийская семья языков», в состав которой он включал вместе с кавказскими также мертвые переднеазиатские и средиземноморские языки (эламский, митаннийский, хеттский, критский, этрусский, лидийский и др.). Вслед за Гоммелем термином «алародийская семья» пользовались Паули, который специальное внимание уделил установлению связей этрусского языка с кавказскими, и К. Оштир¹⁹, который к числу алародийских языков относил также баскский, древнеегипетский и ряд средиземноморских мертвых языков.

Н. Я. Марр в ту пору, когда он еще говорил о яфетической семье языков, также объединял с кавказскими языками переднеазиатские и средиземноморские языки, упоминая при этом и шумерский язык. В непосредственном родстве с яфетическими языками, по его мнению, находятся и языки семитические. С течением времени Н. Я. Марр все расширял круг яфетических языков, придя в конце концов к положению о том, что яфетическую стадию проходили все языки мира²⁰. Вслед за Марром о широком круге яфетических языков говорили В. Шмидт²¹, Р. Блейхштейнер и Ф. Браун.

А. Тромбетти, исходя из своей теории генеалогического единства всех языков мира, непосредственно связывал кавказские языки с баскским, хамито-семитическими, дравидскими, эламским и некоторыми другими²².

А. Дирр, который при рассмотрении фактического материала с такой осторожностью говорил о возможности объединения всех кавказских языков в одну языковую семью, в своих общелингвистических взглядах примкнул к теории А. Тромбетти и вслед за ним считал возможным в качестве ближайше родственных кавказским языкам наметить урартский, митаннийский, эламский, хеттский, ликийский и баскский²³.

¹⁸ См. F. H o m m e l, Grundriss der Geographie und Geschichte des Alten Orients, München, 1884.

¹⁹ См. K. O š t i r, Beiträge zur alarodischen Sprachwissenschaft, Wien—Leipzig, 1924.

²⁰ Из многочисленных работ Н. Я. Марра, посвященных этому вопросу, может быть упомянута работа, впервые опубликованная в 1920 г.: «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании средиземноморской культуры» (см. Н. Я. М а р р, Избр. работы, т. 1, Л., 1933, стр. 79—124).

²¹ См. W. S c h m i d t, Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926.

²² См. A. T r o m b e t t i, Elementi di Glottologia, Bologna, 1923.

²³ См. A. D i r r, указ. соч., стр. 27.

И. Карст, пользуясь термином «иберо-кавказские языки», причислял к ним баскский, кавказские языки и «алародийский» («доиндоевропейский» армянский). Вслед за Тромбетти Карст вводил иберо-кавказские языки в более широкий круг языков, к которому он относил живые ливийско-эфиопские языки и мертвые языки Передней Азии и Средиземноморья²⁴. Связывать кавказские языки с языками Передней Азии пытались также Г. Винклер, А. Глейе, Ф. Борк, Г. Хюзинг, Е. Форрер и многие другие²⁵. Из последних работ, в которых содержатся попытки включить кавказские языки в широкий круг других языков, следует упомянуть работы К. Боуда; в них материал кавказских языков сопоставляется с материалом баскского, хамитических, финно-угорских, ненецкого, палеоазиатских, австралонезийских, индо-китайских, тибетского и шумерского языков²⁶.

Из мертвых языков Малой Азии с кавказскими языками сравнивались чаще всего урартский язык, для изучения которого так много сделали русские дореволюционные и советские ученые (М. В. Никольский, Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов, Г. А. Капанцян, Г. В. Церетели, И. М. Дьяконов, в последнее время Г. А. Меликишвили и др.)²⁷.

Из числа ученых, пытавшихся генетически увязать урартский язык с кавказскими, следует указать на таких, как Ленорман, Сэйс, Гоммель, которые сравнивали урартский язык с грузинским, и на таких, как Тромбетти, Глейе, которые сравнивали его с лезгинским и др. Эти попытки, в основном, строились на подборе внешне созвучных слов и грамматических показателей или же на установлении типологических параллелей того или иного характера. Всего этого, разумеется, было еще очень мало для того, чтобы делать выводы о генетическом единстве сопоставляемых языков. Г. В. Церетели в своем докладе, прочитанном в 1953 г. на сессии Ин-та языкознания АН Груз. ССР, поставил вопрос о генетических связях урартского языка с кавказскими, привел некоторый материал в подтверждение своей мысли, но вместе с тем и весьма скептически высказался о возможности объединения этих языков в одну генеалогическую группу при современной изученности вопроса²⁸.

Таким образом, все попытки установления генетических связей кавказских языков с другими языками мира, которые производились до сих пор, оказывались совершенно неубедительными, так как были лишены каких-либо методически продуманных и последовательных доказательств. В большинстве случаев генетическое сближение сравниваемых языков основывалось либо на сходстве каких-то единичных структурных черт (эргативная конструкция, префиксальное словообразование или формо-

²⁴ J. Karst, *Grundzüge einer vergleichenden Grammatik des Ibero-kaukasischen*, Bd. I, Strassburg, 1932; его же, *Alarodiens et protobasques*, Vienne, 1928.

²⁵ См., например, об этом упомянутую работу М. Я. Немировского, а также статью А. В. Десницкой «Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика индоевропейских языков» («Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 39—58).

²⁶ См. К. Bouda, *Baskisch und kaukasisch*, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», Berlin, 1948, Heft 3/4, стр. 182—202 и Heft 5/6, стр. 336—352; его же, *Die Beziehungen des Sumerischen zum Baskischen, Westkaukasischen und Tibetischen* («Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft», Bd. XII, Heft 3), Leipzig, 1938.

²⁷ Об истории изучения урартского языка см.: И. Мещанинов, *Язык ваванской клинописи*, II, Л., Изд-во АН СССР, 1935; Г. А. Меликишвили, *Урартские клинообразные надписи*, Приложение к журн. «Вестник древней истории», М., 1953, № 1, стр. 241—324.

²⁸ См. Г. В. Церетели, К вопросу об отношении урартского языка к иберийско-кавказской группе языков, в кн. «IV (X) научная сессия Ин-та языкознания [АН Груз. ССР]... План работы и тезисы докладов», Тбилиси, Изд-во АН Груз. ССР, 1953, стр. 37—39.

образование, именные классы, те или иные фонетические особенности), либо на большем или меньшем внешнем созвучии сравниваемых слов или грамматических показателей. Особенно беспочвенными оказывались попытки сближения кавказских языков с мертвыми языками, от которых нередко сохранилось всего несколько вкривь и вкось толкуемых слов и форм²⁹.

С большой осторожностью говорит о возможности использовать данные «азианических» языков при сопоставлении их с данными кавказских языков А. С. Чикобава: «Эти языки изучены далеко не достаточно. Они ныне не употребляются. Материал по этим языкам, которым располагают исследователи, скуден. Расшифровка писмен клинописных (и тем более иероглифических) наталкивается на большие трудности: нелегко установить, как произносилось написанное и что оно значило в точности; как отмечают специалисты: идеограммы понятны, но неизвестно, как звучало соответствующее слово; клинопись же читается относительно легко, но значение понять в точности не удается»³⁰.

Особо надо рассмотреть также вопрос о родстве кавказских языков с баскским, так как ни с одним другим языком кавказские языки не сравнивались так часто и настойчиво. Впрочем, надо сказать, что баскский язык в свою очередь сравнивался также чуть ли не со всеми языками мира. Попытки сближения баскского языка с кавказскими делались главным образом зарубежными исследователями. В советском языкознании только Н. Я. Марр занимался баскско-кавказскими сравнениями, но его сравнительная методика не в состоянии выдержать серьезной критики. Достаточно сказать, что ведущее место в его сопоставлениях занимал его пресловутый четырехэлементный анализ³¹.

Уже в начале XIX в. Клапрот, связывая отдельные кавказские языки с финно-угорскими и ненецким, дал и свои кавказско-баскские сопоставления. С конца XIX — начала XX в. попытки этого рода начинают следовать одна за другой³². В 1895 г. Г. Шухардт указывал на «внутреннее родство» баскского с грузинским и хамитическими языками, считая, однако, связи баскского с хамитическими языками более тесными, чем с грузинским³³. А. Тромбетти в одном из своих открытых писем к Шухардту (1903 г.), не отрицая родства баскского языка с хамитическими, настаивал на большей близости баскского к кавказским, особенно к грузинскому и абхазо-адыгским языкам. Вслед за Шухардтом и Тромбетти вопросом о баскско-кавказских связях стали заниматься Уленбек (1904 г.) и Винклер (1909 г.)³⁴, Н. Я. Марр и многие другие. Все высказывания этого рода долго носили совершенно декларативный характер: ссылки на структурные, типологические аналогии или эпизодические лексические сопо-

²⁹ См., например, обзор работ об этрусском языке К. Я. Кача в этом номере журнала, стр. 93—101. Скептические соображения о возможности сближения этрусского языка с кавказскими высказывает И. М. Тронский в «Очерках из истории латинского языка» (М.—Л., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 88).

³⁰ А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. I, М., Учпедгиз, 1952, стр. 226.

³¹ Некоторые сопоставления Н. Я. Марра приводит, отзываясь о них, впрочем, в основном, сочувственно, В. Ф. Шишмарев (см. его «Очерки по истории языков Испании», М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 3). См. также статью Л. И. Жиркова «Проблема языка басков» («Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1945, вып. 3—4, стр. 158—166).

³² Исторический обзор таких попыток см. у М. Я. Немировского (указ. соч., стр. 43—47) и В. Ф. Шишмарева (указ. соч., стр. 6—12).

³³ См. H. Schuchardt, Ueber das Georgische, Wien, 1895.

³⁴ См. C. C. Uhlenbeck, Beiträge zu einer vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte («Verslagen en mededeelingen den Akademie Amsterdam», Letterkunde, № 5), 1904; H. Winkler, Das Baskische und der vorderasiatische mittel-ländische Völker- und Kulturkreis, Breslau, 1909.

ставления на основе большего или меньшего внешнего созвучия ни в коей мере не могли создать даже видимости научных доказательств. Только с течением времени сторонники баскско-кавказского единства дают более или менее развернутые работы с привлечением значительного фактического материала.

Первой работой, в которой дано систематическое сравнение словарного материала баскского и кавказских языков, является статья Уленбека³⁵. Уленбек, пытаясь опереться на регулярность звуковых соответствий, дал около семидесяти баскско-кавказских этимологий, из которых значительная часть была принята многими лингвистами, занимавшимися этим вопросом. Вслед за Уленбеком систематическим сравнением баскского языка с кавказскими занимались А. Тромбетти, И. Карст и Ж. Дюмезиль³⁶. В ряде работ последнего времени этим попыткам подводится уже некоторый итог: К. Боуда обобщил все, что сделано в области лексических сопоставлений, добавив значительное число и своих собственных сопоставлений³⁷; Р. Лафон проделал аналогичную работу в области сравнения грамматических показателей³⁸. Можно также указать и на некоторые исследования, в которых дается анализ проблемы баскско-кавказского родства в целом. А. Мартине в своей рецензии на указанную выше книгу Боуда высоко оценивает результаты работ Боуда и Лафона, хотя и не считает положение о баскско-кавказском родстве доказанным³⁹. Ж. Дюмезиль в своей статье о кавказских языках и Ж. Лакомб в статье о баскском языке⁴⁰ считают родство баскского и кавказских языков вероятным, хотя еще и не доказанным. Более скептически относятся к возможности установления этого родства Г. Фогт⁴¹. Он, считая не доказанным родство северокавказских языков с картвельскими, рассматривает гипотезы о родстве кавказских языков с другими языковыми группами как преждевременные или, во всяком случае, чрезвычайно рискованные. В. Поляк, критикуя некоторые предложенные этимологии, также говорит о методологической слабости сравнений, на которых основываются выводы о кавказско-баскском родстве. Он справедливо подчеркивает необходимость предварительной работы по составлению сравнительно-исторических грамматик отдельных языковых групп, а затем и сравнительно-исторической грамматики кавказских языков, взятых во всей совокупности. Поляк допускает также и возможность возникновения сходных грамматических черт и общего словарного фонда в результате развития в рамках одного языкового союза⁴².

Положение о родстве кавказских языков с баскским не может быть, конечно, отвергнуто *à priori*. Но сравнение этих языков может быть по-

³⁵ C. C. Uhlenbeck, De la possibilité d'une parenté entre le basque et les langues caucasiennes, «Revue International des Etudes basques», t. XV, Paris, 1924, стр. 565—588.

³⁶ См.: A. Trombetti, указ. соч.; егo же, Le origini della lingua Basca, Bologna, 1925; J. Karst, указ. соч.; G. Dumézil, Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord, Paris, 1933.

³⁷ K. Bouda, Baskisch und Kaukasisch '«Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», Berlin, 1948, Heft 3/4; егo же, Baskisch-kaukasische Etymologien, Heidelberg, 1949.

³⁸ R. Lafon, Concordances morphologiques entre le Basque et les langues caucasiennes, «Word», New York: 1951, № 3, стр. 227—244; 1952, № 1, стр. 80—94.

³⁹ См. «Word», 1951, № 3, стр. 279—282.

⁴⁰ См. G. Dumézil, Langues caucasiennes, сб. «Les langues du monde» [под ред.] A. Meillet et M. Cohen, nouvelle éd., Paris, 1952, стр. 227—254; G. Lacombe, Langue basque, там же, стр. 255—270.

⁴¹ См. H. Vogt, указ. соч.

⁴² V. Polák, указ. соч.; егo же, La position linguistique des langues caucasiennes, «Studia Linguistica», Lund — Copenhagen, 1950, № 1—2, стр. 98.

ставлено на научную почву только тогда, когда сами кавказские языки будут подвергнуты систематическому сравнительному изучению, когда будут уловлены регулярные соответствия между ними и будет составлена сравнительно-историческая грамматика кавказских языков. Только тогда можно будет осветить с исторической точки зрения факты отдельных кавказских языков, установить историческую последовательность фонетических и грамматических фактов этих языков. До этого все сравнения баскского языка с кавказскими неизбежно будут носить характер любительских упражнений и беспочвенных фантазий, о чем и свидетельствуют некоторые из предлагавшихся сопоставлений. Дюмезиль, например, сопоставляет окончание творительного падежа в баскском *-z* (читается *s*) с надежным окончанием *-с* в различных кавказских языках⁴³. В рутульском языке это окончание действительно также является показателем творительного падежа, в некоторых других языках лезгинской группы и в даргинском — показателем дательного падежа, в квандинском и других языках андийской группы — показателем аблятива, в цезском и других языках цезской группы — показателем родительного падежа, в языках вейнахских — показателем эргатива. О чем может говорить это совпадение в звучании различных падежных окончаний? Для построения каких бы то ни было выводов следует прежде всего выяснить историю этого окончания в кавказских языках. Может быть, это исторически одно и то же окончание, сохранившее свое звучание, но изменившее в тех или иных языках свою функцию. Но тогда путем сравнения данных различных языков нужно выявить его первоначальное значение. Может быть, однако, что мы имеем дело в данном случае с совпадением в одном звуке в результате определенных фонетических изменений исторически различных окончаний. В последнем случае естественно встанет вопрос, какие же из этих показателей могут быть исторически отождествлены с баскским падежным окончанием *-z*? Лафон, исходя из предположения Шухардта о том, что древнейшей формой этого окончания в баскском является *-tz* (читается как русск. *ц*), сопоставляет его с вейнахским окончанием эргатива-инструменталия *-ца*, *-ци*⁴⁴ и с аварским окончанием эргатива в «архаическом» склонении *-ца*⁴⁴. Но и это сопоставление требует предварительной работы по историческому истолкованию *-ца* в аварском и вейнахских языках. К тому же пытаться найти в так далеко разошедшихся языках, как баскский и кавказские, абсолютное совпадение показателей вряд ли правомерно. Как раз такое абсолютное совпадение должно вызвать у читателя законное подозрение относительно реальности предлагаемых сближений.

Часто сопоставления, основанные на внешнем созвучии, не учитывают тех звуковых соответствий, которые уже установлены для кавказских языков. Так, Дюмезиль сравнивает баскское окончание атрибутива *ko* одновременно и с аварским *хун*, и с вейнахским *ха*⁴⁵. Но вейнахскому *х* в аварском соответствует латеральный *л*, как правильно указывает вслед за Трубецким Поляк⁴⁶. Нужно прежде всего выяснить путем сравнительно-исторического анализа, какой из этих формативов является исконным и с каким из них можно сравнивать баскское *ko*. Правда, возможно, что в аварском языке вейнахскому *х* имеется не один ряд соответствий, а два или три. Но и это предположение требует предварительного обоснования, чтобы оно могло рассматриваться как более или менее реальное сближение.

Наивны с методологической точки зрения и попытки Лафона найти

⁴³ См. G. Dumézil, Introduction..., стр. 128.

⁴⁴ См. R. Lafon, Concordances morphologiques..., стр. 231—232.

⁴⁵ См. G. Dumézil, Introduction..., стр. 129—130.

⁴⁶ V. Polák, указ. соч., стр. 97.

соответствия баскским личным местоимениям и личным показателям в различных кавказских языках. Баскское *ni* «я» он сопоставляет с лакским *na* и даргинским *nu*; баскскому окончанию 2-го лица *-k* он находит соответствие в грузинском глагольном префиксе *g-*, обозначающем объект 2-го лица единственного и множественного числа; баскский глагольный префикс 3-го лица единственного числа он сравнивает с основой различных северокавказских указательных местоимений и наречий. Во множественном числе баскское *gi* «мы» Лафон сопоставляет с грузинским глагольным префиксом, указывающим на объект 1-го лица множественного числа; баскское *zu* (читается *su*) сопоставляет с абхазо-адыгским *с^о*, вейнахским *су* и дагестанскими *ичу, чу, шу, жу*; наконец, баскский глагольный префикс 3-го лица *l* — с глагольной связкой 3-го лица единственного числа *li* в сванском языке и с указательными местоимениями *алу, ала, лам, лу* в будухском и крызском. Конечно, вероятность всех этих сопоставлений близка к нулю.

В обобщающих работах К. Боуда накопилось около четырехсот баскско-кавказских сопоставлений. Они представляют собой сближения, основанные на большем или меньшем внешнем созвучии. В значительном большинстве случаев сопоставляются произвольно выделенные элементы слова, очень часто представляющие собой лишь один какой-нибудь звук. Боуда тщательно систематизирует свой материал, пытается опереться на регулярность звуковых соответствий. Некоторая видимость методологической четкости и последовательности иногда при этом, может быть, и создается, но и то далеко не всегда. Так, например, в его сопоставлениях встречаем в качестве соответствий баскскому *z* (читается *c*) кавказские *c, жс, ц, ч, чI*, а также и их геминированные варианты. Основной же порок всех сближений Боуда тот, что он оперирует материалами разных кавказских языков, которые не сближены между собой исторически на основе определенных звуковых соответствий⁴⁷.

Приступать к сравнению баскского с многочисленными кавказскими языками до основательного сравнительно-исторического их изучения — это значит терять под ногами почву реальных фактов и создавать иллюзорные построения, основанные на чисто внешнем созвучии. При наличии сорока кавказских языков нетрудно найти в каком-либо из них соответствие любому языковому факту баскского языка, особенно если этим фактом является однофонемный корень или форматив, к тому же произвольно выделяемый⁴⁸.

*

Многое предстоит еще сделать в области сравнительно-исторического исследования кавказских языков. Далеко не все из этих языков описаны. Имеется и ряд таких языков, которые изучаются, но результаты их изучения еще не стали общим достоянием, и, таким образом, эти языки не могут быть еще использованы в исследовательской работе. Изучение кавказских языков долгое время носило характер чисто описательный, сравнительно-исторические сопоставления делались только эпизодически. И хотя уже многое сделано для создания сравнительно-исторических грамматик картвельской, абхазо-адыгской и вейнахской групп, все же этих грамматик еще нет. Для создания же сравнительно-исторической грам-

⁴⁷ Иллюзорность баскско-кавказских соответствий Боуда становится еще более очевидной, когда он с такой же легкостью переходит к установлению звуковых соответствий между кавказскими языками и рядом других, например австронезийскими.

⁴⁸ Поэтому нам кажется двусмысленным термин «иберийско-кавказские» в применении к кавказским языкам, так как он вольно или невольно указывает на совершенно недоказанное родство кавказских языков с баскским. Ср. такое расширительное понимание этого термина у Г. Дюмезиля, И. Карста, М. Гольмера и др.

матики дагестанских языков еще не проделана большая предварительная работа по описанию языков и составлению сравнительно-исторических грамматик отдельных языковых подгрупп, входящих в состав дагестанской группы языков.

Не надо забывать, что огромный вред сравнительно-историческому изучению языков нанесло длительное засилье в советском языкознании аракчеевского режима, при котором использование сравнительно-исторического метода связывалось с расизмом. Молодые языковеды в процессе подготовки не овладевали методикой сравнительно-исторического анализа. Под давлением марристских догматов они чуждались постановки генеалогических проблем и пытались выводить историю конкретных языков чисто логически из материала изучаемого языка, выходя за его пределы лишь для приведения типологических аналогий из других, родственных или неродственных языков ⁴⁹.

Тбилисская кавказоведческая школа, одним из виднейших представителей которой является А. С. Чикобава, во время господства аракчеевского режима в языкознании сумела противостоять марристским установкам и смело выступала в защиту принципов сравнительно-исторического языкознания. В 1942 г. А. С. Чикобава писал: «...закономерное сходство, наблюдаемое в звуковом составе, в структуре и лексике различных групп кавказских языков, *не есть* результат *схожденья*, не проявление *сродства* (Affinität) их, а отражение генетического единства, *родства* их: чем далее нам удастся проникнуть в толщу исторической жизни кавказских языков, тем ближе они оказываются друг с другом...» ⁵⁰ Грузинскими учеными проделана большая работа по описанию кавказских языков, многие из которых долго оставались неизвестными науке. В исследованиях большое внимание уделялось изучению диалектов, материалы которых так важны для воссоздания исторического процесса развития языков ⁵¹. Многое сделано грузинскими языковедами и для развития сравнительно-исторического метода в применении к кавказским языкам с учетом ряда их специфических особенностей ⁵². А. С. Чикобава не раз с большой убедительностью говорил о строгости научного метода, о необходимости исходить из фактов, об осторожности в научных выводах: «...одно дело мнение, хотя бы и весьма распространенное, другое дело — научное положение, твердо установленное на основе точных данных согласно строгим требованиям лингвистического анализа» ⁵³.

А. С. Чикобава ставил вопрос и о необходимости последовательных сравнительно-исторических исследований: «Единственный путь для решения этой задачи — разработать сравнительно-историческую грамматику и сравнительно-исторический словарь живых иберийско-кавказских языков — сперва отдельно, „регионально“ — по группам, затем сводную, единую сравнительно-историческую грамматику и единый сводный сравнительно-исторический словарь иберийско-кавказских языков» ⁵⁴.

⁴⁹ Недочеты такого характера содержатся и в нашей статье «Локативные и нелокативные значения местных падежей в дагестанских языках» (сб. «Язык и мышление», т. XI, М.—Л., 1948, стр. 56—68).

⁵⁰ Арн. Ч и к о б а в а, Исследование горских кавказских языков и наши задачи, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры АН Груз. ССР», т. XII, Тбилиси, 1942, стр. 287.

⁵¹ См., например, сборники «Иберийско-кавказское языкознание», издаваемые Институтом языкознания АН Грузинской ССР (опубликовано 5 томов: Тбилиси, 1946—1953).

⁵² В этом отношении чрезвычайно важной является работа А. С. Ч и к о б а в а «Древнейшая структура именных основ в картвельских языках» (Тбилиси, 1942).

⁵³ Арн. Ч и к о б а в а, Исследование горских кавказских языков..., стр. 287.

⁵⁴ Арн. Ч и к о б а в а, Сталинское учение о языке и наши задачи в области сравнительно-исторического языкознания, «Заря Востока» (Тбилиси) 20 I 53.

С этой точки зрения А. С. Чикобава скептически оценивает попытки сближения с иберийско-кавказскими языками азианических языков (Хюзинг, Борк, Тромбетти, Вайднер, Форрер, Контено и др.), указывая на то, что они «...пока что лишены, к сожалению, должного методического обоснования, поскольку привлекаемые к сравнению факты живых иберийско-кавказских языков берутся без учета их истории в наличной системе родственных языков»⁵⁵.

Необходимо вместе с тем отметить, что в работах представителей тбилисской кавказоведческой школы, в частности в работах А. С. Чикобава, встречаются и научно не обоснованные утверждения о родстве кавказских языков с самыми различными языками Передней Азии и Средиземноморья и далеко идущие выводы, которые на современной ступени изучения кавказских языков не могут быть подкреплены каким бы то ни было фактическим материалом. В наиболее общей форме эти взгляды выражены в коллективном труде Н. Бердзенишвили, И. Джавахишвили, С. Джанашиа «История Грузии»: «По своему происхождению грузины принадлежат к древнему коренному населению Передней Азии. В глубокой древности, пять-шесть тысяч лет тому назад, родственные между собой народы хетто-иберийской группы занимали обширную территорию в Передней Азии, а также, распространившись отсюда на запад — в северной, прибрежной полосе Африки и в Южной Европе. В Европе народы этого корня предшествовали позднейшим пришельцам — индоевропейцам, испытавшим сильное влияние аборигенного (туземного) населения и его развитой культуры. Так было на Пиренейском, или Иберийском полуострове, где потомки древнего населения — иберов сохранились до наших дней под именем басков, на Апеннинском полуострове, где туземцы, в лице этрусков, создали древнейшую цивилизацию Италии, оказавшую позднее могущественное воздействие на культуру Рима, и на Балканском полуострове, где впоследствии греки явились на смену первоначальных обитателей страны — пелазгов»⁵⁶. Эта точка зрения принята в качестве установочной и языковедами тбилисской кавказоведческой школы. Сборник «Иберийско-кавказское языковедение» (II) начинается следующим определением: «Термином „иберийско-кавказские языки“ мы обозначаем *живых представителей* некогда многочисленного и в культурно-историческом плане глубоко интересного круга языков, которые в советской научной литературе за последнее время именуются *хеттско-иберийскими*... Иберийско-кавказские языки ныне включают в себя *картвельские*... и *горские кавказские языки*...; все — на Кавказе. Баскский язык — в Пиренеях (доиндоевропейский армянский — субстрат современного армянского языка — и языки древней Албании — также относятся сюда исторически»⁵⁷. Аналогичную формулировку мы видим и в брошюре А. С. Чикобава: «...живые иберийско-кавказские языки (картвельские и горские кавказские языки), равно как и баскский язык, относятся к обширному кругу языков, носители которых занимали кроме Кавказа всю Малую Азию, Месопотамию и Средиземноморье; эти языки суть ныне мертвые языки — иберийский — на Пиренейском полуострове, этрусский — на Апеннинском полуострове, пелазгийский — на Балканском полуострове, хеттские языки, хурритский, урартский, эламский и

⁵⁵ А. С. Чикобава, Введение в языковедение, ч. I, стр. 227.

⁵⁶ Н. Бердзенишвили, И. Джавахишвили, С. Джанашиа, История Грузии, ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 16.

⁵⁷ «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. IX. См. также Ари. Чикобава, Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик, там же, стр. 255, где к одной языковой семье отнесены кавказские, баскский, хеттский, эламский, хурритский, урартский и этрусский языки.

шумерский — в Передней Азии»⁵⁸. См. также соответствующие места в упоминавшемся уже учебном пособии А. С. Чикобава по введению в языкознание, в статье К. В. Ломтатидзе и А. С. Чикобава «Иберийско-кавказские языки» в XVII томе «Большой Советской Энциклопедии» и в других работах. Иногда эти формулировки даются совершенно категорически, в других же случаях несколько смягченно, в сопровождении вводных слов «повидимому», «полагают» и т. п., что, конечно, совершенно не меняет положения дела по существу.

Важно также подчеркнуть, что А. С. Чикобава не только утверждает *à priori* существование генетического родства хеттско-иберийских языков, но и рассматривает попытки доказательств этого родства как основную задачу, стоящую перед кавказоведами. «Основная задача, стоящая перед сравнительно-историческим языкознанием у нас, состоит в том, чтобы вскрыть и с научной убедительностью показать историческую общность хеттско-иберийского языкового мира, воссоздать с научной убедительностью пути развития этих языков, показать генетическую связь грузинского и других иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии»⁵⁹.

Наличие подобных априорных утверждений о существовании хеттско-иберийской языковой семьи и постановка задач, не соответствующих уровню изучения кавказских языков, не может положительно влиять на дальнейшее развитие советского кавказоведения. Создается определенное несоответствие между методологическими принципами языкознания как сравнительно-исторической дисциплины и чисто декларативными утверждениями, не вытекающими из фактического материала. При современном состоянии изучения кавказских языков, при отсутствии материалов по многим из этих языков, которые часто известны только по названию, при отсутствии сравнительно-исторических грамматик кавказских языков утверждение о существовании хеттско-иберийской языковой семьи лишено какого бы то ни было реального обоснования, не может быть проверено научными методами, а потому и не может выдвигаться в настоящее время даже как рабочая гипотеза. Полемика о принадлежности многих языков Передней Азии к тем или иным языковым семьям совершенно беспредметна и выходит за рамки языкознания как эмпирической науки, так как об этих языках часто или совершенно ничего не известно, или известно слишком мало для того, чтобы можно было делать какие-либо построения позитивного характера.

Кавказские языки так часто выступали в качестве объекта различных фантастических гипотез, что в методологическом плане в настоящее время чрезвычайно важно держаться при их изучении строгих методов подлинной науки, всегда опирающейся на хорошо изученные и вполне достоверные факты. Основной задачей сравнительно-исторического изучения кавказских языков на данной ступени надо считать создание сравнительно-исторических грамматик отдельных языковых групп с тем, чтобы перейти на следующей ступени к созданию сравнительно-исторической грамматики кавказской языковой семьи в целом.

Постановка вопроса об исторической общности хеттско-иберийских языков дезориентирует специалистов по кавказским языкам, отвлекает их от очередных насущных задач, имеющих решающее значение для развития современного кавказоведения.

⁵⁸ Арн. Ч и к о б а в а, Труды И. В. Сталина по вопросам языкознания и их значение для науки о языке, Тбилиси, 1951, стр. 9—10.

⁵⁹ Арн. Ч и к о б а в а, Сталинское учение о языке и наши задачи в области сравнительно-исторического языкознания, «Заря Востока» 20 I 53.

Р. А. БУДАГОВ

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ СТИЛЯХ

1

Дискуссия по вопросам стилистики давно назрела. Среди советских лингвистов нет единодушия в понимании основных явлений стиля. Больше того, как показывает статья Ю. С. Сорокина, находятся даже такие лингвисты, которые собираются вовсе ликвидировать стилистику, передав рассмотрение вопросов о достоинстве того или иного языкового стиля на суд разных специалистов: языковедов, литературоведов, математиков, химиков, физиков и других представителей «частных наук». Ю. С. Сорокин так и пишет: «Стилистическое исследование предполагает совместную заинтересованность и сотрудничество языковедов со специалистами других отраслей науки — литературоведами, поскольку речь идет об изучении стилистического мастерства писателей и публицистов, представителями других наук, поскольку речь идет о языке и стиле произведений научного характера и т. д.»¹. Получается так, что судить о разных языковых стилях, кроме языковедов и литературоведов, должны «представители других наук» и в той мере, в какой речь идет о научном стиле — повидимому, представители всех технических дисциплин. Иначе нельзя понять слова Ю. С. Сорокина. По его мнению, стилистическим мастерством писателей следует заниматься только литературоведам, а особенностями научного изложения — представителям соответствующих наук: о достоинствах языка политико-экономического трактата пусть судят политэкономы, а о манере изложения математика — математики. Что же тогда остается на долю языковеда?

Но прежде чем разбраться в основной ошибке Ю. С. Сорокина, обратим внимание на характер его аргументации.

Протестуя против разделения стилистики на стилистику языковедческую и стилистику литературоведческую, Ю. С. Сорокин подчеркивает, что проблема стилистики, при всей ее важности, является все-таки «...частью общей проблемы о приемах и способах использования языковых средств для выражения определенного круга мыслей, определенной идеологии, она имеет отношение и к науке, к публицистике и т. д.»². Итак, мы не ошиблись, считая, что Ю. С. Сорокин стремится переложить вину за недостаточную разработку проблем стилистики с больной головы на здоровую. Оказывается, что важнейшая проблема языковых стилей относится к науке вообще, к публицистике и — доводим мысль Ю. С. Сорокина до конца — к политэкономии, к истории, к математике, к физике и т. д.

¹ Ю. С. Сорокин, К вопросу об основных понятиях стилистики, «Вопросы языкознания», М., 1954, № 2, стр. 82 (разрядка моя. — Р. Б.).

² Там же (разрядка моя. — Р. Б.).

Разумеется, было бы глубоко несправедливо, если бы лингвисты лишили экономистов или математиков права судить о достоинствах и недостатках стиля их специальных сочинений. Не подлежит никакому сомнению, что следить за ясностью стиля своего изложения — святая обязанность каждого ученого, каждого исследователя, каждого популяризатора. Но одно дело стремиться к ясной передаче своих мыслей, другое — судить о природе языковых стилей. Разумеется, судить о природе языковых стилей должны языковеды. Поэтому и за состояние разработки проблемы языковых стилей, как и проблемы стилистики в целом, несут ответственность только филологи. Нельзя смешивать интерес к вопросам стилистики, который может быть у представителей самых различных наук, со специальностью, с необходимостью разрабатывать проблемы стилистики как проблемы, относящиеся к языкознанию и литературоведению.

«Представители других наук» (выражение Ю. С. Сорокина) могут в такой же мере интересоваться вопросами стилистики, как и вопросами языка вообще. И это понятно, так как нет такой деятельности человека, которая обходилась бы без языка, для которой язык не имел бы значения. Но от этого ни язык, ни стилистика не должны терять своей специфики. Они являются объектом изучения специальной науки — языкознания (и отчасти литературоведения).

Итак, первое, что мы должны подчеркнуть, подходя к изучению стилистики, сводится к следующему: хотя стилистика, как, впрочем, и язык вообще, обращена ко всем — и не только к ученым, но и ко всему народу, говорящему на данном языке, — это не мешает стилистике, как и языку вообще, быть постоянным объектом изучения специальной науки — языкознания. Поэтому все рассуждения о том, что о стилистике художественной литературы пусть судят только литературоведы, а о стилистике научного языка — представители соответствующих научных дисциплин, нам представляются в основе своей ошибочными. В этом случае стилистика как предмет изучения языковедческой науки если и не свелась бы к нулю, то во всяком случае была бы отодвинута на задний план.

Так, стремление сделать предмет стилистики предметом всех наук на деле ликвидирует стилистику как прежде всего языковедческую науку. Становится неясным и другое: кто должен нести ответственность за состояние разработки стилистики? «Представители всех наук» или языковеды? По нашему мнению, ответ ясен: так как стилистика является языковедческой наукой (отчасти и литературоведческой), то и за состояние ее научной разработки отвечают только филологи — языковеды и литературоведы.

2

Но если трудно взять под сомнение существование стилистики, то, быть может, легче нанести удары по так называемым языковым стилям? Именно так попытался поступить Ю. С. Сорокин в своей статье об основных понятиях стилистики. Ход рассуждений Ю. С. Сорокина очень несложен: так как еще никому не удалось показать, что тот или иной языковой стиль (например, стиль разговорной речи в отличие от стиля речи литературно обработанной, стиль художественного произведения в отличие от стиля научного повествования и т. д.) обладает признаками, которые не повторяются в другом или других стилях, то по существу своему языковые стили не существуют, они выдуманы досужими людьми. «Употребление научной терминологии, — пишет Ю. С. Сорокин, — далеко выходит за рамки только научной литературы... Истинно научное изложение не

замыкается в рамки каких-то особых форм речи. Оно может быть столь же разнообразно и изменчиво, как и изложение чисто художественное»³. Далее следуют отрывки из работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», долженствующие показать, что в истинно научном стиле изложения элементы «художественности» не менее органичны, чем в стиле романов, повестей и рассказов. В свою очередь, рассуждает Ю. С. Сорокин, истинно художественным произведениям присуща ясность, точность и лаконичность, которые характерны и для научного стиля изложения. Поэтому, заключает Ю. С. Сорокин, «...если и выдвигать общие понятия литературно-художественного, публицистического, научного стиля, то нужно помнить, что они выходят за рамки собственно языковые, что с точки зрения языковой они обнаруживают исключительное разнообразие и изменчивость»⁴.

Спору нет, языковые стили действительно обнаруживают «исключительное разнообразие и изменчивость», однако дает ли это право исследователю не признавать эти стили, объявлять их пустой формальностью? Постараемся разобраться в этом вопросе.

Как нам кажется, в решении вопроса о языковых стилях Ю. С. Сорокин допускает две серьезные ошибки — логическую и фактическую. Кратко остановимся на первой и подробнее осветим вторую.

Известно, что проблема разграничения языковых стилей является очень трудной лингвистической проблемой. Об этих трудностях писали многие выдающиеся лингвисты — русские и зарубежные. Признаки одного языкового стиля частично повторяются не только в признаках другого или других языковых стилей, но и в особенностях литературного языка вообще. «Русский литературный язык, — писал акад. Л. В. Щерба, — должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок»⁵.

Основываясь на фактах этого переплетения языковых стилей, Ю. С. Сорокин утверждает, что языковые стили существуют лишь в воображении исследователей. Логическую ошибку Ю. С. Сорокина мы здесь усматриваем в том, что, столкнувшись с трудностями классификации языковых явлений, он не только вовсе отказывается от всякой классификации, но и отрицает реальные различия между языковыми стилями, т. е. отрицает очевидные факты.

Чтобы нагляднее представить себе характер этой ошибки, приведем для сравнения два примера из классификации совсем других явлений.

Известно из истории языкознания, что в конце XIX в. возникло такое направление в диалектологии, которое отрицало реальность существования всяких местных диалектов. Сторонники этой концепции утверждали, что в истории языка нет никакой возможности установить такие признаки диалекта, которые частично не повторялись бы в другом или других диалектах. Переходы одних диалектов в другие обычно настолько разнообразны, а границы между диалектами настолько нечетки, что — согласно этой концепции — нельзя говорить о реальном существовании отдельных

³ Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 74 и 75.

⁴ Там же, стр. 74.

⁵ Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, «Русский язык в школе», М., 1939, № 4, стр. 23.

диалектов. Так возникло направление, отрицавшее реальность существования местных диалектов в истории различных языков⁶.

Характер аргументации Ю. С. Сорокина против реальности существования языковых стилей в общем такой же, каким он был у тех, кто отрицал реальность существования местных диалектов: так как границы между стилями очень изменчивы и подвижны, а признаки одного стиля иногда повторяются в другом или других стилях, то стили в действительности не существуют. Между тем известно, что аргументация противников диалектов не уничтожила и не могла уничтожить реального существования диалектов, ибо это существование является фактом в истории самых разнообразных языков. Точно так же, как нам кажется и как мы еще постараемся показать ниже, аргументация Ю. С. Сорокина против языковых стилей не может уничтожить этих последних, так как существование языковых стилей является фактом, вытекающим из природы и истории языка, из особенностей его функционирования в обществе.

Проведем теперь второе сравнение. Известно, что разграничение романа, повести, новеллы и рассказа проводится в литературоведении. Известно также и то, что неспециалисту это разграничение в одних случаях может показаться очень простым (например, разграничение романа и рассказа), а в других — очень сложным и условным (например, разграничение новеллы и рассказа). В действительности трудности разграничения различных литературных жанров распространяются на все случаи. Достаточно напомнить лишь такие факты: на обложке «Мертвых душ» Гоголя указано «поэма», а «Евгений Онегин» Пушкина именуется «романом в стихах»; свое огромное многотомное произведение «Жизнь Климата Самгина» сам Горький назвал повестью, а о «Герое нашего времени» Лермонтова Белинский говорил как о романе⁷.

Основываясь на таких фактах, можно было бы предположить, что никакого разграничения в действительности между разными литературными жанрами не существует. Однако такое предположение ошибочно. Разумеется, нет абсолютных критериев разграничения литературных жанров, признаки одного жанра часто повторяются в признаках другого или других жанров, но между разными жанрами есть и реальные различия. Можно, например, указать, что тот же Толстой решительно возражал против применения к «Войне и миру» названия повести. Отвергая этот термин, писатель имел в виду отнюдь не размер произведения. «Повестью же я не могу назвать моего сочинения потому, — писал Толстой, — что я не умею и не могу заставлять действовать мои лица только с целью доказательства или уяснения какой-нибудь одной мысли или ряда мыслей»⁸.

Итак, как бы ни соприкасались разнообразные литературные жанры между собой, между ними существуют не только сходство, но и реальные различия.

Разным наукам и разным областям знания постоянно приходится иметь дело с явлениями, которые выступают и как близкие друг к другу, и как отличные друг от друга одновре-

⁶ См. об этом, например, у A. Dauzat, *La géographie linguistique*, Paris, 1922 и у G. Millardet, *Linguistique et dialectologie romanes*, Paris, 1923, стр. 55 и сл.

⁷ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. V, СПб., 1901, стр. 260—261. Ср. интересную заметку Д. Фурманова «О названии „Чапаева“»: «1) Повесть... 2) Воспоминания. 3) Историческая хроника... 4) Худож. историч. хроника... 5) Историческая баллада... 6) Картины. 7) Исторический очерк... Как назвать? Не знаю» (Д. Фурманов, Работа над „Чапаевым“ и „Мятежом“, в кн. «О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей», М., «Сов. писатель», 1953, стр. 346).

⁸ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, М., ГИХЛ, 1949, стр. 55.

м е н н о. Логическая ошибка Ю. С. Сорокина, как нам кажется, заключается в том, что он не разобрался в природе этих сложных явлений. Разнообразные стили безусловно родственны друг другу, они выступают как разветвления единого общенародного языка, но одновременно (об этом ниже) они и отличны друг от друга, так как язык, будучи органически связанным со всеми видами деятельности человека, сам зависит от этих последних, выступает в многообразных и разнообразных формах⁹. Подчеркивая лишь то, что сближает языковые стили, и закрывая глаза на то, что определяет специфику каждого языкового стиля в отдельности, Ю. С. Сорокин тем самым неправильно осветил проблему языковых стилей в целом.

Но дело не только в логической ошибке Ю. С. Сорокина. Не менее существенна и его фактическая ошибка, к краткому рассмотрению которой мы теперь и перейдем.

3

Как мы уже знаем, основной довод Ю. С. Сорокина против реальности существования языковых стилей заключается в том, что признаки одного стиля будто бы целиком или почти целиком повторяются в признаках других стилей¹⁰. Он стремится доказать, что художественная манера повествования в такой же мере свойственна истинно научному изложению, как и собственно художественной литературе, а точность и законичность языка присуща стилю художественной литературы в такой же степени, в какой и стилю научного изложения и т. д.

Не касаясь пока более общего вопроса о языковых стилях, посмотрим, насколько прав Ю. С. Сорокин в этом последнем своем утверждении. Для доказательства тезиса о том, что стилю истинно художественного произведения свойственна такая же точность, как и стилю научного произведения, Ю. С. Сорокин ссылается на Пушкина. Посмотрим, что разумел Пушкин под точностью стиля художественного произведения и можно ли согласиться с утверждением, что точность стиля истинно художественного произведения в общем как бы равна точности стиля научного изложения.

Нет никакого сомнения, что в своей борьбе с перифрастической и жаргонной манерой изложения Пушкин действительно стремился опереться на простые и обычные слова. «Точность и краткость, — писал Пушкин, — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат»¹¹. Через год, в 1823 г., в письме к Л. С. Пушкину, это же требование поэт распространяет и на поэзию, сожалея, что в стихах Дельвига недостает «единственной вещи — точности языка»¹². Хотя Пушкин и различал в этом отношении поэзию и прозу, однако идея «языка мысли» настолько увлекала поэта, что он стремился распространить законы этого языка частично и на поэзию. В цитированной статье 1822 г., требуя от прозы «мыслей и мыслей», поэт, хотя и прибавляет: «стихи дело другое», но тут же комментирует: «...впрочем в них (стихах. — Р. Б.) не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвигнется»¹³.

⁹ Ср. тонкое замечание А. А. Потебни: «Изучать язык — значит различать сходные явления, а не свозакивать их в кучу» («Из записок по русской грамматике», т. IV, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 189).

¹⁰ См. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 73.

¹¹ Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, Изд-во АН СССР, 1949, стр. 19.

¹² Там же, т. 13 (1937), стр. 56.

¹³ Там же, т. 11, стр. 19.

Еще более ярко эта же мысль была выражена Пушкиным в 1828 году в знаменитом отрывке: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями..., поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем»¹⁴. А еще через три года Пушкин заметил: «Определяйте значение слов... и вы избавите свет от половины его заблуждений»¹⁵.

Как же понимал поэт особенности этого «языка мысли»? Выступая против шаблонных метафор и рифм, которые механически выражают «механические мысли» как бы за автора, не давая ему возможности думать («Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядит непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный и проч.»¹⁶), Пушкин вместе с тем подчеркивает, что русскому народу свойственен «живописный способ выражаться»¹⁷. Поэт глубоко убежден, что настоящая образность языка рождается на основе точного слова, на основе слова с четко обрисованными смысловыми контурами. Незадолго до своей гибели, в 1836 г., рецензируя в «Современнике» стихи Виктора Теплякова, Пушкин выписывает такие строки поэта: «Тишина гробницы, громкая, как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова, которые святее ропота волн...» и замечает: «все это не точно, фальшиво, или просто ничего не значит»¹⁸.

Но Пушкин вместе с тем возмущен, что критик его «Онегина» восстает против таких точных и ясных метонимий и метафор, как «стакан шипит», «камин дышит», «ревнивое подозрение», «неверный лед». Неужели, замечает Пушкин, вместо «камин дышит» нужно говорить «пар идет из камина»?¹⁹. Неужели обязательно нужно сказать «ребятишки катаются по льду», а не «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед»? Неужели следует писать «поцелуй молодых и свежих уст», а не «младой и свежий поцелуй»?

Тут мы подходим к основным вопросам пушкинского понимания точности слов и выражений. Поэт отвергает такую образность, которая никак не углубляет наших представлений о действительности, об окружающих нас людях. Для чего прибавлять к слову «дружба» «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.»? Это прибавление не способствует ни углублению наших представлений о дружбе, ни выделению каких-то специфических и характерных для дружбы черт. Именно ввиду неспособности передать что-то характерное и своеобразное, образность эта оказывается вялой, трафаретной, ненужной. Пушкин отвергает также такую образность, которая ведет нашу мысль по неправильному пути. Почему «тишину гробницы» нужно признать «громкой, как дальний шум колесницы»? Разве это сравнение помогает нам глубже понять явления? Пушкин решительно отвечает на этот вопрос отрицательно и называет подобную образность неточной, ошибочной. Вместе с тем поэт стремится кратко сформулировать свое понимание проблемы образности в стиле художественного произведения.

«Веселые ребятишки катаются по льду» — это совсем не то же самое, что «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Первое предложение может встретиться в разных языковых стилях, второе — только в поэзии или — шире — в стиле художественной литературы

¹⁴ Там же, стр. 344 и 73. Отрывок этот приводится по основному тексту и его вариантам.

¹⁵ «Пушкин о литературе», Подбор текстов, комментариев и вступ. статья Н. В. Богословского, «Academia», 1934, стр. 257.

¹⁶ Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, стр. 263.

¹⁷ Там же, стр. 34.

¹⁸ Там же, т. 12 (1949), стр. 84.

¹⁹ См. там же, т. 11, стр. 146 и 71.

(если отвлечься от обычного дополнительного фактора поэзии — рифмы). Выбирая типичное, писатель как бы основывает это типичное на точном понимании разных значений слова. Лед действительно можно разрезать, но можно разрезать не только буквально, но и фигурально (коньками): на основное значение слова как бы наслаивается переносный смысл, способствуя формированию образа. Отношение писателя к слову должно быть очень точным: фигуральные смыслы тогда явятся дальнейшим развитием буквальных значений слова и будут способствовать выбору типичного, запоминающегося, «броского». В этом отношении можно утверждать, что пушкинское понимание «точности слова» не только не противоречит его же тезису о «живописности русского языка», но и было бы невозможно без этого последнего. «Точность» и «живописность» — это две стороны единого целого: стиля подлинно художественного повествования.

Таким образом, точность в стиле художественной литературы это не «точность вообще», а точность конкретная, историческая, точность определенного языкового стиля. Точно так же и образность не существует в языке «вообще», а выступает как историческая категория, присущая языку на определенном этапе его развития. Образность по-разному выявляется в разных языковых стилях.

Как бы широко ни применялась образность в стиле научного изложения, функции образности в этом случае обычно бывают иными, чем в стиле художественного произведения. Различие здесь не количественное, а качественное. В том или ином научном сочинении могут постоянно встречаться «художественные отступления», сравнения, обращения к читателю и т. д., и все же функция образной речи здесь будет иная, чем в рассказе, романе или поэме. Поэтому мы считаем неправильным мнение тех языковедов, которые исключают понятие «стиля художественной литературы» из ряда языковых стилей на том основании, что в художественном произведении «встречаются все языковые стили». Понятия точности, образности, экспрессивности, как и другие стилистические категории, не механически переключиваются из одного языкового стиля в другой, а в системе каждого стиля приобретают глубокое своеобразие.

Обратимся к тому же сочинению И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», при помощи которого Ю. С. Сорокин стремился обосновать противоположный тезис (равноправие «художественных элементов» речи в разных языковых стилях).

«Всякий знает, — пишет Сеченов, — что одно и то же внешнее влияние, действующее на те же самые чувствующие нервы, один раз дает человеку наслаждение, другой раз нет. Например, когда я голоден, запах кушанья для меня приятен; при сытости я к нему равнодушен, а при пресыщении он мне чуть не противен. Другой пример: живет человек в комнате, где мало света; войдет он в чужую, более светлую, — ему приятно; придет оттуда к себе — рефлекс принял другую физиономию; но стоит этому человеку посидеть в подвале — тогда и в свою комнату он войдет с радостным лицом. Подобные истории повторяются с ощущениями, дающими положительное или отрицательное наслаждение, во всех сферах чувств. Что же за условие этих явлений и можно ли выразить его физиологическим языком? Нельзя ли, во-первых, принять, что для каждого видоизменения ощущения существуют особенные аппараты? Конечно, нет, потому что, имея, например, в виду случай влияния запаха кушанья на нос голодного или сытого, пришлось бы допустить только для него существование по крайней мере уже трех отдельных аппаратов: аппарата наслаждения, равнодушия и отвращения. То же самое пришлось бы сделать и относительно всех других запахов в мире. Гораздо проще

допускать, что характер ощущения видоизменяется с переменной физиологического состояния нервного центра»²⁰.

Нельзя действительно не обратить внимания на широкое использование в этом отрывке элементов разных языковых стилей: стиля художественного повествования, научного исследования, особые интонации разговорной речи и т. д. Стоит только проанализировать примеры, взятые как бы из самой жизни («живет человек в комнате»), вопросно-ответный характер построения многих рассуждений, эмоциональные восклицания («конечно, нет») и многое другое. Однако нельзя не заметить и другого (и это главное): все эти, казалось бы, разнородные элементы стиля направлены к единой цели, все они подчинены, как ни к чему вышшему, стилю научного изложения, который по замыслу автора должен и отразить ошибочные умозаключения, и убедить читателя в справедливости авторского заключения. Отсюда и замечание Сеченова о том, что все сравнения и наблюдения он хочет выразить «физиологическим языком», т. е. стилем научного изложения. Отсюда и строго логичная последовательность изложения и наличие в самом изложении некоторых терминов. Этим же определяется стройность конечного вывода («характер ощущения видоизменяется с переменной физиологического состояния нервного центра»).

Разумеется, все эти особенности научного стиля Сеченова тесно связаны с особенностями самой науки, которая требует логически последовательного и стройного изложения. Но в этом стиле научного изложения есть и свои, чисто языковые особенности: развернутая система сочинительных и подчинительных союзов, своеобразие вводных слов (во-первых, во-вторых), наличие определенных терминов (физиологическое состояние, нервный центр, рефлекс) и т. д.

Конечно, сами по себе эти средства могут встретиться и в любом другом языковом стиле. Дело не в том, насколько те или иные стилистические средства языка «неповторимы». Таких «неповторимых» стилистических ресурсов в языке нет или почти нет. Проблема, однако, заключается в том, каковы функции выразительных средств языка в том или ином языковом стиле.

Подобно тому, как точность в языке художественной литературы может преследовать совсем другую цель, чем точность в стиле научного изложения, подобно этому и «художественность» («образность») в разных стилях языка преследует разные цели. Сеченову образность стиля нужна как бы для предварительной подготовки его основного научного тезиса (в приведенном отрывке: «характер ощущения видоизменяется с переменной физиологического состояния нервного центра»). Пушкину образность выражения «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед» нужна уже для другой цели: для особого «видения» окружающего, для передачи шума и гама весело катающихся на льду мальчуганов.

Обратим внимание и на другое. Роман современного прогрессивного французского писателя Жана Лаффита называется «Мы вернемся за подснежниками»²¹. Но метафорический смысл этого названия раскрывается как бы в побочном эпизоде. Мужественному герою романа Рэймону случайно удастся передать жене записку из тюрьмы. В двух-трех строках он стремится сообщить ей о самом главном. И вдруг в записке жена обнаружила заверения, что «этой весной они непременно будут срывать под-

²⁰ И. М. Сеченов, Избранные философские и психологические произведения, Госполитиздат, 1947, стр. 91 (разрядка моя. — Р. Б.).

²¹ Точнее: «Мы вернемся срывать жонкилии» («Nous retournerons cueillir les jonquilles»).

снежники». Читатель узнает, что до войны Рэймону и его жене никак не удавалось полюбоваться весенней природой, супруги только мечтали о поездке за подснежниками. И вот, в годы тягчайших испытаний для всех честных людей Франции, в годы фашистской оккупации, Рэймон пишет жене о подснежниках. Подснежники становятся символом веры в победу борцов сопротивления, символом веры в возможность новой жизни.

Так, казалось бы, побочный эпизод превращается в центральный смысл всего произведения (вера в победу). Метафорический смысл слов «Мы вернемся за подснежниками» сливается с основным замыслом романа. Функция образности оказывается исключительно значительной в стиле художественного повествования. Стиль научного трактата обычно не допускает такого широкого и глубокого проникновения образности. Трудно представить себе научное сочинение по физике или математике, название которого основывалось бы на образности типа «Мы вернемся за подснежниками» (ср. также «Белая береза», «Пиковая дама» и пр.).

Вопрос, следовательно, заключается не столько в том, имеются ли элементы «художественного» стиля в разных языковых стилях — они безусловно имеются во многих стилях, — сколько в том, какую функцию выполняют «художественность» и образность в неодинаковых языковых стилях. Не подлежит сомнению, что функции эти столь же различные, сколь различны и функции «точного слова», функции термина в неоднородных языковых стилях. Известно, что термины в научном стиле стремятся к однозначности, тогда как в стиле художественного повествования они могут сохранять многозначность, приобретать переносное значение и т. д. Известно также и то, что общенародные слова в одном языковом стиле могут приобретать значение терминов («хрупкость», «усталость» и многие другие являются терминами в специальной технической литературе), тогда как в другом стиле они этого значения не получают и сохраняются в своем «житейском» осмыслении.

Признаки одного языкового стиля могут повторяться в другом языковом стиле, но, повторяясь, они обычно всякий раз приобретают иные функции. Так, неразвернутость, своеобразная эллиптичность предложения может характеризовать небрежность разговорного стиля и одновременно тщательную отделанность и «динамичность» поэтического стиля. Например: — *Вам чаю с вареньем или без? — Без, пожалуйста.* В этом случае «неразвернутость» устной речи как бы опирается на ситуацию разговора. Совсем иную функцию «неразвернутость» предложений выполняет в известных стихах Некрасова:

... Ямщик кнутом махнул:
«Эй вы!» и нет уж городка,
Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
Налево — темный лес...

«Эй вы!», обращенное ямщиком к тройке, и все последующее: «и нет уж городка, последний дом исчез» подготавливают читателя к неожиданному открывающейся перед героиней поэмы панораме: «направо — горы и река, налево — темный лес...» Функции «неразвернутых предложений» и самые типы их в этом стиле оказываются уже совсем иными, чем в стиле устной речи.

То же следует сказать о соотношении сочинительных и подчинительных конструкций, которые могут встречаться в самых разнообразных языковых стилях, но функции которых в этих случаях во многом различны. В разговорной речи присоединение при помощи сочинения — это

обычный прием простейшей грамматической связи последующего с предыдущим, тогда как в стиле художественной литературы — это многообразный и очень подвижный способ компановки частей предложения в единое целое²². Сходные стилистические средства в разных языковых стилях одновременно выступают и как близкие, и вместе с тем как различные явления. Лев Толстой любил цитировать слова Брюллова о том, что в искусстве все зависит от «чуть-чуть». Это «чуть-чуть» приобретает огромное значение и в стилистике. Сходные стилистические средства в системе разных языковых стилей «чуть-чуть» непохожи друг на друга.

Возвращаясь к одному из наших основных положений, подчеркнем еще раз, что какие бы признаки различных языковых стилей мы ни взяли, всякий раз при анализе определенного стиля вопрос будет сводиться не столько к тому, какой процент тех или иных стилевых признаков заключается в данном стиле, сколько прежде всего к тому, какую функцию выполняют эти признаки в общей системе данного стиля. В этом смысле такие понятия, как «точность», «художественность», «терминологичность», «разговорность» и т. д., окажутся не только понятиями историческими, но и понятиями функционально различными, в зависимости от того, в пределах какого стиля, какой исторической эпохи и какого языка они встречаются.

Точность в стиле художественной литературы — понятие глубоко историческое. Известно, например, что Проспер Мериме всегда ратовал за точность и лаконичность художественного повествования. В своей статье о Пушкине французский писатель особенно восхищался строгой простотой и динамичностью пушкинской прозы. И тем не менее, переводя «Пиковую даму» на французский язык, Мериме часто своеобразно «украшал» пушкинскую фразу.

У Пушкина: «кареты одна за другой катились к освещенному подъезду». Мериме прибавляет: «к великолепно освещенному фасаду» (*une façade splendidement éclairée*). Пушкин сообщает, что Лизавета Ивановна «...глядела вокруг себя, с нетерпением ожидая избавителя», Мериме присоединяет к этому: «...который разбил бы ее оковы» (*pour briser ses chaînes*). «Ровно в половине двенадцатого, — читаем мы в оригинале, — Герман ступил на графинино крыльцо... Швейцара не было, Герман взбежал по лестнице». Мериме не удерживается и вставляет в пушкинский текст восклицание: «О, счастье! Швейцара не было» (*Oh, bonheur, point de suisse*)²³. Подобные примеры показывают, что точность художественной прозы Пушкин понимал иначе, чем Мериме. И это тем более интересно, что Мериме сам всю жизнь боролся за точность стиля художественного повествования и, несмотря на некоторые отступления от оригинала, в целом все же превосходно перевел «Пиковую даму» на французский язык.

Таким образом, оперируя такими стилистическими понятиями, как «точность», «красочность», «метафоричность», «просторечие» и т. д., необходимо помнить, что понятия эти менялись и по-разному осмыслились в разные эпохи и в разных странах²⁴.

²² См. примеры в моей книге «Очерки по языкознанию» (М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 209—212).

²³ См. «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», 4—5, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1939, стр. 344 и сл.

²⁴ Нельзя не отметить, что отождествление стиля художественной литературы со всеми другими стилями языка характерно для представителей так называемой нефилологической школы. Утверждая, что каждое слово, каждое словосочетание или предложение «всегда являются творчеством», нефилологи-фосслерианцы стирали грани между разными стилями речи. Об истоках этой концепции см. у Е. Физель-

Различие между языковыми стилями может быть обнаружено экспериментально. Представим себе, что мы слышим «гладкую речь» оратора, но затем, ознакомившись с письменным докладом этого же оратора, обращаем внимание на неуклюжие фразы, как бы расплывающиеся в разные стороны, а подчас и вовсе неясные по своему смыслу. То, что нам казалось очень «гладким» и ясным в устном изложении, может оказаться «корявым» и даже неясным в стиле письменном. Встречается и обратное соотношение: иные хорошие стилисты, тонко ощущающие особенности письменного изложения, в устном пересказе своих мыслей то и дело прибегают к всевозможным и ненужным «значит», «вот», «так сказать» и пр. И это понятно: стиль письменной речи имеет свои особенности, далеко не во всем совпадающие с особенностями устного изложения. Для того чтобы овладеть языком всесторонне, необходимо глубоко изучить все его стилевые разновидности.

Пятнадцать лет тому назад акад. Л. В. Щерба в уже упоминавшейся статье «Современный русский литературный язык» очень верно и метко писал: «Можно сказать — и многие лингвисты так и думают, — что все эти разновидности (языковых стилей. — Р. Б.) в сущности не нужны и что лучше было бы, если бы все писалось на некотором общем языке. Особенно склонны люди это думать о канцелярском стиле — термин, который приобрел даже некоторое неодобрительное значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные пережитки вроде, например, архаического *оний* канцелярского стиля, но в основном каждая разновидность вызывается к жизни функциональной целесообразностью»²⁵. Здесь все правильно и глубоко понятно: и то, что языковые стили порождаются функциональной необходимостью, и то, что неспециалисты готовы свести своеобразие того или иного стиля к какой-нибудь случайной мелочи (канцелярское *оний*), не видя более существенных и своеобразных различий. Не менее справедлива и другая мысль Л. В. Щербы, согласно которой разнообразные стили постоянно соприкасаются между собой: сама возможность различения устного и письменного стиля языка перекрещивается с возможностью других делений внутри языковых стилей.

В начале статьи мы подчеркнули, что существование языковых стилей обусловлено самой природой языка и его историей. Язык связан со всеми видами деятельности человека, поэтому нельзя себе представить, чтобы эти виды деятельности не наложили бы своего отпечатка на язык. Многообразие языковых стилей не только не отрицает единства общенародного языка, но было бы невозможно без этого единства. В этом обнаруживается характерная особенность языка: его общенародный характер выявляется в самых разнообразных формах. В этом смысле можно утверждать, что само единство языка как бы предполагает многообразие форм проявления данного единства.

Разумеется, языковые стили — категория историческая. Как мы подчеркивали, в разных языках, в разные исторические эпохи их существо-

(E. Fiesel, Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik, Tübingen, 1927, стр. 189 и сл.). Обоснование этого мнимого тождества стремился дать К. Фосслер (см. K. Vossler, Sprache als Schöpfung und Entwicklung, Heidelberg, 1905, стр. 50 и сл.).

²⁵ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 21 (разрядка моя. — Р. Б.). Прав Р. Г. Пятровский, подчеркнувший, что отрицание языковых стилей сводится к отрицанию фактов («гони природу в дверь — она влетит в окно»). См. его статью «О некоторых стилистических категориях» («Вопросы языкознания», М., 1954, № 1, стр. 58 и сл.).

вания, языковые стили могут и дифференцироваться, и соприкасаться между собой по-разному. В эпоху Ломоносова языковые стили были иными, чем сейчас. Различие обнаруживается здесь прежде всего в том, что языковые стили современного русского языка гораздо шире воздействуют друг на друга, чем во времена Ломоносова. И это понятно, если учесть мощное развитие письменности и литературы, всеобщую грамотность народа, огромное обогащение словарного состава языка. Однако более гибкое соотношение между языковыми стилями нашей эпохи по сравнению с системой языковых стилей XVIII в. вовсе не означает, что различия между языковыми стилями сходят на нет. Обогащение словарного состава языка, рост литературы и общей культуры народа не могли не отразиться на характере языковых стилей. Принципы дифференциации языковых стилей стали теперь гораздо более сложными, чем в эпоху Ломоносова²⁶.

Задача конкретного исследования как раз и заключается в том, чтобы выявить пути формирования языковых стилей в разных языках в разные исторические эпохи. Работа эта только начата, и было бы ошибочно на основании голословного отрицания языковых стилей отказаться от предпринятых в этом направлении разысканий.

Современный исследователь, к сожалению, пока не всегда может точно перечислить все языковые стили русского и других языков: то, что одни лингвисты относят к самостоятельным языковым стилям, другие — лишь к разновидностям более широких языковых единств. Но есть и такие языковые стили, наличие которых в самых разнообразных языках невозможно оспорить. К таким основным категориям относятся различия между стилем литературно обработанного языка и стилем языка разговорного, различия между книжной и разговорной речью, различия между стилем художественного повествования и стилем научного или научно-профессионального изложения. Легко заметить, что деления эти не абсолютные, но от этого они не делаются менее значительными для истории и теории языка. Легко заметить и другое — деления эти перекрещивающиеся: литературный язык может быть не только письменным, но и разговорным; в свою очередь, разговорная речь может быть не только литературной, но и нелитературной и т. д. Именно поэтому исследование проблемы языковых стилей — дело в высшей степени трудное, требующее глубокого понимания сложнейших языковых явлений.

«Может ли письменный язык,— писал Пушкин в 1836 г.,— быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному... Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков.

²⁶ В истории разных языков в разные эпохи их существования соотношение между неодинаковыми языковыми стилями складывается очень своеобразно. Как показал в своем большом трехтомном исследовании Л. Олышки, в истории многих западноевропейских языков стиль научного изложения некогда был ближе к стилю художественного повествования, чем теперь. Слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея слишком «беллетризирован». Это становится понятным, если учесть, что литературным языком западноевропейского средневековья была, как известно, латынь, поэтому в эпоху Возрождения изложение научных сочинений на живом родном языке строилось как бы на основе опыта и традиции стиля художественной литературы. Очень существенно и то, что первые периодические специальные научные журналы появляются в Западной Европе лишь во второй половине XVII в. См. Леонардо Ольшки, История научной литературы на новых языках (русс. перевод), т. II, М.—Л., ОНТИ, 1934, главы 2 и 3.

Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка»²⁷. В этих замечаниях великолепно показана и связь разных языковых стилей между собой, и их существенное различие. То, что возникает в разговорном стиле речи, постоянно проникает в письменный язык, и обратно: письменный язык то и дело обогащает речь устную, речь разговорную. И все же Пушкин предостерегал: «писать единственно языком разговорным — значит не знать языка». Пушкин понимал, что разные языковые стили не только оплодотворяют друг друга, но и различаются между собой.

С этими замечаниями Пушкина любопытно сравнить последующие свидетельства известных писателей других стран. Итальянец Амичис считал, что «различие между устным и письменным языком напоминает различие между бегом и ходьбой»²⁸, а англичанин Шоу утверждал, что «есть пятьдесят способов сказать *да* и пятьсот способов сказать *нет* и только один способ это написать»²⁹. Языковед Вандриес подчеркивает еще решительнее: «по-французски никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут так, как говорят»³⁰.

Нам кажется, что следует разграничить собственно языковые стили, которые обуславливаются самой природой языка, и такие языковые явления, которые непосредственно не определяются природой языка, а скорее зависят от специфики других общественных явлений. Так, различия между стилем литературно обработанного языка и стилем языка разговорного, между книжной и разговорной речью, между стилем художественного повествования и стилем научного изложения — результат самих особенностей языка, обслуживающего все сферы деятельности человека, тогда как различия, например, внутри «стиля художественного повествования» (например, между «стилем басни» и «стилем поэмы») определяются уже не сущностью языка, а жанровыми особенностями самой литературы. Точно так же наличие специальных химических терминов в сочинении по химии или специальных биологических терминов в трактате по биологии детерминируется отнюдь не тем, что существуют особые «химический» или «биологический» языковые стили — таких стилей, разумеется, не существует, а тем, что каждая наука оперирует своими специфическими понятиями, обусловленными своеобразием самого объекта этой науки.

К сожалению, вопрос о природе разных языковых стилей все еще мало изучен. Между тем существенно показать, какие различия являются собственно языковыми и какие определяются другими общественными факторами, зависят от специфики других областей знания.

Большие трудности связаны и с терминологией. У нас нет общепринятых терминов для обозначения различных языковых стилей. Даже на протяжении этой небольшой статьи можно обнаружить известные колебания: стиль художественной литературы — стиль художественного повествования и т. д. Настало время подумать о единстве наименований для различных языковых стилей.

Трудности разграничения языковых стилей действительно очень велики. В некоторых работах последних лет наблюдалось упрощение этой очень сложной проблемы: в каждом мало-мальски своеобразном контексте склонны были видеть чуть ли не особый языковой стиль. Ю. С. Соколин прав, протестуя против такого ошибочного решения вопроса, про-

²⁷ Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 96.

²⁸ Edmondo de Amicis, *L'idioma gentile*, Milano, 1909, стр. 38.

²⁹ Б. Шоу, Избранное, М., ГИХЛ, 1946, стр. 11.

³⁰ J. Vendryes, *Le langage*, Paris, 1921, стр. 171 (см. русск. перевод этой книги: Ж. Вандриес, *Язык*, М., Соцэкгиз, 1937, стр. 141).

тив бесконечных и неоправданных дроблений единого языкового целого. Но трудности разграничения языковых стилей не должны закрывать перед нами реальных языковых фактов. То, что языковые стили переплетаются и широко взаимодействуют между собой, вовсе не означает, что языковых стилей не существует. Между тем из правильного наблюдения Ю. С. Сорокин сделал, на наш взгляд, совершенно неправильный вывод³¹.

В этой небольшой статье была сделана попытка очень кратко обосновать следующие положения: 1) невозможно отрицать существование языковых стилей, наличие которых обусловлено коммуникативной функцией языка и его историей; 2) одни и те же стилистические категории в разных языковых стилях приобретают разное значение (и это очень существенно); 3) языковые стили нельзя смешивать ни с жанрами художественной литературы, ни с манерой изложения отдельных авторов; целесообразно различать языковые стили и такие языковые явления, характер которых определяется спецификой самого описываемого или изучаемого объекта; 4) разграничение языковых стилей — это разграничение перекрещивающихся линий, причем в разных языках, в разные исторические эпохи и сами эти линии, и своеобразие их переплетения может быть различным; 5) наличие языковых стилей не только не отрицает общенародности языка, но и было бы невозможно без этой последней: каждый языковой стиль выступает как своеобразная разновидность общенародного языка.

Языковые стили — это понятие и общелингвистическое, и, вместе с тем, историческое и национальное. Языковой стиль — это разновидность общенародного языка, сложившаяся исторически и характеризующаяся известной совокупностью языковых признаков, часть из которых своеобразно, по-своему, повторяется в других языковых стилях, но определенное сочетание которых отличает один языковой стиль от другого. Не существует неизменных языковых стилей, но существует постоянное развитие, взаимное воздействие, взаимное отталкивание и непрерывное совершенствование и обогащение внутренних ресурсов разных языковых стилей. Историю языковых стилей нельзя рассматривать в отрыве от истории общенародного языка, который является основой и источником языковых стилей.

³¹ Языковые стили дают о себе знать с особой силой во всех тех случаях, когда они «смешаются», когда смешиваются сферы их распространения. Так, например, явно комический эффект возникает от такого изложения конца трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»: «В финале Монтекки и Капулетти и весь личный состав трагедии понес большие потери в живой силе и технике».

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. А. МАГОМЕТОВ

НЕИЗДАННАЯ МОНОГРАФИЯ П. К. УСЛАРА О ТАБАСАРАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Табасаранский язык — один из младописьменных горских языков Дагестана. Число говорящих на табасаранском языке составляет примерно 30 тыс. человек. Это — самая малочисленная народность из пяти народностей Дагестана, имеющих литературный письменный язык. Табасаранцы ныне населяют два района Дагестана: Табасаранский (северный) — в бассейне реки Рубас-чай и Хивский (южный) — в бассейне реки Чирах-чай. На севере и северо-западе табасаранцы граничат с кайтаками (даргинцами), на юго-западе — с агулами, на юге — с лезгинами, на востоке — с азербайджанским населением побережья Каспийского моря. Для табасаранцев, обитателей Табасаранского района, вторым языком — языком межплеменного общения — служит азербайджанский язык, для жителей Хивского района, граничащего с лезгинами, — лезгинский.

Первым, кто начал изучать табасаранский язык, был известный исследователь горских языков Кавказа П. К. Услар, приступивший к изучению табасаранского языка после того, как им были исследованы шесть других горских языков: абхазский, чеченский, аварский, лакский, даргинский¹ и кюринский (лезгинский). Монография, посвященная табасаранскому языку, к изучению которого П. К. Услар приступил примерно в 1870 г., является последним его трудом; ко времени своей смерти (8 июня 1875 г.) он успел лишь вчерне закончить грамматику табасаранского языка.

«Из всех дагестанских языков табасаранский, — пишет П. К. Услар, — представил наиболее затруднений». Затруднения эти заключались прежде всего в том, что П. К. Услар долгое время не мог подыскать пригодного информатора для изучения языка. П. К. Услару пришлось пять раз менять своих руководителей, которые, по его словам, «забывали сегодня, что говорили накануне», хотя они и были природные табасаранцы. «Как ни странно кажется это, — пишет П. К. Услар, — но едва ли в целом свете найдется народ, который бы менее знал свой родной язык, как табасаранцы. На нем говорят они, как бы на языке чужом и плохо выученном»². В конце концов, Услар нашел в лице муллы Селима, уроженца аула Ханаг, «руко-

¹ Под названием «хюркилинский язык» у П. К. Услара представлен один из диалектов даргинского языка, ныне известный под названием урахинского.

² Мы должны отметить, что П. К. Услар не прав, заявляя, что табасаранцы говорят на родном языке как на плохо выученном чужом языке. Табасаранцы владеют своим родным языком так же, как и другие народности Дагестана. Как те, так и другие при выяснении того или иного грамматического вопроса могут колебаться; часто приходится слышать: «и так можно, и так можно». Из неудачи с информаторами не следует делать вывода, что весь народ не знает своего родного языка.

водителя, который обдумывал внимательно свойства своего языка и постепенно приобрел некоторую последовательность в своих показаниях», что дало возможность Услару создать грамматический очерк, не уступающий прежним работам автора.

Работа П. К. Услара была очень тщательной. «Не полагаясь на свой слух, покойный Услар, отыскав туземца, ознакомленного с русским языком и грамотою, и составив при помощи его азбуку данного языка, заставлял его записывать все слова и тексты; записанное проверял Услар при помощи других туземцев, которых он предварительно познакомил со вновь составленным алфавитом... При исследовании табасаранского языка Услар остался вполне верен своему методу: как видно из сохранившихся материалов, записанные табасаранцами слова и тексты проверены были несколько раз, прежде чем они попали в его труд»³.

При жизни П. К. Услара все его грамматики были изданы на русском языке (литографским способом), издавались они и на немецком языке в изложении акад. Шифнера. Рукопись же монографии о табасаранском языке П. К. Услара постигла иная участь. Услар успел отлитографировать лишь заглавный лист рукописи и алфавит: развившаяся болезнь сделала невозможным продолжение занятий. После смерти Услара его дочь отослала рукопись акад. Шифнеру. Вместе с этим трудом были отправлены и все лингвистические и нелингвистические заметки и даже черновые бумаги.

О дальнейшей истории рукописей Услара правитель дел Кавказского отдела Русского географического общества Л. П. Загурский пишет: «Шифнер не мог в это время приняться за рассмотрение посмертного труда Услара; покойный академик передал его, незадолго до своей смерти, чиновнику Кавказского горского управления, отправленному за бумагами, оставшимися после покойного Услара. Кавказское горское управление передало бумаги, полученные от Шифнера, в наш отдел. На них была надпись: «Табасаранский язык». «Табасаранский язык» представлял огромную связку самых разнородных по содержанию заметок, сложенных без всякого порядка. Рассортировавши их, я сделал из них три связки: в одну вошли черновые заметки о тех языках, очерки которых уже отлитографированы, а также выписки из разных сочинений и письма; другую связку образовали ценные лингвистические и нелингвистические заметки, еще неизданные, а третью составили бумаги, относящиеся к табасаранскому языку. По рассортировании последних и выделении из них черновых заметок, из которых многие были совершенно перечеркнуты, получился полный и обработанный труд о табасаранском языке»⁴.

Таким образом, Загурский, рассортировав архив Услара, выделил все относившееся к табасаранскому языку. Об этом материале и идет речь, когда мы говорим о рукописи Услара о табасаранском языке. Придавая большое значение труду Услара, Кавказский отдел Русского географического общества тогда же поставил вопрос об издании этой работы одного из первых своих членов. Не имея на это средств, Кавказский отдел обращался за помощью в Русское географическое общество, в Академию наук и в Министерство народного просвещения, но всюду получил отказ. Рукопись так и не была издана и в 1900-х годах считалась бесследно исчезнувшей.

Следующий исследователь табасаранского языка А. М. Дирр в 1903 г. пишет: «Говорят, что после смерти Услара осталась рукопись его о таба-

³ Л. Загурский, Записка об очерке табасаранского языка, посмертном труде Услара, «Известия Кавказского отдела Импер. рус. геогр. о-ва, т. VII, № 2, Тифлис, 1882, стр. 332—333.

⁴ Там же, стр. 331.

саранском языке, но она странным образом исчезла»⁵. И в предисловии к своему «Грамматическому очерку табасаранского языка», вышедшему в 1905 г., А. М. Дирр также отмечает, что «черновая рукопись посмертного труда Услара о табасаранском языке, к сожалению, бесследно исчезла»⁶.

Однако рукопись Услара через несколько лет была найдена, и, по свидетельству Дирра, Кавказский отдел Русского географического общества поручил ему в 1910 г. «...просмотреть ее и сообщить, есть ли возможность и надобность печатать ее целиком или частью»⁷. 3 февраля 1911 г. А. М. Дирр доложил общему собранию членов отдела свое заключение о рукописи Услара. Изложив содержание рукописи, Дирр заявил, что материалы Услара и изданный им, Дирром, грамматический очерк не имеют существенных различий. Дирр нашел, что материалы Услара обильнее и техника изложения иная, чем у него самого, «...но в общем у нас одинаковые выводы», — заключает А. М. Дирр и делает весьма странное заявление, что «печатать весь труд Услара нет никакой надобности: это было бы лишнее повторение уже сказанного». Он предлагает отделу издать только выдержки из труда Услара, «...другими словами, дополнение к моей работе», — поясняет он. Что же входило бы в дополнение, которое предлагал издать Дирр? По словам Дирра, «туда входили бы сведения о некоторых спорных пунктах по грамматике, несколько текстов, те слова, которых нет у меня или о значении которых существует разногласие между Усларом и мною, и часть исторических и этнографических сведений, заключающихся в предисловии»⁸.

Следовательно, вместо обширной монографии должны были быть опубликованы лишь небольшие отрывки из рукописи Услара, не дающие представления о всей работе. Такая научная оценка труда Услара со стороны лица, являющегося автором другой табасаранской грамматики, более чем необъективна, она умаляет значение монографии Услара и не отражает ее достоинств.

После такой оценки со стороны Дирра Кавказский отдел Русского географического общества не решается издать рукопись Услара, и мы вновь, уже надолго, теряем ее след. Проф. Л. И. Жирков, также автор грамматики табасаранского языка, в 1948 г. сообщает, что «по указанию проф. Н. Ф. Яковлева, рукопись эта находилась в 1927 г. в Баку, откуда была выслана в Ленинград для проф. А. Н. Генко»⁹. Нам неизвестно, каким образом рукопись Услара перекочевала из Тбилиси в Баку, но она действительно оказалась в архиве проф. А. Н. Генко в Ленинграде и в 1949 г. (после смерти А. Н. Генко) была передана в Ленинградское отделение Института языка и мышления АН СССР, откуда поступила в библиотеку Института языкознания АН СССР в Москве.

*

Что же представляет собою найденная рукопись Услара о табасаранском языке и какова ее ценность для иберийско-кавказского языкознания? Эта рукопись включает: а) 25 стр. почти целиком перечеркнутых грамматических заметок; б) 60 стр. неоконченного, частично перечеркнутого

⁵ А. Дирр, Очерки по этнографии Дагестана, Тифлис, 1903, стр. 5.

⁶ А. М. Дирр, Грамматический очерк табасаранского языка, Тифлис, 1905, стр. VII.

⁷ А. М. Дирр, Неизданный труд барона Услара о табасаранском языке, «Известия Кавказского отдела Имп. рус. геогр. о-ва», т. XXI, № 1, 1911—1912, стр. 41.

⁸ Там же, стр. 42.

⁹ Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 12.

грамматического очерка; в) законченный вчерне, местами перечеркнутый, с поправками и замечаниями на полях грамматический очерк в 174 стр.; г) фонетическую часть с историческими сведениями о табасаранцах (всего 14 стр.); д) хрестоматию в 40 стр.; е) сборник табасаранских слов в 246 стр.

Это в точности соответствует описанию рукописи Услара, данному А. М. Дирром, но наблюдается несовпадение с описанием Л. П. Загурского. Загурский ничего не сообщает о 25 стр. почти целиком перечеркнутого грамматического материала и 60 стр. неоконченного первоначального варианта грамматики. Кроме того, по Загурскому, хрестоматия должна была иметь 49 стр., в рукописи же имеется только 40 стр. Вспомогательные черновые материалы Загурский не включил в свое описание рукописи Услара, так как он описывает собственно цельный очерк о табасаранском языке и ему поэтому не было необходимости касаться черновых вариантов. Что касается 9 стр. хрестоматии, которых недостает в рукописи, то, видимо, они были утеряны.

Проф. Л. И. Жирков высказывает предположение, не был ли «найден» второй экземпляр рукописи при Дирре (первый был описан Загурским). Но пометки на полях рукописи с указанием времени работы над ней дают возможность считать, что второго экземпляра, написанного рукою Услара, не могло быть. Над сохранившейся рукописью Услар работал до самой смерти. Загурский в описании рукописи Услара пишет, что, «как видно из пометки..., обработка была окончена в январе месяце 1875 года». Пометку, относящуюся к январю 1875 г., мы находим и в сохранившейся рукописи. Имеется на полях еще ряд пометок, характеризующих время работы над той или иной частью рукописи. На полях сборника слов имеются пометки за 1873 и 1874 годы; на полях грамматического очерка — пометки за 1873 г., много пометок за 1874 г. и последняя пометка — январь 1875 г., когда П. К. Услар кончает работу над грамматическим очерком. Пометки на полях рукописи дают возможность судить также о том, что наиболее интенсивную работу над табасаранским языком Услар вел в 1873 г., а также в 1874 г.

Грамматический очерк, хрестоматия и словарь представлены в рукописи как три отдельно пронумерованные самостоятельные части. Фонетическая часть и исторические сведения даны после морфологии. Сборник табасаранских слов состоит из 1566 слов, т. е. содержит большее их количество, чем другие грамматики Услара¹⁰. Этот сборник так же тщательно обработан, как сборники слов в других монографиях Услара. При именах существительных здесь приведены формы эргатива единственного числа и именительного падежа множественного числа, приводятся часто и некоторые формы местных падежей, а также формы, представляющие собой отклонения от общих правил. В качестве простейшей формы для глаголов вместо инфинитива Услар берет форму отглагольного имени действия (масдар)¹¹. На употребление каждого слова приводятся соответствующие примеры.

Из сообщения Загурского мы узнаем также, что Услар, составив сборник табасаранских слов (табасаранско-русский словарь с примерами), приготовил и список русских слов, но не успел внести в него соответствующие по значению табасаранские слова. Список русских слов, составленный Усларом, также до нас не дошел.

Хрестоматия (в которой, как уже указывалось, из 49 стр. сохранилось 40) включает 33 пословицы и 23 рассказа. На 23-м рассказе хресто-

¹⁰ Для кюринского языка мы насчитали в сборнике слов Услара 1470, для лакского языка еще меньше.

¹¹ Эту форму Услар называет неокончательной.

матия прерывается. Пословицы и 15 рассказов, занимающие 32 стр., снабжены подстрочным и литературным переводом и грамматическим разбором. На остальных страницах дан только подстрочный перевод.

Собственно грамматический очерк табасаранского языка по принципу обработки материала аналогичен прежним работам Услара. Загурский вполне справедливо находит, что грамматический очерк «...по своей обработке и многочисленности приведенных в нем примеров на данные правила, знакомящих с своеобразною конструкцией языка, не уступает ни сколько прежним трудам Услара»¹².

Грамматический очерк, представленный в рукописи, начинается с изложения системы склонения. Первым рассмотрено образование творительного падежа (эргатива), указаны падежные окончания и на каждое из них приведено множество примеров. Затем рассматривается образование множественного числа имен существительных, образование падежей во множественном числе. Вслед за этим автор переходит к описанию местных падежей, которыми весьма богат табасаранский язык; рассмотрены восемь серий по три падежа в каждой серии (соответственно тому, указывается ли состояние покоя, направление к предмету или удаление от предмета).

Специальный параграф Услар посвящает грамматическим классам в табасаранском языке. «В табасаранском языке существуют две категории, — пишет он, — посредством которых выражается различие между существами разумными и существами бессмысленными. К последним причисляются и все предметы неодушевленные, равно как и все слова, выражающие отвлеченные понятия». Услар тут же делает два замечания, которые считает весьма важными: «1) различие чисел не оказывает никакого влияния на изменение букв для слов, означающих существа разумные; 2) во множественном числе различие обеих категорий ничем не обозначается, т. е. категория бессмысленных принимает те же формы, что и категория разумных».

Эта особенность табасаранского языка интересна для истории грамматических классов в иберийско-кавказских языках. В тех языках, где сохранилось большее, чем в табасаранском языке, количество грамматических классов в единственном числе, обычно с помощью классных показателей во множественном числе различаются класс человека и класс вещей.

Переходя к прилагательным (материал расположен по частям речи), П. К. Услар отмечает как их изменение по грамматическим классам, числам и по падежам при самостоятельном употреблении, так и факт неизменяемости прилагательных, когда они употребляются при определяемом ими существительном.

В рукописи даются сведения о прилагательных — производных от имен существительных, от наречий места и времени, о способах выражения равенства качества, низшей степени или превосходства качества.

Обстоятельному разбору подвергнуты местоимения — дается их склонение, примеры употребления. Далее автор описывает имена числительные, которые в табасаранском языке сохранили изменяющиеся классные показатели, сообразно грамматическим классам человека и вещей.

Затем идет разбор глагола, занимающий большую часть грамматического очерка табасаранского языка. В рукописи глагол занимает 101 страницу из 174, посвященных морфологии (или 161 параграф из 253). Изложение табасаранского глагола Услар начинает, как обычно и в других

¹² Л. Загурский, Записка об очерке табасаранского языка, посмертном труде Услара, стр. 335.

своих исследованиях, со спряжения вспомогательных глаголов. Уяснение спряжения вспомогательных глаголов в дагестанских языках очень важно, поскольку вспомогательные глаголы находят обширное применение при образовании сложных форм глагола. Подробно рассматриваются вспомогательные глаголы *xъуз* «сделаться» и *anluz* «сделать, делать».

Приведены временные, деепричастные, причастные формы, формы различных наклонений (повелительного, условного, зависимого от условия, желательного), разобраны вопросительные и отрицательные формы. Услар посвящает специальный параграф выявлению на примерах роли вспомогательных глаголов, «которую они играют в соединении с другими словами».

Далее Услар касается глагола *кун*, имеющего значения: «должно», «надлежит», «желательно», «любить». Приведены основы сложносоставных глаголов, которые употребляются при спряжении только со вспомогательными глаголами. Приведено множество примеров на сложносоставные глаголы, после чего Услар переходит к рассмотрению глаголов, спрягающихся без вспомогательного глагола.

Прежде всего он рассматривает здесь вопрос о классных показателях в глаголах, которого он до сих пор не касался, так как во вспомогательных глаголах классный показатель не выступает. Категория грамматического класса в глаголе для северного диалекта, к которому относится говор, описанный Усларом, является действующей категорией; классный показатель в глаголе является изменяющимся классным показателем, согласующимся с классом субъекта или объекта, на который указывает данный классный показатель. В говоре же, например, аула Хив, являющегося крайней точкой распространения табасаранского языка на юге, категория грамматического класса в глаголе является ныне уже не действующей категорией. Выявляющийся в глаголе показатель грамматического класса является окаменевшим, не согласующимся с субъектом или объектом, стоящим при глаголе.

П. К. Услар выделяет основные формы глагола, от которых могут быть получены другие формы. Такими формами служат: отглагольное имя действия (масдар), деепричастие настоящее, деепричастие прошедшее условное, 2-е лицо повелительного наклонения единственного числа и их отрицательные формы.

Распределение табасаранских глаголов по типам спряжения, по мнению Услара, невозможно, поскольку не могут быть подведены под определенные правила отношения к форме масдара остальных основных форм. Однако дальнейшее изучение табасаранского глагола, вероятно, даст возможность выделить типы спряжения в табасаранском языке. Рассматривается также образование остальных глагольных форм, признанных не основными.

Услар, как известно, является первым автором концепции пассивности переходного глагола в горских иберийско-кавказских языках. Концепция пассивности переходного глагола для Услара остается в силе и при разборе табасаранского глагола. Конструкция переходного глагола в табасаранском языке для Услара «сложна, запутана и неудовлетворительна» потому, что не укладывается в его концепцию пассивности переходного глагола. Заблуждение автора, сводящего эргативную конструкцию горских иберийско-кавказских языков к пассивной конструкции европейских языков, особенно заметно в его последней монографии¹³.

В рукописи разобраны послелоги-наречия, изменяющиеся соответ-

¹³ Мы здесь не имеем возможности более подробно остановиться на теоретической концепции П. К. Услара. Этому вопросу будет посвящена специальная статья.

ственно послеложным падежам, далее идут наречия, союзы и междометия. Этим кончается морфологическая часть рукописи о табасаранском языке, занимающая 174 стр., исписанные мелким уборым почерком так, что на странице помещается около 50 строк.

Следом за морфологией в рукописи Услара идет фонетическая часть с историческими сведениями. В окончательной редакции этот раздел, разумеется, предшествовал бы морфологии, как это мы видим во всех изданных грамматиках Услара.

Табасаранская азбука Услара содержит обозначения 56 звуков, из которых 6 гласных и 50 согласных. Дирр в звуковой системе табасаранского языка (в речи того же аула) насчитывает 63 звука: 12 гласных и 51 согласный. Такое обилие гласных у Дирра объясняется тем, что разные варианты гласных приведены им в качестве самостоятельных звуков. Так, например, он находит четыре разных вида *a*, три — *y*, по два *o* и *e*, между тем как, например, гласный *o* не характерен для табасаранского языка, что совершенно справедливо отмечает Услар.

Услар в составленную им азбуку не внес обозначения звука *ʒ*, хотя и указал, что этот звук имеет грамматическое значение. Дирр отмечает этот звук. Следовательно, если учесть звук *ʒ* в системе Услара (что необходимо сделать, так как *ʒ* является для табасаранского языка фонемой), то по количеству согласных системы Услара и Дирра совпадают — в обеих будем насчитывать по 51 звуку. Однако обе системы совпадут лишь по количеству согласных, вообще же между той и другой системой имеется ряд существенных различий.

Транскрипция у Дирра в его «Грамматическом очерке табасаранского языка» отстает от транскрипции Услара, она непоследовательна и запутана. Описание фонетической системы табасаранского языка несовершенно и у Услара, но оно последовательнее, чем у Дирра. В табасаранском языке имеется 6 специфических лабиализованных фонем, которые Услар уподобляет абхазским лабиализованным звукам. Услар пишет: «Прежде всего обращает внимание странное обстоятельство. Абхазский язык изобилует согласными, к которым прибавляется весьма беглый звук, как бы английское *w*, но весьма ослабленное. В исследованных до сих пор дагестанских языках подобных звуков не встретилось. Абхазцы и табасаранцы живут на двух противоположных оконечностях Кавказа, едва ли даже знают о существовании друг друга, языки их почти не имеют ничего общего, а между тем, в табасаранском обнаруживаются в большом числе согласные, подобные вышесказанным абхазским. Мы вовсе не говорим о тождественности тех и других, — добавляет Услар, — но характер их общий». Эти специфические лабиализованные звуки, которых нет ни в даргинском, ни в лакском, ни в аварском, свойственны всем говорам и наречиям табасаранского языка. Но в табасаранском языке, кроме того, имеются обычные лабиализованные звуки, подобные даргинским или аварским, при произношении которых губы округлены и выдвинуты вперед. Такие звуки с полной лабиализацией свойственны не всем говорам и наречиям табасаранского языка. Их нет в наречии, исследованном Усларом и Дирром, но они имеются в южном диалекте, лежащем в основе литературного табасаранского языка.

*

В предисловии Услар приводит исторические сведения о табасаранцах. О самом названии *Табасарань* Услар пишет: «Табасарань есть название, под которым племя это известно в Дагестане и которое понятно каждому. Так обыкновенно называют себя сами табасаранцы, когда говорят со

«своими иноязычными соседями: табасаран жви, табасаранский человек, табасаранец...» Услар утверждает, что *Табасарань* — название не кавказское. «Весьма явственно слышится, что название это не есть горское кавказское, — пишет Услар, — всего вероятнее ему можно приписать иранское происхождение. Но и при помощи иранского языка оно, насколько я могу судить, остается необъяснимым. Вторая половина слова سران значит „головы“, первая, быть может, есть تبا „порча, разрушение“ или تیر „топор“. Но все эти предположения не ведут к удовлетворительной разгадке».

«У арабских писателей встречаем название طبرسران или طبرسان — продолжает Услар. — Казембек пишет (Derbend Nameh, стр. 102), что туземные этимологи объясняют طبرسران через „топорообразные головы“ или через „топороносцы“, потому что Нуширван так назвал людей, которым поручил охранять Дербент».

О названии *Табаристан*, встречающемся вместо *Табасарань*, Услар пишет, что это «есть описка или свидетельствует о географическом незнании авторов, смешивавших Табаристан с Табасаранью. Между этими двумя названиями, кроме первой их половины, ничего общего не существует. Язык табаристанцев есть одно из иранских наречий — язык табасаранский, без малейшего сомнения, есть один из горско-кавказских».

Более интересным Услар считает название, которым сами себя называют табасаранцы: *ггумггум*, которое, по его мнению, «есть удвоение звука, вроде других кавказских этнических названий: черкес, шешен...» и т. д.

Название *ггум* Услар считает необъяснимым: *Ггумггум жви* «табасаранец», *ггумггумар* или *ггуннар*¹⁴ «табасаранцы», *ггумггум чIал* «табасаранский язык». «Внимание невольно обращается на формы *ггуннар* и *ггуннуан*, — пишет Услар. — *Ггум* и *ггун* так близки друг к другу, что название *ггумггум* есть *ггунггун*, удвоение названия *ггун*, что прямо напоминает исторических гуннов».

О термине *ггун* Услар пишет следующее: «происхождение этого названия неизвестно, но оно может нам объяснить, о каких гуннах на Кавказе писали армянские историки средних веков, начиная с Моисея Хоренаци». Постоянно около Чога, под которым армянские писатели подразумевали Дербент, армянские историки встречаются с гуннами. «Таким образом, становится понятным, — заключает Услар, — каких гуннов встретили армяне подле Дербента». Гунны, обитающие на Кавказе, по Услару, «столь же мало имеют отношения к гуннам Атиллы, как и аварские хунз или столь знаменитая ныне гора Гуниб и пр. и пр. Эти сближения, основанные на случайном и даже всего чаще ошибочном сходстве названий, исчезают, как дым, при точном рассмотрении кавказско-горских языков. Свидетельство армянских историков о дербентских гуннах может нам лишь служить доказательством, что уже по крайней мере XV веков тому назад табасаранцы, *ггуннар*, жили там, где и теперь еще живут».

По свидетельству Услара, византийские императоры в V и VI вв. заключали договоры с горцами, согласно которым горцы «обязывались не пропускать через свои ущелья ни гуннов, ни других северных хищников». Но эти гунны «являются совершенно чуждыми кавказско-горскому народонаселению, о котором все заставляет думать, — конечно, покуда еще на ос-

¹⁴ Название *ггуннар* не является общим племенным названием табасаранцев. Так называют только жителей ряда северных табасаранских аулов. Жителей некоторых других северных аулов называют *жсаранар*, иных — *чиркIулар*.

новании отрывочных исследований,— что оно не изменялось в продолжение целых тысячелетий».

Исторические сведения Услара представляют интерес и для языковеда, и для историка.

Далее Услар дает описание политического быта, установленного после завоевания Табасарани арабским полководцем Абу-Муселимом, покорившим ее после упорного сопротивления и обратившим жителей в мусульманство. Как рассказывает Услар, Абу-Муселим назначил в правители Табасарани одного из своих сподвижников — араба Мюхаммед Маасума. К Маасуму были приставлены два кади, которые должны были толковать народу настоящий смысл ислама. Судьба одного из кади неизвестна, но Маасум и второй кади, по имени Мюхаммед-кади, сделались независимыми друг от друга владельцами Табасарани, поделив ее между собою и образовав две административные единицы: Мисибдин улке — на севере и Къадирын улке — на юге. Такое разделение просуществовало в продолжение целого тысячелетия.

Диалектное деление, вероятно, существовало еще до указанного административного раздела Табасарани. Но образование двух самостоятельных областей, правители которых нередко вели между собой войны, должно было накладывать ограничение на общение между населением обеих территорий и повести к росту расхождений между обоими диалектами. Наличие именно двух диалектов в табасаранском языке может быть понято при учете, с одной стороны, естественного географического разделения территории Табасарани и, с другой стороны, длительного сосуществования Мисибдин улке и Къадирын улке¹⁵.

Мы дали схематическое описание материала рукописи Услара, посвященной изучению табасаранского языка. Монография Услара о табасаранском языке по методу изложения материала и его обработке аналогична предыдущим его исследованиям. Богатый материал, собранный и систематизированный автором, дает возможность продолжать работу над табасаранским языком и последующим ученым-языковедам. Монография Услара представляет большую научную ценность, чем работа А. М. Дирра «Грамматический очерк табасаранского языка», хотя сам Дирр и считал, что его грамматика может заменить работу Услара и, как мы уже указывали, не рекомендовал издавать усларовскую монографию.

Языковые факты в труде Услара представлены не только в основных своих проявлениях, но и в большинстве оттенков; та или иная формулировка автора основывается на анализе большого количества фактического материала. Монография П. К. Услара о табасаранском языке ценна для иберийско-кавказского языкознания не теоретическими положениями, а богатством фактического материала, тонкими наблюдениями автора над языком.

Эта седьмая по счету монография П. К. Услара о горских иберийско-кавказских языках является ценнейшим вкладом в дело изучения иберийско-кавказских языков.

¹⁵ В настоящее время, как уже отмечалось, Табасарань делится на 2 района: Табасаранский (северный) и Хивский (южный), граница между которыми не совпадает с границей между бывшими Къадирын улке и Мисибдин улке.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. К. ЧИЧАГОВ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

*(К выходу в свет первого научного издания новгородских грамот на бересте)**

1

В 1951 г. отряд советских археологов, возглавляемый проф. А. В. Арциховским, открыл в Новгороде новый вид древнерусской письменности — письменность на бересте. В раскопе на территории бывшей Холопней улицы было найдено десять берестяных документов («грамот») — неопровержимое свидетельство того, что в древнем Новгороде береста широко употреблялась в качестве материала для письма.

Найденные в Новгороде берестяные документы («грамоты») отличались от ранее известных древнерусских памятников письменности — на пергамене и на бумаге — не только тем, что они были написаны на ином материале. Письменность на пергамене и на бумаге по содержанию и по языку была письменностью по преимуществу книжной, церковнославянской или деловой, канцелярской. Основными видами памятников этой письменности являются книги религиозно-нравственного содержания и документы официального значения. Письменность же на бересте и по содержанию, и по языку была письменностью по преимуществу бытовой. Она обслуживала личные нужды древних новгородцев. Главными видами памятников этой письменности являются частные письма и записи. Практическая ценность этих документов, по сравнению с книгами и официальными документами, была быстропреходящей, поэтому они, как заметили археологи, в архивах не хранились. Новгородцы уничтожали их или рвали и выбрасывали там, где придется. Это, вероятно, и явилось главной причиной того, что о существовании в древней Руси письменности на бересте науке стало известно с большим опозданием.

Лингвистическое значение берестяных грамот еще не определено в полной мере, однако в некоторых отношениях оно ясно и теперь: язык берестяных грамот не менее древен, чем язык уже давно известных науке новгородских грамот, написанных на пергамене. Очень важно также, что живая повседневная древнерусская речь представлена в берестяных грамотах гораздо точнее, нежели в каких-либо других видах древнерусской письменности.

* А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров, Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1951 г.) — М., Изд-во АН СССР, 1953, 68 стр. + 15 вкл.

Вполне понятно поэтому, что историки русского языка следили (и следят) за сообщениями о ходе новгородских раскопок с большим интересом. На первые же, предварительные, публикации грамот они откликнулись специальными статьями, в которых не только высоко оценили грамоты как новый источник истории русского языка, но и предложили ряд ценных наблюдений над их текстами и языком¹. Таким образом, уже с момента предварительной публикации новгородские грамоты на бересте были введены в обиход советской лингвистической науки.

Изучение берестяных грамот производилось до сих пор по текстам, опубликованным А. В. Арциховским в журналах «Вопросы истории» (№ 12 за 1951 г.) и «Вестник Академии наук СССР» (№ 12 за 1951 г.). Хотя в указанных журналах ряд текстов был издан вполне исправно, однако, по словам самого издателя, публикации эти являлись лишь «предварительными сообщениями». Поэтому некоторые из берестяных документов не вошли в эти сообщения совсем (см. об этом ниже), а некоторые документы были опубликованы не полностью; орфография подлинников была соблюдена только в грамотах, изданных в прорисях. Вот почему нельзя не приветствовать новое, более совершенное издание новгородских грамот на бересте, включающее в себя все найденные в 1951 г. берестяные документы и воспроизводящее их с большой точностью.

2

Книга, представляющая собою первое научное издание новгородских грамот на бересте, найденных при раскопках 1951 г., состоит из трех разделов. Первый из них «Введение» и третий (он же последний) «Стратиграфическая датировка грамот и надписей» написаны руководителем экспедиции проф. А. В. Арциховским (стр. 3—10, 51—62). Второй, основной, раздел издания называется «Грамоты и надписи». Он содержит издаваемые памятники, а кроме того — палеографическое описание их и комментарий к ним, составленные известным знатоком и издателем памятников древнерусской письменности профессором, ныне академиком М. Н. Тихомировым (стр. 11—50). В конце книги приложен «Указатель к словам, имеющимся в грамотах и надписях».

В разделах, написанных А. В. Арциховским, сообщаются, в основном, сведения археологического характера. Во «Введении» А. В. Арциховский очень коротко, но ясно и точно, с приведением планов и чертежей, рассказывает о месте открытия берестяных грамот на территории Новгорода («Неревский конец»), о том, как производились раскопки, как были открыты берестяные грамоты. Характеризуя найденные памятники с точки зрения материала, на котором они написаны, автор «Введения» указывает, что «А. И. Соболевский ошибался, думая, что древние грамоты, написанные на бересте, не дошли до нас „по причине ее крайней непрочности“». Найденные теперь грамоты, безусловно, прочнее не только бумажных, но и пергаменных; дело лишь в том, что в архивах подобные частные письма и записи не хранились» (стр. 6)². Замечательной особенностью

¹ См. статьи: В. И. Борковский, Драгоценные памятники древнерусской письменности и Ф. Ф. Кузьмин, Новгородская берестяная грамота № 9 («Вопросы языкознания», 1952, № 3).

² В тексте в скобках даем ссылки на страницы книги А. В. Арциховского и М. Н. Тихомирова.

В статье нами приняты следующие сокращения: «Акты соц.-экон. ист.» — «Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952; «Акты феод. земл.» — «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI веков», ч. I, М., Изд-во АН СССР, 1951;

найденных грамот является также то, что они написаны не чернилами, а «процарапыванием, что обеспечило им значительно большую сохранность» (стр. 6). А. В. Арциховский правильно указывает далее, что грамоты представляют научную ценность не только для историков, но и для филологов, «тем более, что речь здесь не книжная и не канцелярская, а самая непринужденная» (стр. 9). Новгородские находки интересны, по мнению исследователя, и тем, что «они лишний раз опровергают распространенный предрассудок, будто грамотность в древней Руси была привилегией духовенства. Мы видим теперь, — пишет А. В. Арциховский, — что рядовые светские новгородские граждане писали друг другу письма по бытовым вопросам, и подобных писем, очевидно, было много, судя по количеству случайных находок в разных слоях небольшого раскопа» (стр. 40). О «широком распространении грамотности» в Великом Новгороде свидетельствуют, по мнению автора, и надписи на предметах, которые публикуются в том же издании как «естественное дополнение к публикации грамот».

Приходится пожалеть, что А. В. Арциховский не остановился на том, кто были новгородские граждане, писавшие друг другу письма, а также на том, кем были написаны письма этих граждан, между тем у исследователя могли быть по этому поводу свои особые соображения; большой интерес они представляли бы и для филологов.

Вторая статья А. В. Арциховского посвящена изложению и обоснованию археологических принципов датировки открытых во время раскопок памятников письменности, в частности — берестяных грамот. Об устанавливаемых в этой статье датах для отдельных памятников см. ниже.

3

В основной части издания — в разделе «Грамоты и надписи» — прежде всего, как уже упоминалось выше, публикуются новые памятники письменности. Под названием «грамот» в издании помещены две деловые записи («Запись о поземе и даре» — № 1 и «Запись о мехах» — № 2), семь частных писем («Письмо от Гришки к Есифу» — № 3, «Письмо от Микиты к Церту» — № 4, «Письмо к Матфею» — № 5, «Письмо от Филипа» — № 6, «Письмо о Коромане» — № 7, «Письмо о корове» — № 8, «Письмо от Гостыты к Василью» — № 9) и одна «Грамота (надпись) на ободке сосуда» (№ 10). Надписей публикуется девять: на моржовой кости (№ 1),

«Арх. Стр.» — «Архив П. М. Строева», Пг., т. I — 1915, т. II — 1917; «Гр. Вел. Новг.» — «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», под ред. С. Н. Валка, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1949; «Дух. и дог. гр.» — «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.», М. — Л., Изд-во АН СССР, 1950; «Кар. в XVII в.» — «Карелия в XVII веке. Сборник документов», сост. Р. Б. Мюллер, под ред. А. И. Андреева, Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1948; «Новг. лет.» — «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М. — Л., Изд-во АН СССР, 1950; «Пск. лет.» — «Псковские летописи», вып. 1, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1941; «Писц. кн.» — «Новгородские писцовые книги, изданные Имп. Археографическою комиссиею», т. III («Переписная оброчная книга Вотской пятины 1500 года»), первая половина, СПб., 1868 и т. VI («Книги Бежецкой пятины»), СПб., 1910; Туп. — Н. М. Тупиков, Словарь древнерусских личных собственных имен. («Записки Отд-ния русской и славянской археологии Имп. Русского археологического общества», т. VI), СПб., 1903; Голуб. — Е. Е. Голубинский, История русской церкви, т. 1, 2-я половина тома, в кн. «Чтения в О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те», 1904, кн. 3; «Мат-лы для изуч. великор. гов.» — «Материалы для изучения великорусских говоров», вып. IX («Сборник Отд-ния русского языка и словесности Имп. Акад. наук», т. LXXXVII, № 5), СПб., 1910; Подвысоц. — А. Подвысоцкий, Словарь областного архангельского наречия, СПб., 1885; Чаев — Н. С. Чаев, Северные грамоты XV в., в кн. «Летопись занятий Археографической комиссии. 1927—1928 годы», вып. XXXV, Л., Изд-во АН СССР, 1929.

на деревянном цилиндре (№ 2), на деревянной крышке кадушки (№ 3), на нижнем венце сруба (№ 4), на медной пластинке (№ 5), на днище бочки (№ 6), на аршине (№ 7), на деревянной колодке (№ 8), на чаше (№ 9).

Сохранность публикуемых памятников различна. Некоторые из грамот дошли в полном виде, от некоторых сохранились лишь небольшие отрывки, состоящие всего из нескольких слов. Самыми большими по объему являются деловые записи. Размер писем, даже дошедших в полном виде, небольшой. Это скорее «записки», чем «письма». Самое большое письмо — от Гостяты к Василью — состоит из нескольких предложений. Большинство надписей сохранилось хорошо; плохо читаются лишь две: № 7 и № 8 (начало). Текст надписей в большинстве случаев состоит из одного слова, надписи № 7 — из двух слов, надписи № 2 — из нескольких слов и надпись № 4 (на нижнем венце сруба) — из одной буквы. Большая часть памятников, как указывалось выше, была уже опубликована. Тексты некоторых памятников — №№ 1, 4, 7, 8 — публикуются впервые в настоящем издании.

Научное издание памятников осуществлено следующим образом. Все памятники воспроизводятся прежде всего фотографически на особых вкладных листах. Тексты по фотографиям, за исключением мест попорченных или поврежденных, читаются довольно хорошо. Из надписей наиболее трудно читаются две, уже упомянутые выше (см. вкладку после 48 стр.). Фотографии памятников, как правило, вполне пригодны для различного рода научных наблюдений. Однако при чтении фотографий необходимо учитывать, что береста, на которой написаны соответствующие тексты, «имеет природные трещины, изгибы, черточки и точки на ее поверхности, которые могут быть приняты за буквы или части букв, а также за разделительные знаки. Кроме того, следует иметь в виду возможность появления случайных штрихов, сделанных во время нанесения букв на бересту. Эти особенности грамот на бересте нельзя полностью показать на фотографиях. Поэтому, кроме фотографий, в издании всюду прилагаются прориси, тщательно сделанные М. Н. Кисловым и проверенные по подлинникам» (стр. 14).

Прориси памятников, помещаемые на вкладках рядом с соответствующими фотографиями, действительно, выполнены с большим старанием и тщательностью. Они, как правило, точно передают не только начертания отдельных букв, но и общий стиль письма. Имеются и недосмотры. Например, в прориси надписи на деревянной колодке (№ 8) вместо буквы «зело» (см. фотографию и описание) дана только нижняя часть этой буквы, совпадающая по начертанию с буквой «земля». В прориси надписи на деревянном цилиндре (№ 2) не передан надстрочный знак над буквою *ц* и титло над цифрою *г*. Судя по описанию, неправильно передано начертание *н*. В прориси грамоты № 1 знак *у* перед словами *(Р)афанова села* (стр. 20) не согласуется с тем, что видно на этом месте на фотографии. По мнению М. Н. Тихомирова, эта буква «ближе всего... напоминает *р*» (стр. 17) (см. об этом также в следующей нашей заметке).

Кроме прориси, текст каждого документа передается современными буквами «с сохранением орфографии и расположения по строкам». Наконец, четвертый раз текст документа воспроизводится «с разделением на слова и со знаками препинания по современной орфографии (однако с соблюдением буквы *ъ* в середине слова)» (стр. 15). Таким образом, в издании сделано, кажется, все возможное, при этом с соблюдением необходимой осторожности, для того чтобы документы были понятны читателям.

Грамоты расположены в издании в том порядке, в каком они были открыты, т. е. в порядке, обратном по отношению ко времени их появления на свет. Это расположение, совершенно необходимое в отчете о раскопках,

вряд ли отвечает интересам настоящего издания. В частности, оно не позволило автору интересного и ценного для науки палеографического описания, являющегося, в сущности говоря, первым опытом палеографии берестяной письменности, — представить описываемые им явления в исторической последовательности, а может быть, и преемственности.

4

В чтении памятников М. Н. Тихомиров, в основном, не расходится с А. В. Арциховским. Наиболее существенные расхождения сводятся к следующему. В грамоте № 9 имя собственное Гостята М. Н. Тихомиров склонен понимать как женское имя: это предположение, по его мнению, «наиболее правдоподобно объясняет содержание письма» (стр. 41). А. В. Арциховский полагает, что имя Гостята — мужское, и автором письма является, следовательно, не женщина, а мужчина. В основу этого мнения положены следующие соображения: во-первых, «летописи и иные источники содержат много имен на *-ята*, все это имена мужские». Во-вторых, «женские имена у всех народов отличаются по окончаниям от мужских. Имена на *-ята* были в древнем Новгороде столь распространены, что мы явно имеем здесь дело с какой-то языковой нормой, едва ли допускавшей двусмысленность»³.

Первый из этих доводов подробно рассмотрен Ф. Ф. Кузьминым в указанной выше его статье. Ф. Ф. Кузьмин справедливо пишет, что хотя все дошедшие до нас древнерусские имена на *-ята* принадлежали мужчинам, однако из этого не следует, что «автор письма — Гостята — не женщина» (стр. 138). Древнерусских женских имен, с чем согласен и А. В. Арциховский, дошло до нас вообще очень мало. Между тем по образованию своему имя Гостята может быть мужским и женским. «Содержание грамоты, с своей стороны, полностью подтверждает авторство женщины» (стр. 139). Что касается второго соображения А. В. Арциховского, то следует иметь в виду, что как раз именно в ономастике, по крайней мере русской, древней и теперешней, совпадение между словами, т. е. между личными именами мужчин и женщин, может быть полное. В этом нетрудно убедиться, раскрыв «Словарь древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова. Здесь показано, например, что древнерусское имя, образованное от того же корня, что и Гостята, — Гостена употреблялось и как личное имя мужчины («Гостена, холоп... 1506 г.», стр. 173), и как личное имя женщины («Гостена, холопка... 1506 г.», стр. 516). Точно так же имя Малюта могло быть и мужским, и женским (ср. Малюта Скуратов и «Федорица Малюта, холопка... 1518 г.», стр. 517). Можно привести и другие древнерусские имена, общие для мужчин и женщин. И в наше время некоторые имена, например Шура, Женья, Валя, Паня, могут быть мужскими и женскими.

С мнением, что имя Гостята — женское имя, трудно не согласиться, в частности, потому, что фразу этого письма: *пустил же мя, а иную поля*, т. е. «(он) отпустил (оставил) меня, а иную (другую) взял», могла написать о себе только женщина. Мужчина, который имеется здесь в виду, глава семьи, не мог взять в дом *иную*, т. е. другую женщину, да еще замуж (*поля*), вместо сына, если предположить, что автором письма был обездоленный своим отцом сын. Важное значение для правильного понимания этого места, наряду с параллелью к нему из канонических ответов XI в., приведенной М. Н. Тихомировым (стр. 41), — имеет также

³ А. В. Арциховский, Раскопки 1951 г. в Новгороде, «Советская археология», XVIII, М., 1953, стр. 360 — 361.

следующий, текстуально почти совпадающий с указанным местом, параграф Устава митрополита Георгия (XII в.): «Аще кто свою же н у п у с т и в ъ , а и н у ю п о и м е т ъ , пость 2 лѣта...» (Голуб., стр. 544; разрядка моя.— В. Ч.).

Второе расхождение между М. Н. Тихомировым и А. В. Арциховским относится к той же грамоте и связано с разбивкой на слова следующего места: *избивъроукипустилъжемя* (строка четвертая). А. В. Арциховский читает приведенное место так: *изби, въ руки пустилъ же мя*, но не исключает возможности и другой разбивки: *избивъ руки, пустилъ же мя*, т. е. «избив по рукам, прогнал меня»⁴. В последнем издании текстов А. В. Арциховский передает указанное место без запятой: *изби въ руки пустилъ же мя*, а в комментарии пишет: «Слова *в руки пустил* не совсем понятны»⁵.

По мнению М. Н. Тихомирова, «Выражение *избивъроуки* следует сопоставить со словом *сѣбитъ* — согнать, прогнать» (стр. 41). В связи с этим предлагается следующая разбивка текста: *и зби в руки пустил* (стр. 42). Усилия лингвистов, изучавших язык грамоты № 9 (см. указанные выше статьи В. И. Борковского и Ф. Ф. Кузьмина), пока также не привели к общему пониманию этого места⁶. Таким образом, место это приходится считать не разъясненным.

Из других расхождений отметим следующее: первое слово в грамоте № 2 М. Н. Тихомиров читает Аекуевъ (стр. 23, 24); А. В. Арциховский находит здесь два слова — А Екуевъ⁷. В чтении надписей М. Н. Тихомиров или не расходится с А. В. Арциховским, или приводит чтение последнего. Одна из надписей (№ 9) оставлена без объяснений (о ней см. ниже).

В публикуемых документах имеются и другие места, чтение которых нельзя признать окончательным. Остановимся на двух из таких мест. В грамоте № 1 («О поземе и даре») вторая половина одиннадцатой строки читается в издании так: *Фоме 4 вацн солоду----а 4 каде--2 ка* (строка на этом кончается). Здесь вызывает сомнение слово, принимаемое за *вацн*. И у издателя возникала мысль о том, что, может быть, «это место прочитано неверно, или вкралась описка писца записи» (стр. 19). Обратимся еще раз к фотографии и прориси указанного места. По нашему мнению, в начале слова, принимаемого за *вацн*, стоит не буква *в*, а буква *к*. Последняя была принята за *в* потому, что какая-то случайная линия в верхней ее части, может быть, имевшаяся на бересте, была принята за верхнюю линию буквы *в*.

В том, что в указанном слове первую букву следует читать как *к*, убеждает следующее. Во-первых, буква эта, в отличие от *в*, не имеет ни на фотографии, ни на прориси линии основания. Во-вторых, верхняя часть этой буквы не уже ее нижней части, между тем как у обычной для грамоты буквы *в* верхняя часть (верхняя линия), как правило, вдвое уже ее нижней части (линии основания). В-третьих, линия, принимаемая за верхнюю линию *в*, выходит за пределы линии, принимаемой за верхнюю боковую ли-

⁴ А. Арциховский, Новые открытия в Новгороде, «Вопросы истории», М., 1951, № 12, стр. 83; его же, Археологические открытия в Новгороде, «Вестник АН СССР», М., 1951, № 12, стр. 66.

⁵ А. В. Арциховский, Раскопки 1951 г. в Новгороде, стр. 359 и 360.

⁶ По мнению Р. Якобсона [R. Jakobson, Vestiges of the earliest Russian vernacular, «Words», New York, 1952, № 4 («Slavic Words», № 1), стр. 353], форма *руки* в указанном месте «не является винительным падежом множественного числа, но обычным родительным/разделительным, зависящим от глагола *пустити*». Он переводит этот родительный/разделительный творительным падежом: «он позабавился от меня (= сбыв меня с рук) своей рукой (-ами)». Все это требует обоснований, которых в статье, к сожалению, не содержится.

⁷ А. Арциховский, Новые открытия в Новгороде, стр. 80.

нию буквы *в* справа — *П*, тогда как в обычной для грамоты букве *в* этого никогда не бывает. Наоборот, наблюдается другое: боковая линия, образующая верхнюю петлю *в* справа, обычно выходит за пределы верхней линии или, точнее, начинается выше этой линии, т. е. пишется так: *П*. Из сказанного следует, что линия, принимаемая в рассматриваемой букве за верхнюю линию *в*, в действительности случайного происхождения, а в целом рассматриваемая буква является не буквой *в*, а буквой *к*.

Итак, слово, о котором идет речь, следует читать не *вацц*, а *кацц*, т. е. *каццц*⁸. Это то же самое слово, которое находится в той же строке по соседству в форме родительного падежа множественного числа — *кадець*. Слово это легко читается по прориси и труднее по фотографии (в издании дается только *каде...*). Начало того же слова имеется на той же строке и дальше, после числительного *·в·* (*·в·ка* — на этом строка обрывается)⁹.

Если вместо *каде...* в интересующем нас месте читать *кадець*, то букву, обозначающую цифру, придется прочесть как *·л·*, так как *·д·* (четыре) не управляло родительным падежом множественного числа. Слово, предшествующее числительному *·л·*, можно было бы прочесть *овса*: две последние буквы этого слова по прориси читаются легко; верхняя часть предшествующей им буквы может относиться к *в*¹⁰. Таким образом, всю вторую половину одиннадцатой строки предлагается читать так: *Фоме ·д· каццц солоду + овса ·л·кадець ·в·ка (цц)...*¹¹

Еще об одном месте в той же грамоте. С лингвистической точки зрения вызывает сомнение чтение на восьмой строке слов: *А з Вабинихъ (се)ла*. Сомнительно здесь *з* вместо *с* перед следующим *в*, в связи с чем возникает потребность обратиться к прориси и фотографии. В прориси в начале приведенного названия села стоит буква, которую, действительно, трудно не прочесть как *в*, однако на фотографии здесь находим букву, не похожую на обычное для грамоты *в*. Первая буква слова, принимаемого за *Вабинихъ*, по начертанию ничем не отличается от ряда начертаний буквы *б* в той же грамоте; ср., например, два предшествующих начертания той же буквы. Верхняя линия этой буквы не уже ее нижней линии (линии осно-

⁸ Буква *ц* вместо *дц* или *дц* писалась в слове *кацц* согласно живому произношению. Такое употребление *ц* встречается и в других, уже давно известных, новгородских грамотах. Ср., например: *новгороци* при *новгородци* («Гр. Вел. Новг.», стр. 55, 56).

⁹ Отметим, что слово *кацц* — *каца* в значении «кадка» широко бытовало в северных говорах в XIX в., широко бытует и теперь. Ср., например, олонечное *каца*, *кацц*, вологодское *кацц*, *кацц* («Словарь русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук», т. IV, вып. 2, СПб., 1908, стр. 73—74; «Диалектологический сборник», II, под ред. А. С. Ягодина, Вологда, 1941, стр. 89).

¹⁰ В Новгородской летописи слово *кадь* употребляется тогда, когда речь идет о ржи, об овсе и о пшенице.

¹¹ Слог *цц* отойдет к началу следующей — двенадцатой строки. О восстановлении текста этой строки. О первой ее части М. Н. Тихомиров пишет: «Утеряно все начало строки, примерно 17 букв» (стр. 18). Две буквы — начальные — из этих семнадцати нам известны: это упомянутый выше слог *цц*. Установлены М. Н. Тихомировым две конечные буквы из этих семнадцати: это начало слова, конец которого читается так же как *цц*, следовательно — *ва* или, по-нашему, — *ка*. Форма *кацц* заставляет предполагать, что перед ней из количественных числительных до десяти может находиться одно из трех: *·в·*, *·д·* или *·д·*. Обозначение цифры в контексте занимает место двух-трех букв. Таким образом, из семнадцати букв неизвестными остаются десять. Из контекста видно, что они должны были составлять название подати, измеряемой кадами, следовательно, это название зернового хлеба. По количеству букв, а также принимая во внимание зерновой хлеб, который в Новгороде измерялся кадами и (см. предшествующую сноску), для этого места более всего подходило бы слово *пшеницы*. Но в этом слове только семь букв, а не десять. Однако две буквы — *ш* и *ы* — должны были занять место трех-четырех букв. Неясными остаются одна-две буквы. Их могло и не быть: на утраченном месте могло находиться не семнадцать, а шестнадцать или пятнадцать букв.

вания), что, как мы уже говорили выше, не характерно для начертания *е* в грамоте. Интересующая нас буква, как и ряд других начертаний *б* в этой грамоте, имеет небольшую черточку, идущую кверху от правого конца верхней линии (5). Именно эта-то черточка, принятая за начало линии, образующей у буквы *е* петлю справа, и ввела в заблуждение исполнителя прориси. Но главное отличие начальной буквы в названии села от буквы *е* состоит в том, что у последней линия, образующая верхнюю петлю справа, как правило, доходит до нижней линии (линии основания), тогда как в интересующей нас букве линия, принимаемая за верхнюю боковую линию *е*, если и имеет некоторое продолжение вниз от верхней линии, то продолжение это не достигает линии основания; даже на прориси оно доходит только до верхней линии нижней петли. Итак, место, о котором идет речь, следует читать: *А з Бабинихъ (се)ла...*; буква *з* перед следующей за нею буквой *б* объяснений не требует.

5

Об одном месте в грамоте № 8. Конец второй и начало третьей строки этой грамоты передаются в издании в последнем чтении так: *ожапочиши коровъ*. Первая часть этого места неясна и по смыслу и по форме, вторая часть неясна только по форме. Нельзя ли читать это место по-другому?

На прориси и на фотографии буква, идущая после *л* в *ожапочиши* и читаемая в издании как *о*, имеет сверху усики. На фотографии эти усики приблизительно вдвое больше, чем на прориси. Между тем в других начертаниях буквы *о* таких усиков не имеется. Еще более важное значение имеет то обстоятельство, что усики эти писаны отдельным приемом и не являются продолжением встречающихся сверху овалов буквы *о*, как это показано на прориси. На этом основании мы полагаем, что в данном написании следует видеть букву *у* (эта буква вообще не имеет в грамоте одного устойчивого начертания). Если первую часть интересующего нас места прочитать как *ожалучиши*, то, естественно, возникнет желание разделить ее на два слова: *ожа* и *лучиши*. Второе из этих слов не требует дополнительных разъяснений. Что касается первого, то оно может быть диалектной формой древнерусского *оже*, если только после *ж* написана здесь буква *а*, хотя в грамоте эта буква пишется иначе. На фотографии здесь получилась буква, похожая скорее на *ъ*. Если эта буква и на самом деле является *ъ*, то тогда это слово следует читать как *оже*: *ъ* вместо *е* написан и ниже в слове *възи*.

Чтение указанного места как *оже лучиши* заставляет следующее за ним слово читать как *коровъа* (родительный падеж от собирательного «коровье»), в связи с чем в *а* перед словом «едеши» приходится видеть не союз, а окончание. Ср. севернорусское «коровье» (быв. Онежский уезд, Благовещенская волость) («Мат-лы для изуч. великор. гов.», стр. 5).

Сочетание *оже лучиши коровъа* представляет собою вторую часть сравнительной конструкции. В предшествующем контексте предполагается наличие первой части сравнения. Поэтому место, предшествующее *оже* и читаемое в издании — *да молови ему*, предлагаем читать: *дамо лови ему*, т. е. «дам ловы ему». Буква *о* вместо *ъ* пишется и в некоторых других берестяных грамотах, помещенных в книге. Что касается формы *лови* вместо *ловы*, то употребление в винительном падеже множественного числа форм, сходных с именительным падежом того же числа, в древнерусских грамотах исследователями отмечалось¹². Итак, вторую половину второй

¹² См., например, труд В. И. Борковского «Синтаксис древнерусских грамот (Простое предложение)», изд. Львов. ун-та, 1949, стр. 371.

строки и начало третьей предлагается читать так: «(Я) дам ловы ему, что лучше коровья».

Необходимо остановиться еще на слове *ловы*. В каком значении употреблено здесь это слово? Под *ловами* в приведенном контексте можно понимать и «уловы рыбы» (ср. архангельское: «ловы — уловъ»; «Ловы нонъ как слѣдует, рыбки море уродило». Подвысоц., стр. 83), и «места ловли» (рыбы, зверей). Против второго понимания слова *ловы* могут быть сделаны возражения. Могут указать на то, что в новгородской письменности места ловли называются обыкновенно *ловищами*. Это, конечно, верно. Однако отсюда не следует, что в жи в ой новгородской речи не было в употреблении формы *ловы*. На возможность существования такой формы у новгородцев указывает наличие ее в западной письменности. Например, в «Старинных описях литовской метрики» читаем: «Декрет тивуну Виленскому... о пушчу и ловы въ Себранехъ». Или: «Декрет... о ловы зверынные и гоны бобровые во Друцьку...»¹³ Ср. также в «Писцовой книге Пинского и Клецкого княжеств»: «Thamsze przy thym syelye Glynny drzewa barthnego, jazow, hathow, rzek, bloth y wsselyakych r y b n y c h l o w o w...». Или: «...w rzekach r y b n y c h l o w o w...» (разрядка моя. — В. Ч.)¹⁴

Отметим, что о случаях обмена земельных угодий, в частности — рыбных ловищ, на крупных домашних животных известно и из других древнерусских грамот. Например, в одной северной грамоте 1498 г. (купчей) говорится о том, что «Юрье Филиповъ сынъ» купил у «Ондрѣя Микиорова сына» различные земельные угодья, среди которых названы и «ловища воды». «Даль Юрье на той земли к о н ъ» (Чаев, стр. 164; разрядка моя. — В. Ч.).

Иначе, нежели предлагается в издании, могут быть прочитаны и некоторые надписи на предметах. Например, надпись на деревянной колодке (№ 8) принято читать как *мнези*. По мнению А. В. Арциховского, «надпись является именем или прозвищем заказчицы» (стр. 48). Возможность такого чтения, конечно, не исключена, однако вряд ли древнерусский сапожник для каждой заказчицы делал особую колодку, да еще вырезал на ней имя этой заказчицы. И в лингвистическом отношении такое чтение не очень убедительно: неясно, как понимать это имя или прозвище? Не следует ли читать надпись по-другому?

Обращает на себя внимание размер и положение буквы «зело» в надписи. (В прориси, как уже упомянуто выше, вместо этой буквы ошибочно написана буква «земля».) Буква «зело» в надписи почти вдвое больше других букв, а кроме того, от предшествующих ей букв, как и от следующего за ней конечного *и*, она отделена гораздо значительнее, нежели отделены друг от друга буквы, предшествующие букве «зело». Это позволяет предположить, что буквой «зело» здесь обозначен не отдельный звук, а самостоятельное слово — цифра 6, в связи с чем всю надпись можно было бы читать так: *м(е)не 6-и*, т. е. «меньше шести» таких-то единиц меры. Надпись могла иметь, следовательно, профессиональное значение и указывать на размер обуви, которая изготовлялась по этой колодке¹⁵.

¹³ «Старинные описи Литовской метрики», в кн. «Летопись занятий Археографической комиссии. 1888—1894 годы», вып. XI, СПб., 1903, отдел II, стр. 47 и 64.

¹⁴ «Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная пинским старостой Станиславом Хвальчевским в 1552—1555 гг.», Вильна, изд. Виленской археографической комиссии, 1884, стр. 309 и 284.

¹⁵ Р. Я к о б с о н в указанной выше статье предлагает читать надпись как *Мнени* (сапоги), ссылаясь на древнечешское *Мнен* из *мън* «меньший» (стр. 351). Однако это чтение не может быть принято потому, что четвертая буква в надписи не неизвестна, как полагает автор статьи (в статье вместо этой буквы поставлена точка: *мне.и*), а читается как буква «зело».

6

Некоторые места берестяных документов читаются в издании предположительно. Например, о начале строки четвертой в грамоте № 2 в комментарии говорится: «В тексте четко читается *игугмор*; здесь можно предположить испорченное место, может быть непонятное название или личное имя...; при этом следует иметь в виду, что конечное *о* могло быть поставлено, как и далее, вместо *ъ*» (стр. 22). В тексте записи с разделением на слова, т. е. в последнем чтении, это место приводится в таком виде: «Игугмор на Волоки куница» (стр. 25). С таким чтением, предлагаемым М. Н. Тихомировым, в основном, нельзя не согласиться. Мы предложили бы только на *Волоки* читать как одно слово — *наволоки* (местный падеж от слова «наволок»), а в сочетании *Игугмор наволоки* видеть, в свою очередь, одно сложное слово — топонимическое название *Игугмор-наволоки* (местный падеж от «Игугмор-наволок»). Дело в том, что в прошлом на территории нынешней Карелии и соседних с нею областей топонимические названия со второй частью *наволок* применялись очень широко. Ср., например: Кузнаволок, XV в. («Гр. Вел. Новг.», стр. 300); Уг-наволок, Пергь-наволок, XVI в. («Арх. Стр.», I, стр. 479); «в деревни Ваче-Наволоки», 1663 г. («Кар. в XVII в.», стр. 155); «на Мусть-наволоке», 1660 г. (там же, стр. 142); «в деревни в Корб-Наволоки», 1694 г. (там же, стр. 348); «дорога... на Свят-наволок», 1664 г. (там же, стр. 173).

Большое количество подобных названий представлено и на современной этнографической карте Карелии и областей, смежных с нею. Среди этих названий находим: Кузнаволок, Святнаволоцкий (сельсовет). Здесь имеется и название, в фонетическом отношении более или менее близкое к интересующему нас слову — *Гумар-наволок*¹⁶.

Что касается первой части названия Игугмор-наволок, то она представляет собою личное имя. Такие имена, на *-мор*, в Новгородской земле употреблялись. Например, в писцовых книгах Бежецкой пятины встречается отчество Игоморов («...сь Останею с -Ывановымъ сыномъ Игоморова...» — «Писц. кн.», т. VI, стр. 40, ср. также на стр. 295), образование которого от личного имени Игомор не может вызывать никаких сомнений.

7

В публикуемых в издании документах имеются такие места, которые оставлены без объяснений. Например, по поводу совершенно несомненного в отношении буквенного состава места в грамоте № 2 — *сохгдаль* — в комментарии говорится: «Слова у *Фоме сохгдаль* остаются без объяснения, хотя слово *сога* в различных его значениях известно с давнего времени» (стр. 24). При чтении указанного места, как нам представляется, должны быть приняты во внимание следующие особенности этого документа. В нем, во-первых, имеется большое количество таких личных имен, которые указывают на нерусское происхождение их носителей: Аекуевъ, Вельязъ, Воземутъ, Вихтимасъ, Вѣлютъ, Вѣлютовы, Лопинковъ и, может быть, некоторые другие. Эти имена указывают на то, что документ, о котором идет речь, относится к территории с нерусским населением. Следует отметить, что носителями и русских имен, встречающихся в этой грамоте, могли быть нерусские люди. Например, Фомой (имя, употребленное в грамоте дважды) мог называться и «чуждин»; ср.: «Яхно Чюдинъ Фомкинъ сынъ... 1500 г.» (Туп., стр. 487). Вторая особенность этой грамоты состоит в том, что в ней содержатся ошибки, не совсем обычные для

¹⁶ См. Д. А. Золотарев, Этнический состав населения сев.-зап. области Карельской АССР, Л, Изд-во АН СССР, 1927 (на обл.: 1926), Приложение.

русского писца: *ѡ. куница* вместо «куницы», *росомуха* вместо «росомаха» или «росомака» (как писали в документах XVI—XVII вв.), *воликомо* вместо «великом». Третьей особенностью грамоты является наличие в ней темных мест, хотя буквенный состав этих мест можно разобрать отлично. Одним из таких темных мест является и приведенное выше *сохудаль*. Названные выше обстоятельства заставляют думать, что грамота не только относится к территории с нерусским населением, но и писана нерусским писцом, может быть «чудином». Этому предположению нисколько не противоречит указание М. Н. Тихомирова на то, что «характер написания букв не имеет никакой связи с письменными документами на латинском языке, относящимися к XIV—XV вв.» (стр. 22). Положительные же наблюдения исследователя («Близких аналогий в русской письменности XIV—XV вв. начерки записи не имеют») скорее подтверждают указанное предположение, нежели противоречат ему.

В связи с сделанным предположением темное место *сохудаль* представляется возможным понимать как нерусскую передачу употребительного в языке русской канцелярской письменности, в частности — новгородской (см., например, «Писц. кн.», т. III, стр. 15), слова *охудаль*. Ср. также в письменности более поздней: «собраны денги с охудалых с 50-ти з дворов» (XVII в.). Предложенное понимание написания *сохудаль* хорошо согласуется с содержанием грамоты. В грамоте (в первой ее половине) плательщики перечисляются в нисходящем порядке в зависимости от размера уплаченного ими дара: вначале названо лицо, внесшее наибольший дар — белую росомаху, далее идет лицо, дар которого составляют три куницы, далее названо лицо, внесшее две куницы, и только на четвертом месте идет речь о Фоме (втором в грамоте), который внес дара всего одну куницу, причем дается объяснение, почему он внес меньше лиц, перечисленных до него: потому что «охудал» или «захудал», т. е. разорился.

Из надписей без объяснений оставлена надпись № 9 (на чаше). Она состоит из одного слова *смова* и читается по фотографии прекрасно. В этом написании можно видеть сокращенное на одну букву (вследствие того, что писец не рассчитал места — см. фотографию) новгородское слово *смола*, т. е. переговоры о мире, согласии. Ср. в Новгородской летописи: «В лѣто 6871. Приихаша послове нѣмечкыи, юрьевскыи и велневидскыи в Новѣгород на с м о л у с о плесковици...» (стр. 368). Слово это в виде *змова* известно в тех же приблизительно значениях в украинском языке: «уговор», «заговор»¹⁷. В значениях «сѣмиреніе», «мир» оно приводится в «Синониме славеноросской»¹⁸. Слово с указанным значением — «разговор о мире, согласии» как нельзя лучше подходило бы для надписи на чаше.

8

Несколько данных к лингвистическому комментарию. В книге «почти к каждому издаваемому документу сделаны необходимые пояснения, которые должны облегчить его понимание» (стр. 15). В этих пояснениях сообщаются очень ценные сведения исторического характера, иногда делаются и указания, относящиеся к орфографии и языку памятников.

Исчерпывающий лингвистический комментарий к грамотам будет возможен, конечно, тогда, когда они будут изучены и в текстологическом, и в лингвистическом отношениях. Такой комментарий — дело будущего. При-

¹⁷ См. Б. Д. Гринченко, Словарь украинского языка, Гос. изд-во Украины, 1925, стр. 703.

¹⁸ См. П. Житецкий, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке, Киев, 1889, Приложение, стр. 31.

ведем некоторые данные, которые для этого комментария могут оказаться не лишними.

В грамоте № 2, как уже отмечалось выше, имеется значительное количество личных имен. О происхождении ряда из этих имен были сделаны запросы в академические учреждения Эстонии и Карелии. Ответы на эти запросы приводятся в комментарии (стр. 24). Некоторые имена из этого списка могут быть разъяснены — как лингвистические образования — и на материале памятников истории русского языка. К числу таких имен относятся, в частности: Лопинков(ъ), Вѣльют(ъ) (с прозвищем по отцу — Вѣльютовы) и Гостило.

Остановимся на каждом из этих имен.

Первое из них — Лопинков(ъ) — представляет собою прозвание по отцу. В XVII в. от той же основы возможно было образование Л о п и н ц о в (ъ): «И подьячему Михаилу, приехав в Лопские погосты... того торгового человека Омелку Лопинцова с товарищи... с понятыми людьми поимать...» («Кар. в XVII в.», стр. 304). Употребительны были прозвания по отцу, образованные и от других имен с тем же корнем. Например: «Ивашко Л о п а к о в ъ, [новгородский] крестьянинъ, 1495 г.», «Федко Л о п а ч е в ъ, [новгородский] крестьянинъ, 1495 г.» (Туп., стр. 683). Ср. «Л о п а к ъ Карповъ, [новгородский] помещик... 1539 г.» (там же, стр. 287). Или: «Андрей Л о п а р е в ъ, [вологодский] подьячий, 1691 г.» (там же, стр. 683). Или: Л о п ы р е в (ъ) («Лопыревскою перегородою на вымолк двема полем Лопыревского села», 1506—1507 гг. «Акты феод. земл.», стр. 60). Ср. «Л о п ы р ъ, холоп, XV в.» (Туп., стр. 287).

Корневая морфема *лоп-* выделяется во всех этих образованиях без затруднений. Она — та же самая, что и в древнем топонимическом названии — *Лопь*: «участок на Лопи промежи корильскими дѣтми». Или: «И се даша Климъ... на Лопъ землю и воду и полѣшей лес...» (из грамот XV в.). Прозвания, подобные прозванию Лопинковъ, образовывались и от названий других народов; ср. Чудь — Чудин — Чудинко — Чудинков — Чудинцев¹⁹).

Второе из указанных выше имен — Вѣльют(ъ), по мнению М. Н. Тихомирова (см. стр. 23), «близко соответствует» имени Вильяд Федков в новгородских писцовых книгах. Хотя имена эти, как показывают их написания, довольно сильно отличаются друг от друга, тем не менее предложенное сопоставление, повидимому, правильно. Приведем некоторые данные из памятников письменности, подтверждающие правильность этого сопоставления.

Одна из особенностей новгородской орфографии XIII—XV вв. состояла в том, что в употреблении смешивались буквы *е* и *н*²⁰. В связи с этим имя Вѣльют(ъ) грамоты № 2 (она датируется по палеографическим приметам концом XIV — началом XV в.) не может быть рассматриваемо в отрыве от ряда имен с основой *Вель-*, например:

В е л ь - я ш (ъ): «...Вощие пятины Корельские половины губному старосте Борису Вельяшеву», 1602 г. («Кар. в XVII в.», стр. 16); «Казаринка Вельяшев... 1602 г.» (Туп., стр. 242).

В е л ь - ю ш ъ, XIV—XV вв.²¹

¹⁹ Ср. названия: деревня Чудинкова, пустошь Чудинцево («Акты соц.-эк. ист.», стр. 116, 154).

²⁰ См. об этом: А. Шахматов, Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века, СПб., 1886; В. В. Виноградов, Исследования в области фонетики севернорусского наречия, вып. 1 («Известия Отд-ния рус. языка и словесности АН», т. XXIV, Пг., кн. 1 — 1922, кн. 2 — 1923).

²¹ А. Дювернуа, Материалы для словаря древнерусского языка, М., 1894, стр. 12.

В е л ь - ю ш а: «...а межа от Вельюшинъ земли...», серед. XV в. («Гр. Вел. Новг.», стр. 210).

В е л ь - я к (ъ): «Да старюю межою долом... налевъ земля Можайская д(е)р(е)вни Вел(ъ)якова...», 1504 г. («Дух. и дог. гр.», стр. 398); «да половину земли Вельяковские», 1455—1466 гг. («Акты соц.-эк. ист.», стр. 197).

В е л ь - я д [ъ]: «А с Вел(ъ)ядова 11 овчин...», 1-я пол. XV в. («Акты соц.-эк. ист.», стр. 157); «Вел(ъ)ядовской Ивашко», послух в Бежецком Верхе, 1480—1481 гг. (там же, стр. 369).

В е л ь - я н ь: «...в кельи понамарь старецъ Вельянь...»²².

Образования с *Вьль-* // *Вель-*, в свою очередь, нельзя не сопоставить с образованиями от основы *Виль-*. Основанием для этого является, во-первых, то, что в новгородских грамотах XIII—XIV вв. по наблюдениям А. А. Шахматова «кроме чередования букв *е* и *и*... замечается чередование букв *и* и *и*», хотя только в названиях местностей²³. В настоящей заметке речь идет об именах личных, а также о топонимических названиях, образованных от этих имен, т. е. о материале или тождественном с тем, о котором говорит А. А. Шахматов, или близком к нему. С другой стороны, имеются данные, указывающие на возможность написания *Вель-* и *Виль-* даже в именовании одного и того же лица. Например, в грамотах 1627 г. (правда, московского происхождения) пишется: «старосты Дружины Вельяшева» и «на Дружинино мѣсто Вильяшева» («Арх. Стр.», II, стр. 703, 698, 706 и др.).

Весьма возможно, что указанными выше обстоятельствами объясняются и различия между следующими именами (= написаниями):

В е л ь я к (ъ) (приведено выше) и В и л ь я к ь: «Вильякъ Лентиевъ, крестьянинъ Каргальского погоста, 1500 г.»; «Вильякъ Грихновъ, крестьянинъ Каргальского погоста, 1500 г.». Ср. также образование с другим суффиксом: «Вильяка Сидоровъ... 1500 г.» (Туп., стр. 142).

В е л ь я н ь (приведено выше) и В и л ь я н (ъ): «Гришка Вильяновъ, Тобольск. служил. человекъ (Литовск. строя), 1685 г.» (Туп., стр. 559).

В е л ь я д (ъ) (приведено выше) и В и л ь я д (ъ) (а может быть, и В и л ь я т (ъ)): «Вильяд Федков»²⁴. Ср. также Вилятово (Вильятово?) Чухче-немской волости Двинского уезда²⁵.

Отметим также два имени, встретившиеся нам только с основой *Виль-*: «Вильячъ Ильинъ, крестьянинъ Каргальского погоста, 1500 г.» (Туп., стр. 142) и Вильют(ъ); ср.: «...лоскуть земли орамои на Вильютови...», втор. пол. XV в. («Гр. Вел. Новг.», стр. 249)²⁶.

Приведенный материал свидетельствует, по нашему мнению, о том, что имена Вѣльют(ъ) и Вильяд(ъ) образованы от одной основы, различия же между написаниями основ этих имен объясняются особенностями новгородской орфографии. Если это предположение правильно, то нетрудно

²² В. В. Майков, Книга писцовая по Новгороду Великому конца XVI в., СПб., 1911, стр. 109.

²³ А. Шахматов, указ. соч., стр. 224. Вопрос об употреблении букв *и* и *и*, а также *е* и *и* (см. текст статьи дальше), как и вопрос о фонетическом значении этих написаний в новгородской письменности, подробно рассматривается в указанном выше труде В. В. Виноградова.

²⁴ А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров, Новгородские грамоты на бересте, стр. 23.

²⁵ См. «Описание актов, хранящихся в Археографической комиссии АН СССР» [с предисл. и под ред. А. И. Андреева], в кн. «Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 годы», вып. XXXV, Л., Изд-во АН СССР, 1929, стр. 237.

²⁶ Вопрос о фонетических явлениях, отражающихся в написаниях *Вель-*, *Виль-*, оставляем без рассмотрения (см. сноску № 23).

понять и различия, относящиеся к элементам *-юѣ* и *-яѣ* сопоставляемых имен. Элементы эти выступали в интересующих нас именах в значении суффиксов, чередовавшихся с другими суффиксами: *-яшѣ*, *-юшѣ*, *-ячѣ*, *-ячѣ*. Таким образом, сопоставление имен Вѣльют(ъ) и Вильяд(ъ) в лингвистическом отношении представляется правомерным.

Приведенный материал показывает также, что имена с основой *Вѣль-* // *Вель-* // *Виль-* имели в Новгородской земле широкое распространение. Они были областными новгородскими именами, как и образования от основы *Лоп-*: *Лопинков(ъ)* и др. Это и понятно, если принять во внимание, что имена эти связаны своим происхождением с названием соседнего с новгородцами народа, называемого в летописи *вельядцы* или *вельязжане*, а также с рядом топонимических названий, заключающих ту же основу; ср., например, название городов *Вельяд* (Феллин), *Велье* (в Псковской земле), название реки — *Велия* и др. Некоторые из приведенных выше личных имен полностью совпадают с топонимическими названиями или производными от них, употреблявшимися в нарицательном значении: ср. личное имя Вельяд(ъ) и название города *Вельяд*; ср. личное имя Вельянъ и название жителей города *Вельи* — *вельяне* [«...а самих мужии велиянь посѣчению мечному предати» (Пск. лет., стр. 31)].

9

Об имени Гостило (-а). В грамоте № 2 это имя употреблено в родительном падеже: у Гостили. В такой же форме оно представлено в грамоте ок. 1452 г.: «...у посла у Колываньского у Ивана и у Гостили два рубля...» («Грам. Вел. Новг.», стр. 127). Именительный падеж к этой форме — Гостила. В грамоте 1421 г. так именуется «кумендѣрь велиядѣчкыи»: Гостила, Гостѣла (там же, стр. 99—100). Были и другие имена с именительным на -а и родительным на -и. В грамоте № 2 к числу таких имен относится Жидила («у Жидили»). В упомянутой грамоте 1452 г. — Михаила («от... Михаили»). Ср. также: «Мѣхаила Юрьевичъ», «Михаила Ольфромѣвичъ», серед. XV в. (там же, стр. 99, 188). На соотносительность форм именительный падеж на -а // родительный на -и ясно указывают, между прочим, такие случаи их употребления: одна из новгородских грамот середины XV в. начинается словами: «Се куши игумень Василии у Гаврили...», а кончается: «А у печати стоялъ Гаврила» (там же, стр. 204). Речь здесь идет об одном и том же лице.

Наряду с формами на -а новгородцы употребляли и формы на -о: Михаила и Михайло, Дрочила и Дрочило, Твердила и Твердило, Гостила и Гостило. В Новгородской летописи (а также и других, например в Типографской, в Московском летописном своде) вельядский командор именуется Гостило²⁷.

Имя Гостило было одним из общеславянских имен. Оно было известно в Новгороде: в комментарии к грамоте № 2 М. Н. Тихомиров указывает, что уменьшительным от этого имени — Гостилец — в Новгородской летописи назван один из новгородцев. Это имя рано отразилось в новгородской топонимике: «Гостилово в Юрьевичах» — название деревни в грамоте 1610 г. («Арх. Стр.», II, стр. 185). Данные словаря Тупикова показывают, что оно употреблялось и в других западных областях, где жили восточные славяне. Вот несколько имен, извлеченных из западнорусских документов: «Гостило, крестьянинъ Хмельницкий, 1565 г.» (стр. 173); «Кондрать Гостиловичъ, полоцкий ратманъ, 1478 г.» (стр. 579); «Опанасъ

²⁷ О личных именах на -а и на -о см. в упоминавшемся труде А. А. Шахматова, стр. 204.

Гостиловичъ, крестьянинъ, 1585 г.» (там же). Имя Гостило употреблялось и у других славянских народов, например у сербов; ср.: «*gostilo, gostil*»²⁸.

С лингвистической точки зрения происхождение имени Гостило также не может вызывать сомнений. Оно образовано от общеславянской глагольной основы на *-и*: *гости-ти* при помощи суффикса *-ло*. Так же образованы имена: Дрочи-ло, Тверди-ло, Суди-ло, Томи-ло. Подобные имена производились и от других глагольных основ; ср.: Мазало от *мазать*, Нарывало от *на-рывать* и др. Такие существительные обычные и в современном русском языке, особенно в диалектах. Они употребляются обыкновенно в разговорной экспрессивной речи. К ним принадлежит, в частности: *зубрила, -о; чудила, -о; завирала, -о; объедала, -о*. И в XX в. подобные образования в диалектах становились прозвищами людей. Например, в череповецких говорах еще не так давно существовали такие прозвища: Лепило, Сочи-ло, Тюкалко (от Тюкало), Шаталко (от Шатало)²⁹. Не случайно, вероятно, также и то обстоятельство, что такие образования часто возникают, по крайней мере в диалектной речи, во время разговора с детьми. Так, в области севернорусских говоров мне приходилось слышать: «Эх ты, ходило!» — по отношению к ребенку, который пошел и шлепнулся. Или: «Читало какой!» — говорит сестра маленькому брату, который водит пальчиками по страницам книжки. Или: «Блудило» — говорит с раздражением мать ребенку, опрокинувшему кринку с молоком. Подобно тому, как в начале XX в. такие существительные-оценки становились прозвищами людей, так в древнерусскую эпоху подобные существительные могли становиться именами личными. От имен с глагольными основами на *-и* еще в древнюю эпоху был отвлечен суффикс *-ило*, при помощи которого стали образовывать личные имена от разных слов, в частности от прилагательных и существительных: Добрило, Шумило, Шипило, Петрило. Имена на *-ло* и *-ило*, если они были соотносительными с такими, как Доброслав, Твердислав и подобные, были, как мне кажется, не столько уменьшительными по отношению к последним, сколько бытовыми, обиходными³⁰.

То обстоятельство, что именем Гостило называется в исторических документах какое-то второе лицо после колыванского посла Ивана (см. цитату, приведенную на стр. 90), а также то, что этим именем называется вельядский командор, не может служить достаточным основанием для сомнений в русском (славянском) происхождении этого имени. Дело в том, что о народности лица, названного рядом с колыванским послом, мы ничего не знаем. Что касается вельядского командора, то, конечно, нет оснований думать, что он был восточным славянином. Однако так ли назывался этот командор в действительности, т. е. у себя дома, в Эстонии? И. А. Голубцов в «Указателе личных имен» к 25 т. «Полного собрания русских летописей» на стр. 408 приводит в скобках и другое наименование этого командора — Г о с в и н. Не является ли летописное имя этого командора — Гостило — результатом так называемой народной этимологии? О русском происхождении имени Гостило свидетельствует и отказ А. Каска разъяснить это имя на материале эстонского языка (см. стр. 24).

²⁸ F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, в кн. «Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen» («Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher», III, 5), Heidelberg, 1927, стр. 7.

²⁹ См. М. Р. Герасимов, Словарь уездного череповецкого говора, «Сборник Отд-ния рус. языка и словесности Имп. Акад. наук», т. 87, № 3, СПб., 1910, стр. 54, 85, 88, 96.

³⁰ Об именах на *-ло* см. статью А. И. Соболевского «Из истории уменьшительных слов», сб. «Лингвистические и археологические наблюдения», вып. II. Варшава, 1912, стр. 1—3.

О датировке берестяных грамот. Берестяные грамоты датируются авторами книги по данным археологии и палеографии. В отношении большинства грамот мнения авторов согласуются вполне: грамота № 9 датируется XI в., грамоты №№ 7 и 8 — XII в., грамота № 6 — XIII в., грамоты №№ 3 и 4 — XIV в. В датировке остальных грамот имеются некоторые расхождения:

	По данным археологии	По данным палеографии
Грамота № 1	XIV в. (стр. 60)	начало XV в. (стр. 18)
» № 2	XIV в. (стр. 61)	конец XIV — начало XV в. (стр. 22)
» № 5	конец XIII — начало XIV в. (стр. 61)	1-я пол. XIV в. (стр. 32)
» № 10	XIV — начало XV в. (стр. 61)	XV в. (стр. 43)

Весьма вероятно, что в отношении многих грамот показания орфографии и языка подтвердят даты, устанавливаемые по археологическим и палеографическим приметам, однако в отношении некоторых грамот эти показания могут и не совпасть. Например, грамота № 9 датируется в издании XI в., но если принять предлагаемое М. Н. Тихомировым чтение в ней места *изби* как и *сбил*, то вряд ли эту грамоту можно будет датировать XI в., так как в слове *зби* в таком случае придется видеть результаты изменений, происходивших после утраты редуцированных. Грамота № 8 датируется в издании XII в., между тем в ней имеется слово (если, разумеется, следовать принятому в издании чтению) со вторым полногласием, хотя бы и нефонетического происхождения, — *молови*³¹. В «Очерке древнейшего периода истории русского языка» А. А. Шахматова, где имеется лучшее собрание извлеченных из памятников письменности примеров, отражающих второе полногласие (§ 424), нет примеров старше XIII в.³² Среди имеющихся в этом труде примеров есть и слово с тем же корнем: «безмолвия (Новг. прол., 1262 г.)». Таким образом, на основании языковых данных эта грамота не может быть датирована XII в. Она относится ко времени более позднему. Конечно, можно высказать предположение, что второе полногласие существовало уже в XII в. Однако это должно быть доказано при помощи данных датированных памятников или таких памятников, время написания которых не может вызывать сомнений. Из сказанного следует, что одна из неотложных задач лингвистического изучения берестяных грамот состоит в том, чтобы выяснить отношение отраженных в них языковых явлений, во-первых, к принятой историками русского языка хронологии соответствующих явлений, во-вторых, к тем историческим датам, которые устанавливаются для памятников берестяной письменности по данным археологии и палеографии.

*

На этом мы закончим наши заметки. В заключение пожелаем советским археологам еще большего успеха в открытии новых источников истории русского народа и его языка, а авторам книги, которой посвящены эти заметки, полного успеха в их труде над научным изданием грамот на бересте, найденных в 1952 и 1953 годах.

³¹ Это место грамоты № 8, как уже говорилось выше, можно читать и по-другому.

³² См. А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка («Энциклопедия славянской филологии», вып. 11, 1), Пг., 1915, стр. 276—279.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

КАРЕЛ ЯНАЧЕК

ЧТО МЫ ЗНАЕМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБ ЭТРУССКОМ ЯЗЫКЕ?*

(Перевод с чешского Н. А. Кондрашова)

Этот информационный и не претендующий на полноту обзор связан с моей одноименной статьей [помещенной в журн. «Listy filologické (LF)», 62, 1935, стр. 1—13]. Из обобщающих работ, опубликованных с тех пор, особенно следует отметить: Pericle Ducati, *Le problème étrusque*, Paris, 1938; Massimo Pallottino, *Etruscologia*, Milano, 1947²; его же, *Elementi di lingua etrusca*, Firenze, 1936; Marcel Renard, *Initiation à l'étruscologie*, Bruxelles, 1943. Все эти работы содержат обширную библиографию. Научное изучение этрусского языка лучше всего отражено в многочисленных объемистых томах «Studi Etruschi» (=SE, с 1927 г.), которое издает Istituto di Studi Etruschi во Флоренции; наряду с этим изданием важные статьи содержатся в «Glotta» (=Gl). До сих пор, однако, не превзойдена капитальная, хотя и устаревшая работа: Müller-Deecke, *Die Etrusker*, 1877²; отсутствует также этрусский словарь, а в «Corpus Inscriptionum Etruscarum» (=CIE) не изданы еще надписи из Кампании и долины р. По.

Свою прежнюю статью я закончил скептическим замечанием Й. Зубатого (LF, 16, 1889, стр. 325); в качестве эпиграфа к настоящей статье уместно было бы привести название главы «Etruscologie» Паллоттино: *Il mistero della lingua*, так как все этрускологи, сохранявшие трезвый образ мышления, признают, что этрусский язык не разгадан. В этом смысле высказывается и советский историк Н. А. Машкин («История древнего Рима», 1950, стр. 84—85 и 87): «Вопросы о происхождении этрусков, об этрусском языке... являются одними из самых сложных и запутанных во всей науке об античном мире... Вопросы о происхождении этрусков и об этрусском языке остаются открытыми».

Однако, если учесть объективные трудности, т. е. недостаточное количество памятников этрусского языка, и то обстоятельство, что другие языки пока не дают нам определенного ключа для расшифровки этого языка, можно утверждать, что скромные результаты этрускологического изучения, достигнутые путем применения положительного научного метода, все же являются оптимальными. При этом нельзя принимать в расчет как незрелые марксистские комбинации, так и лелый ряд фантастических толкований западных авторов.

Если мы сравним «Lingua etrusca» Тромбетти (1928 г.) с «Elementi» Паллоттино (1936 г.), то увидим, что ученик целиком освободился от романтического и не научного объяснения этрусских фактов посредством привлечения данных других языков. Поэтому в настоящее время нам известно, очевидно, меньше, но наши знания более основательны. Ту же эволюцию претерпели, например, и взгляды Буонамичи, наиболее крупного знатока этрусской эпиграфики; в молодости он выполнял переводы с этрусского, а ныне, как некогда и Даниельсон, прокладывает (в особенности образцовым изданием в SE новых находок) дорогу тем, которые будут разрешать этрусскую проблему в более выгодных условиях. До сих пор все еще тлеет надежда, к сожалению, не оправданная еще раскопками, что будет найдена большая по объему этрусско-латинская билингва или хотя бы этрусский текст, который вызвал бы новые комбинации и дал возможность оценить прежние.

* См. Karel Janáček, *Co víme dnes o etruštině?* «Listy filologické», R. I (LXXVI), Praha, 1953, č. 2, стр. 199—209.

Редакция помещает информационную заметку К. Яначека, поскольку она содержит богатый материал, характеризующий современное состояние изучения этрусского языка. Однако необходимо иметь в виду, что скептические взгляды автора относительно результатов сравнительно-исторического изучения этрусского языка не являются общепринятыми. — *Ред.*

На вопрос, как решать этрусскую проблему, имеется несколько ответов. При этом необходимо отличать подготовительные работы, прежде всего эпиграфические исследования, от методов в собственном смысле слова — этимологического и комбинационного, к которым добавился развитый — особенно в работах Ольши — метод параллельных текстов. Идеальным было бы совмещение всех необходимых познаний, в особенности археологических, исторических, лингвистических и филологических, в одном лице, но уже этот перечень указывает на имеющиеся трудности. При изучении языка в собственном смысле слова необходимо отрешиться от индоевропейских и других грамматических категорий; в особенности опасен перенос индоевропейских синтаксических категорий на этрусский язык.

Естественной основой всего изучения является надежный текст. И именно поэтому эпиграфист Буонамичи постоянно указывает на необходимость ревизии всего материала, чтобы с самого начала избежать ошибки в расчетах. Так, например, ошибочная интерпретация знаков $M (= s)$, $\neq (= z)$, $+$ (= свистящая, как выяснила Эва Физель в 1936 г.!) и некоторых других приводила к тому, что устанавливались несуществующие слова. Часто встречается плохое чтение знаков, хорошо известных эпиграфике; так, Буонамичи (SE, 18, 1944, 312) показал, что ранее известный знак II (= n) двух надписей нужно разделить на два: $=|i|$ и $|$ и, таким образом, читать их как *vi*. Благодаря этому получаем на обеих надписях собственное имя *vipitenes*, сходное с названием ретийского города *Vipitenum*. Одновременно свидетельства о существовании этого города, идущие до сих пор от IV в. н. э., относятся примерно на 500 лет назад. (Для суждения об образовании имен собственных от топонимических ср., например, *sentinate*, *manduate*, *frentinate*). Плохое чтение привело к ошибочной трактовке содержания так называемой *liber linteus* (= L. L.).

Гербиг в своем издании читал VII. 17 и 23 как *aruth titi* и на основании этого считал, что речь идет о так называемой книге мертвых, в которой был назван покойник. Однако применение для дешифровки инфракрасных лучей подтвердило старое чтение Кралла *ara duni*. Хотя эти слова и непонятны, но все же исследователи освободились от ошибочного мнения. И, наоборот, точное знание эпиграфики в конечном итоге позволяет дополнять в неизвестном языке неполные слова, если ясно, что речь идет об ономастических формулах. Так, известны сокращенные обозначения *praenomina*, например *C = Caē*, *L = Larθ* и др. Из нарицательных имен сокращаются, например, *clan* (= сын) в *cl*, *sech* (= дочь) в *s*, *lautni* (= вольноотпущенник) в *l* и т. д. Равным образом можно дополнять испорченные слова, если известно их место в контексте, например *θui cesu* (= здесь лежит), или восстановить местоимение *mi* перед словом *sidi* (= могила) и пр. Эпиграфическое обозрение в SE, образцово поставленное Буонамичи, является именно такой мастерской по исправлению и дополнению надписей; при этом пополняется и наше знание реалий: Буонамичи устанавливает генеалогию родов, датировку надписей, их содержание и т. п.

К проблеме о происхождении этрусского алфавита Буонамичи подходит осторожно, не предпринимая вопроса о том, заимствован ли он из кумского греческого алфавита или же этруски познакомились с греческим алфавитом еще на Востоке. Непосредственный греческий образец для этрусского алфавита еще не найден, в особенности для тройного вида шипящих (все три вида представлены в финикийском алфавите). С другой стороны, этрусский алфавит не является единым, он различается в зависимости от места и эпохи. С 1915 г., когда в *Marsiliana d' Albegna* был найден древнеэтрусский алфавит VII в. до н. э., нацарапанный на дощечке из слоновой кости, стало возможным выводить латинское письмо из этрусского, так как оказались засвидетельствованными и буквы *o*, *b*, *d*, *g*, отсутствующие в позднейших надписях.

Весьма важно изучение словораздела. Для меня, к сожалению, оказалась недоступной последняя книга Слотти «*Beiträge zur Etruskologie*» (1952). После исследований Буонамичи и особенно Феттера нам стало известно, что древнейшие тексты написаны в виде *scriptura continua*, наряду с чем иногда представлено и деление на слова, именно три точки; в более позднее время деление на слова передается обычно двоеточием. Кроме того, некоторые тексты содержат и указания на слогораздел, систему которого установил Феттер (Gl., 24, 1936, стр. 114—133 и 27, 1939, стр. 157—178): нормальные слоги, оканчивающиеся гласным, не отмечаются; обозначены, однако, гласные, начинающие слово, и согласные, которые заканчивают слог; ср. *a-cvīl-naš*, *a-caš-ri* (при этом значки могут быть различными, а не только под знаками). Феттер весьма правдоподобно истолковывает это деление как свидетельство того, что этруски до принятия буквенного письма пользовались письмом слоговым (как, например, кипрское) и отдельно обозначали неполные слоги (как это представлено, например, в древнеиндусском алфавите). Положение у этрусов в историческую эпоху было таково, что слоговое письмо было сведено к слогоразделу.

В своей последней статье (SE, 16, 1943, стр. 344 и сл.) Буонамичи высказывает мнение о влиянии эгейско-критского письма и гипотетически связывает этрусский алфавит даже с Эламом и Индией. Взгляд Феттера на первоначальный слоговой характер этрусского письма поддерживает Вл. Георгиев в статье «Происхождение алфавита»

(«Вопросы языкознания», 1952, № 6, стр. 48—83), утверждая, что финикийское, греческое и этрусское письмо возникли независимо друг от друга непосредственно из минойского слогового письма.

В связи с возобновившимся интересом к эпиграфике большое внимание уделяется новому изданию уже известных памятников; так, в СІЕ в 1936 г. были напечатаны важные надписи из Тарквиний (стараниями Даниельсона, Зиттига и Ногаро). Норрио Буффа в 1935 г. издал большой сборник надписей (до сих пор вообще не опубликованных или опубликованных только в журналах): «Nuova raccolta di iscrizioni etrusche». Наибольшим издательским предприятием, однако, является третье издание самого большого этрусского памятника¹: Runes-Cortsen, Der etruskische Text der Agamem Mumienbinde (Göttingen, 1935). Старое издание Гербига исправлено здесь почти в 340 местах.

Общее количество этрусских надписей, отмеченное Дееком в 1877 г. цифрой 5000, увеличилось, согласно моей информации, в 1935 г. до 9000, а в 1947 г. Паллоттино приводил цифру 10 000. Наряду с находками имеем и утраты; ряд надписей пропал без вести, другие уничтожены атмосферными осадками в склепах, наконец, о некоторых надписях стало известно, что они являются подделками.

Много труда было затрачено (прежде всего, Буонамичи в его основополагающей работе «Epigrafia etrusca», Флоренция, 1932) на хронологическое и топографическое приурочение надписей. Точно датированные памятники служат основой при определении хронологии последующих. Критерии давности устанавливаются, с одной стороны, по данным истории (так, надписи в Вейях не могут быть датированы ранее 396 г., надпись из Капуи не могла возникнуть после падения этрусского царства в конце V в.), с другой стороны, по археологическим данным (здесь особенно помогают «стилевой» анализ и сопоставление с греческими предметами, которые были импортированы или служили образцом для подражания, а также находки монет в могилах и т. д.). Тщательный анализ знаков и форм письма, разделения слов, языка ведет также к положительным результатам, даже в том случае, если устанавливаем обычно относительную, а не абсолютную датировку памятника.

Поскольку основная масса надписей найдена на юге и востоке Этрурии, то можно установить и местные их особенности. Отметим лишь одно различие в ономастике. Обычная четырехчленная формула (praenomen, gentile, genitivus praenominis отца и gentile матери) не встречается в Орвете, где преобладает архаическая двучленная формула; ср. *mi mamarce velθienas* (СІЕ, 4923), *avele palearas mi* (СІЕ, 4924), в которых *mi* является местоимением, несомненно 1-го лица единственного числа, а собственно формула содержит лишь praenomen (Mamarce, Avele) и gentile. К этим формулам имеют латинские параллели типа Tullus Hostilius, Servius Tullius и др.

В конце нашего вступления следует напомнить о выдающемся труде Фр. Слотти, ныне профессора Иенского университета, который, всегда исходя из аутентичного материала, дает собственное, часто новое чтение и энциклопедически судит в монографических статьях обо всем, что можно извлечь из надписи. Укажем хотя бы его статью «Zur Frage des Mutterrechtes bei den Etruskern» (Symbolae Hrozni, V, стр. 262—285), где он доказывает, вопреки мнению прежних исследователей, что на основании ономастических формул нельзя доказать существование материнского права у этрусков. Затем следует отметить большую статью *Manim arce* (SE, 18, 1944, стр. 159—185 и 19, 1945, стр. 177—247), в которой он римские имена *manes*, (*lapis*) *manalis* и др. выводит из этрусского языка.

Если мы обратимся к методам в собственном смысле слова, то об этимологическом нет надобности распространяться; каждый, кто им пользуется и не привлекает при этом ряда соответствий, осуждает сам себя на неудачу. Число заблуждающихся в последнее время пополнили венский туранист, пытающийся объяснить этрусский с помощью турецкого, мексиканский енископ, сравнивающий этрусский с баскским, и итальянский правовед, опирающийся на греческие этимологии. Всем им свойственна *dampnatio memoriae*. Совершенно иное дело признавать совпадение некоторых этрусских слов с умбрскими или латинскими, так как их можно объяснить заимствованием.

Комбинационный метод всегда оправдывает себя, хотя хорошо известны его недостатки: значение слова можно определить в большинстве случаев лишь приблизительно, если только установлена сфера значений; равным образом нельзя точно определить и грамматические категории. В связи с этим требуется большая точность при анализе: при толковании определенного слова нужно изучить все параллельные места, причем всегда следует учитывать значение или функции слов; в противном случае исследование грозит опасностью самообмана. Уточнение этого метода находим в работах Девото и Паллоттино, публикуемых большей частью в SE. Оба исследователя сосредоточивают свое внимание на словах или частях слов, которые повторяются и согласно которым можно членить текст на более или менее симметричные единицы.

¹ Имеется в виду текст на повязке мумии, хранящейся в Загребском музее. В дальнейшем обозначаем его *l. l.* (*liber linteus*).— *Ред.*

Особенно важны частицы, которые являются ценными указателями начала и конца частей предложения. Вообще нужно исходить из реального (вещественного) целого, исследовать стилистическую структуру. Функции отдельных слов вытекают из анализа целого, причем нельзя путем сочетания неизвестных функций получить полноточный текст. Речь идет, согласно Паллотино («Etruscologia», стр. 301), о том, чтобы создать некую сеть синтаксических отношений там, где в нашем распоряжении для интерпретации текста недостает как раз вещественного значения составляющих его единиц. Само собою разумеется, что при таком синтаксико-стилистическом методе нужно полностью использовать все известное о фонетике, морфологии и лексике, но методику исследования нельзя изменять.

Этот метод считается лучшим, хотя следует сознавать его ограниченность. Границы его предопределены отсутствием у нас сведений о лексической стороне этрусского языка. Дукати в 1938 г. определил, например, число вполне известных слов цифрой 50! Кто стремится из лексических отношений во что бы то ни стало создать какую-либо систему, тот может сам запутаться в этих отношениях, так как относительно немногочисленные синтаксические и бесконечно разнообразные вещественные значения, вытекающие из вполне конкретных, непредвиденных для нас ситуаций, могут обозначать нечто совершенно иное. Именно поэтому столь долго ведутся споры отдельных ученых относительно трактовки этрусских слов. Так, например, слово *aura* толкуется или как притяжательное местоимение (Феттер) или как «могила» (Кортсен). О слове *ale* «дать, дар» Ольша говорит («Interpretation der Agramer Mumienbinde», Leipzig, 1939, стр. 132), что «это редкий случай, когда этрускологи трогательно единодушны».

Отважной попыткой, беспримерной по масштабу, является упомянутая выше книга Ольши, в которой он исходит из правильного предположения, что вековое культурное сожитие на полуострове сблизило отдельные племена в такой степени, что их религиозные обряды, запечатленные в литературе, могли стать до известной степени параллельными (ясен параллелизм, например, в надмогильных этрусских и римских надписях). Так как ритуальный характер *l. l.* ясен, то Ольша сосредоточил свое внимание на анализе самого большого культового итальянского памятника, умбрийских Игувинских таблиц (*TI*), в особенности их топики, и сравнении обоих памятников. О заслугах этого автора в анализе и дополнении текста *l. l.* мы скажем ниже. Здесь следует высказать несколько критических замечаний. Путь от признания параллелизма до сходства, имеющего доказательную силу, слишком велик. Ольша то использует неопределенность исходных положений (ср. стр. 187: «с известным напряжением приходится допустить отсутствие в подобном ритуальном тексте выражений для фимиама и жертвенной муки *mola salsa*»), то он принужден, нанизывая одну гипотезу на другую, все-таки делать выводы (ср. стр. 120: «если мое допущение правильное, ...то можно думать, что...»).

Имеются два главных порока, которые следует поставить ему в упрек: во-первых, он очень преувеличил родство *TI* и *l. l.*: он забыл, что костяк *l. l.* — хотя бы в количественном отношении — составляют даты, тогда как в *TI* их нет и следа. Уже поэтому близость обоих памятников неправдоподобна! А во-вторых, Ольша не только не приводит для своих грамматических конструкций параллели и доказательств (так, например, *-treš* в значении постпозиции), но непоследователен даже в определении форм. Говоря о пассивном характере этрусского глагола, он не приводит никаких данных о формах его выражения: на стр. 165 он истолковывает *tul* как *funditur*, а *šin* как *accipiat*. То же самое *tul* на стр. 206 он переводит поперечному как *funditur* и *funde*. Не исключена возможность того, что этрусская морфология до известной степени хаотична, нарушена, однако эти колебания нужно последовательно устанавливать, а не выдвигать предположения в зависимости от хода доказательств. Поэтому ясно, что из многих требований Ольша не выполнил по меньшей мере одного, т. е. не подверг материал солидному лингвистическому анализу.

Все время предпринимаются попытки объяснения текстов. Но несмотря на эти попытки сохраняется непроходимая пропасть между уверенным объяснением ономастических формул и сомнениями при чтении больших надписей. Как только мы покидаем имена, указывающие на датировку и общественные учреждения, то оказываемся на зыбкой почве, так как исчезает важнейшая основа перевода — знание смысла. Все попытки связного перевода крупных надписей поэтому являются преждевременными, неточными и опровергают друг друга. Кортсен, во многих отношениях почтенный этрусколог, отличается больше смелостью, чем внимательным отношением к грамматическим особенностям текста. Когда исследование производится научным методом, то появляются полезные работы, которые могут быть использованы при новых находках.

Остановимся хотя бы кратко на трактовке некоторых крупных текстов. Так называемая *Piombò di Magliano* (CIE, 5237), небольшая свинцовая дощечка, содержит 68 слов, начертанных по спирали на обеих сторонах, вследствие чего ее прочтение вызвало много затруднений. Кортсен разобрал надпись в «Glotta» (27, 1939, стр. 271—276), предположив, что она содержит указания на жертвоприношения некоторым божествам, производимые над могилой в определенное время. Путеводной нитью для

него были многочисленные имена божеств, далее, известные слова, означающие даты и священный сан, а также некоторые паричательные имена.

Заново объясняет так называемую надпись Pulena (CIE, 5430, саркофаг, изображающий мужчину со свитком в руке) Феттер в «Glotta» (28, 1940, стр. 159 и сл.). По его мнению, *Pulena* был учителем прорицателей в школе в Тарквиниях. На авторство книги указывают — наряду со свитком — слова *zich neðšrac*, причем *zich* он толкует посредством билингвы как *zichu* = *Scribonius*, а *neðšrac* может быть связано со словом *netšvis* из билингвы о прорицателе, где *netšvis* соответствует первой части лат. *haruspex*. Девото (SE, 10, 1936, стр. 278) весьма правдоподобно переводит слова *tarchnalð spurenì lucairce* как «*fu lucumone nel territorio di Tarquinia*». При этом как местный падеж на -ð(i), так и значение *spur* и глагольность *lucairce* несомненны.

Другая большая этруская надпись Cippus Perusinus (CIE, 4538), состоящая из 120 слов, также была детально изучена. Согласно Феттеру, в ней идет речь об установлении границ между двумя родами (*Veltīna* и *Afuna*), по Кортсену, говорится о договоре, касающемся пользования гробницей. Содержание надписи в конце концов было предметом коллективного анализа на Settimana Etrusca во Флоренции (1936 г.) при участии лучших этрускологов, но даже при голосовании относительно отдельных слов, например при решении вопроса — имя или глагол то или иное слово, единство не было достигнуто. Препятствует чтению неясное значение таких слов, как *vachr*, *tezan*, *fušle* и др. В результате 8 голосов было подано за юридический характер надписи против 4 голосов, отстаивающих ее обрядовый характер.

Равным образом, обширная этруская надпись, так называемый Капуйский кирпич (V в. до н. э.), подверглась тщательному анализу. Надпись выполнена бустрофедоном и не имеет выдержанного деления на слова, поэтому деление здесь более затруднительно; кроме того, многие слова не представлены в других надписях. Как раз на материале этой надписи Феттер (Gl., 28, 1940, стр. 155 и сл.) развивал свою индоевропейскую теорию, например при объяснении слов *tinunus sedim*, которые им переводились как *dies septem*, хотя для «семь» имеются слова *semp* и *sezp*; далее, он видит в *puian* индоевропейский винительный падеж на -m, и т. д. И здесь осторожные исследователи ограничиваются констатацией, что в надписи приводится ряд имен богов и что, очевидно, содержание ее связано с жертвенным ритуалом, судя по слову *vacł* (= жертва), которое часто встречается в l. l., и названиям сосудов.

Наибольший успех, хотя и нельзя еще говорить о переводе, был достигнут при трактовке самой большой этрусской надписи, которую мы часто называли, — *liberlinteus*; это единственная из сохранившихся надписей этого типа во всей античной письменности, хотя упоминания о *libri lintei* с религиозным содержанием встречаются довольно часто. Главная заслуга в истолковании памятника принадлежит Ольше, который опубликовал свои статьи в SE (8, 1934, стр. 247—290 и 9, 1935, стр. 191—224) (в более скромной степени этим целям послужила и упомянутая выше его книга), и Паллотино, опубликовавшему ряд статей в SE. Основой успеха был стереотипный характер памятника, правильное словосложение и образцовое издание. Наиболее существенное место l. l. посвящено ритуальному обращению к богу Нептуну (*flere neðunšl*), богу, означенному как *flere in crapšti*, и богам *aiser šic šeuc*. По сочетанию ритуальных формул с многочисленными датами можно сделать заключение, что речь идет о каком-то религиозном календаре, не вполне совпадающем с римскими календарями, так как упоминаются лишь некоторые празднества. Весьма соблазнительно толкование Феттера («Etruskische Wortdeutungen», I, 17, цитирую по автореферату в Gl., 28, 1940, стр. 149), что слова VIII, *3 celi hudšl iadrumiš flerchva neðhunšl* означают «сентября 24, праздник Нептуна» в связи с тем, что римский праздник Нептуна относился к 23 сентября (на названии месяца «сентябрь» остановимся позднее).

Главная заслуга, прежде всего Ольши, в том, что он, продолжая дело своих предшественников, обратил особое внимание на взаимоотношение отдельных частей ритуальных текстов и установил параллелизм, достигающий, например, такой степени, что на основании двух сохранившихся строф, посвященных одному божеству, ему удалось восстановить пропуск в части текста, посвященной другому богу. В связи с тем, что испорченный текст (нижняя часть его не сохранилась) можно в нескольких местах с уверенностью дополнить, Ольше удалось установить высоту столбца (36 строк) и тем самым число строк в сохранившихся 12 столбцах (390). К сохранившимся 220 строкам Ольши смог прибавить еще 50 (почти все они содержат стереотипные формулы), примерно 120 строк остаются безнадежно утраченными. Много усилий было потрачено на перевод отдельных частей l. l. Из целого ряда правдоподобных объяснений я привожу только одно: за XI, 14, непосредственно после даты и указания, что должно совершаться, следует такое предложение: *cntnam ðesan fler veiveš ðezeri*. Кортсен (Gl., 26, 1939, стр. 245) переводит это следующим образом: «в тот самый день (Феттер: утро) жертва должна быть доставлена в *Veive*». В слове *cntnam* он видит указательное местоимение *en* и частицу *tnam*, которая употребляется как самостоятельное слово *etnam* в значении *item* (засвидетельствовано в l. l. 40 раз). *Thesan* известно в качестве имени богини Авроры, *fler* — выражения для «жертва», *veiveš* может быть тожде-

ственно с лат. *Veiovis* (нам известен целый ряд этрусско-латинских параллельных названий божеств). Наконец, окончание *-eri* известно из других источников в качестве пассивного.

Напротив, до сих пор весьма спорно значение формулы, которая нормально (т. е. при отдельных божествах) звучит как *cisum pute tul θaus hadec repines*, но в ритуальном обращении к божествам *aizer šic šeuc* звучит как *cisum pute tul θansur hadrđi repindic*. Очевидно, будет правильным объяснить различие в форме *θans* и *θansur* и последующих слов в связи с изменением имени божества с единственного числа (*neđunš, crapšti*) на множественное (*aizer*). Но эта трактовка противоречит переводу Ольши, который опирается на *TI* и в согласии с общим контекстом стремится видеть у *θans hadec repines* значение, соответствующее умбскому *futu fons pacer*, т. е. *volens propitiusque sis*. Но ни в одном другом памятнике не засвидетельствована форма множественного числа императива на *-ur*; это окончание является только показателем именного множественного числа. Поэтому Паллотино стремится найти (SE, 17, 1943, стр. 347—357) иной выход и сравнивает сочетание *hadec repines* с умбской формулой о наблюдении за птицами в священной местности: *pernaies pusnaies*, переводя слова *θans hadec repines* как *aram in antica et in postica (sc. parte)*. Предшествующие слова означали бы в таком случае жертву, очевидно возлияние: *cisum pute tul*. *Pute* — название сосуда, *cisum* может быть произведено от числительного *ci* = «три». При божествах *aizer šic šeuc* речь шла бы о двух алтарях, вследствие чего и появляется множественное число *θansur*.

Наши познания о грамматическом строе этрусского языка остаются и поныне весьма ограниченными, во-первых, потому, что тексты не отличаются богатством форм, а во-вторых, вследствие того, что нам неизвестны языки, родственные этрусскому. По примеру Эвы Физель в новейших исследованиях обращается внимание на диалектальное членение этрусского языка. В соответствии с некоторыми фонетическими различиями вся область делится на четыре части: 1. Кампания; 2. Приморская Этрурия; 3. Внутренняя Этрурия; 4. Равнина р. По и р. Адидже. Далее, в зависимости от древности памятников, различается этрусский язык древний (7—5 вв. до н. э.) и новый (5—1 вв. до н. э.). Главные различия состоят в том, что в новотрусском утрачиваются безударные гласные, дифтонги монофтонгизуются, а глухие взрывные часто переходят в ряд аспиратов, которые изменяются потом в спиранты. Так, старотр. *turce, vacil, paidunas, uple* в новотр. звучат как *turce, vacl, peđnei* (= жен. род.), *ufle*. Самый большой этрусский памятник *I. I.* написан на этом позднем языке, в то время как Капуйский кирийч — на старом. Девото (SE, 18, 1944, стр. 187—197) сравнивает этрусскую и латинскую фонетику и находит, наряду с различиями, сходство, которое объясняет многовековым соседством обоих народов. К различиям относятся: неразличение в этрусском звонких и глухих (ср. *taille* вместо греч. *Daidalos*) и чередование аспирированных с неаспирированными (*urusđe* и *urste* вместо греч. *Orestes*). Гласные заднего ряда *o* и *u* в этрусском совпадают, тогда как передние *i* и *e* продолжают различаться. Наконец, этрусский проявляет тенденцию к гармонии гласных. Однако, как и в (поздней) латыни, в нем упрощаются дифтонги и, как в оскоко-умбском, происходит синкопа внутренних гласных. Девото называет эти явления околоиндоевропейскими, так как они выходят за пределы генетически родственных языков. В словообразовании отметим хотя бы суффикс *-ana*, который, согласно Баттисти (SE, 17, 1943, стр. 287—313), был заимствован латинским из этрусского. Схождение обоих языков Баттисти усматривает особенно в том, что при помощи *-ana* происходит образование прилагательных от прилагательных: так, этр. *husrnana* от *husrna* (молодой) соответствует лат. *veteranus, rusticanus, decumanus*. Далее, прилагательные от существительных: этр. *špurana* от *špur* (город), как лат. *urbanus, humanus* и др. Равным образом образуются названия божеств; ср. этр. *θesan, culšan, laran, turan* и лат. *Tutana, Levana, Pruestana*. Наконец, прилагательные от топонимических названий; ср. этр. *Veiane*, лат. *Romanus*.

В склонении следует напомнить, что местный падеж на *-thi* производится иногда от родительного; ср. *tarchnal-đi* (в Тарквиниях), *velcl-đi* (в Вольсках) и др. Очевидно, здесь имеет место нечто подобное чешским диалектным формам типа *fejich-ho, fejich-mu*.

Несомненный факт присоединения к гентиву собственных имен еще особого гентивного окончания, например *velđur velđuruš-la*, Паллотино трактует как проявление общей тенденции характеризовать определенные формы дважды, иногда трижды (ср. родительный падеж *arndal-iša-la*). Паллотино, называющий это явление *rideterminazione morfologica* гентива, полагает, что синтаксическое смысловое значение слова при этом обычно не изменяется. Но Буонамичи доказывает, исходя из генеалогий, что двойной гентив семантически более отягощен и означает внука, т. е. сына сына. В связи с этим *arndal-iša* означало бы сына сына Арнтха, т. е. имя отца выражено при помощи описательного оборота «сын Арнтха».

Из местоимений обычно рассматривают *ti* как местоимение 1-го лица; ср. надписи на двух кувшинах с фалисской территории, одну на фалисском наречии, другую — на этрусском: *eco quto ievotenosio* и *mi qutun lemausnas* (обе надписи означают «я кувшин...»); имя нарицательное заимствовано из греч. *κόρυς*). Вместо *ti* часто находим

местоимение *esa*, *ca*, очевидно, указательное, которое имеет и генитив, например *sā*, локатив *cati*, а также аккузатив, который в именной флексии не засвидетельствован. Так, в соответствии номинативу *esa šuđi* ... (= это могила ...) в надписи CIE, 2403 находим аккузатив: *ecn turce larđi leđanci alpnu selvansl canzate*. Кортсен (Gl., 26, 1938, стр. 247) перевел надпись так: «Diese gab Larthi Lethanei zur Gabe dem konzatischen *Selvans*» (речь идет о статуэтке, посвященной Сильвану).

Таково же сочетание местоимений *ta*, *tn*; ср. надписи, приводимые также Кортсеном (ib., стр. 252, 253): надпись из собрания Буффы, № 753 *ta šuđi avles đansinas* Кортсен переводит как «это могила *Avle Thansina*». Надпись из собрания Фабретти, № 38 *tn turce ramđa uhtavi selvansl* он переводит как: «*Ramtha Uhtavi* schenkte diese dem *Selvans*».

В настоящее время получило всеобщее признание остроумное толкование Торпа, предложенное в начале века, что в этруском система числительных подобна латинской (латынь переняла их, очевидно, от этрусков). Наряду с названиями десятков встречаются как единицы только числительные 1—6, представленные на игральных костях, т. е. *mach-zal*, *đu-huđ*, *ci-ša*. Нигде не встречаются ни *semp*, ни *cezp*, означающие 7 или 8 (числительное 9 не засвидетельствовано надежным образом). Зато нам известны, наряду с десятками, в качестве единиц еще три числительных на костях, все с постпозитивной частицей *-em*, которую Торп объясняет как *de* в *duodeviginti*: *đunem*, *eslem* (от *zal*, которое имеет вариант *esal*), *ciem*. Эти три цифры могли бы означать, что от десятка следует отнять 3, 2, 1, (так как 1—6 может быть выражено позитивно). А так как в *l. l.* в месяце *celi* (этр. -лат. глосса *Caelius*—*september*) следуют друг за другом даты *huđiđ* *zađrumiđ*, *ciem* *cealchuđ*, *eslem* *cealchuđ*, *đunem* *cealchuđ* (из других источников известно, что название десятка означает, очевидно, 20), то из подсчета дней в месяце вытекает, что *cealchuđ*—это 30, а следовательно, *zađrum*—20. В таком случае три числа означали бы 27, 28, 29. Если мы дополним на костях значение противоположащих чисел, то получим: *mach* = 5 (так как *zal* = 2), *huđ* = 6 (так как *đu* = 1), *ša* = 4 (так как *ci* = 3). Вследствие этого даты праздников, следующих друг за другом, были бы 26, 27, 28, 29 сентября.

Менее всего известен нам этруский глагол: некоторые исследователи видят в нем именное образование, другие указывают, что поскольку в больших текстах редко представлен глагол-связка, например, *amce* (= был), это также указывает на именной характер предложений.

В синтаксисе наиболее важным открытием последних лет является, по нашему мнению, объяснение Феттером некоторых форм как временных конструкций, соответствующих латинскому *abl. abs.* Феттер исходил из смысловых затруднений, так как в *Tomba degli Scudi* в Тарквиниях, где имеется склеп семьи *Velcha*, на одной надписи отмечен мужчина из другого рода. Речь идет о надписи CIE, 5388: *zilci velus hulchniesi larđ velchas veldurs aprđnalc clan saeniša eiđ šuđiđacazr*. Так как речь идет о высокопоставленном лице (*zilc*, *zilath*) и поскольку семья *hulchni* принадлежала к самым славным в Этрурии, он истолковал первые три слова наилучшим образом: в период правления Вела Гульхния (в соответствии с некоторыми объяснениями латинское *consul* содержит в себе этр. *zil*). В том же склепе находим подобное же обозначение в последней строке надгробной надписи основателя склепа (CIE, 5385): *zilci velusi hulchuniesi*. И, наконец, в склепе *Tomba dell'Orco*, опять-таки в Тарквиниях, надгробная надпись CIE, 5357 датирована посредством указания на двух правителей: *larđiale hulchniesi marcesic caliđensi munsle...*, причем *munsle*, наверное, означает официальный титул. Имена обоих правителей соединены связкой *-c*: *marcesic-c*. Любопытно, что один из этих правителей происходит из того же рода, что и покойник из склепа *degli Scudi*. Очевидно, официальные должности в Этрурии находились в руках немногочисленных родов.

О том, существовал ли грамматический род и член (постпозитивный), постоянно идут споры; во всяком случае эти категории не были вполне развиты.

Из связок вполне ясны в особенности две: связочное *-c*, например *vel seđre puiac* (= *vel Sethre* и супруга), и противительное *-m* в значении греч. *δέ*. Это *-m* ставилось в начале нового колона или предложения; так, например, в надгробных надписях *lupi-m* означает «умер же», *puiac-m* означает «была же супругой» и т. д. Связочный характер для слова *sves* в *l. l.* Феттер предполагает потому, что после него всегда следует глагольная форма прошедшего времени.

Проблема родства этруского языка с другими языками решалась и в этот период. Однако следует хорошо уяснить обстановку. Неиндоевропейские языки вокруг Средиземного моря так мало сохранились, обычно столь мало изучены и, наконец, так удалены от этруского языка, который нам известен также весьма несовершенно, что фактическая помощь со стороны этих языков незначительна. Нет в других языках, например, слова, которое соответствовало бы этрускому *ati* (= мать), *clan* (= сын), *sech* (= дочь); для названия отца мы не знаем даже этруского слова. Далее, числительные 1—6 не имеют ни в одном другом языке определенного соответствия. Сходство этруского языка с языком лемносской надписи продолжает признаваться, но в интер-

претации самой этой надписи нет большого прогресса. Так, Б. Грозный по своему обыкновению начинает свою статью о лемноской надписи (SE, 9, 1935, стр. 127, 132), переводом, вытекающим из хеттских, лувийских и лидийских этимологий. Равным образом гипотетичен и не поддается проверке перевод П. Кремчера (Gl., 29, 1942, стр. 89—98).

Более реальными представляются попытки связать топонимику Этрурии (она не должна быть тождественной с этрусской топонимикой) с доиндоевропейской сферой. Устанавливаются различные типы образования слов в зависимости от территории, а именно: иберийские, лигурийские, догреческие и др. Помехой служит, однако, то, что нам не известны нарицательные имена, которые могли быть основой этих названий (мы не знаем, например, как звучали этрусские «гора», «река»). Далее, вполне возможно, что греки и римляне, сохранившие эти названия, часто сближали их со своими названиями и таким путем фонетически их деформировали. Это изменение происходило, естественно, и тогда, когда территория меняла свое население. Несмотря на эти препятствия, все же удалось, особенно итальянской школе, руководимой Баттисти, доказать неэтрусский характер топонимики Альто Адидже и тем самым опровергнуть теорию о приходе этрусков с севера (до наших дней борются между собой мнения о восточном происхождении этрусков и их автохтонности).

Так как из всех неиндоевропейских языков Италии этрусский нам известен относительно лучше всего, то нельзя ожидать особой помощи со стороны остальных языков: лигурийского, лепонтского, пиценского и ретийского. Баттисти вообще сомневается в существовании каких-либо ретийских надписей, считая язык этих надписей этрусским.

Другая группа языковедов прилагает большие усилия, стремясь связать этрусский с другими неиндоевропейскими языками Средиземноморья. Эти попытки производятся исключительно на основе лексики, так как грамматические системы доиндоевропейских языков нам неизвестны. А мы знаем, что лексические сходства оказываются часто непоказательными, так как их можно объяснить заимствованием. Превосходный знаток вопроса Г. Алессиньо объясняет (SE, 15, 1941, стр. 185), например, слово *philox* как эгейское, в то время как Штрюмберг уже давно объяснил это слово на почве греческого (ср. *philos* и *φρον*). Но именно исследования Алессиньо содержат много ценных наблюдений; так, в своей статье в SE (17, 1943, стр. 227—235) он приводит ряд названий растений и животных в греческом и латыни с редупликацией, в то время как оба эти языка представляют редупликацию главным образом в глаголах. Однако необходимо все же отметить, что приведенные им и некоторые другие слова не засвидетельствованы в этрусском, и вообще сомнительно, приходим ли мы при изучении греческого и латинского субстрата только к этрусскому языку или к языкам, родственными ему. Вполне возможно, что в Средиземноморье мог существовать ряд неродственных между собой языков.

Но и в последнее время не прекратились попытки объяснения этрусского при помощи языков индоевропейских: наиболее приемлемой является упомянутая уже теория Девото, которая предполагает в этрусском смешение элементов индоевропейских (= италийских) и неиндоевропейских. Девото таким образом объясняет местоимения этр. *mi* и *ta*, из частиц *-c* (= индоевроп. *ke*), из суффиксов *-alis* (который был заимствован латынью из этрусского генитива *-al*); возможно, что это относится и к латинскому *-estris* из этрусского *treš*. Подобно этому он объясняет ряд слов: *nefts* (ср. *nepos*), *prumptis* (ср. *pronepos*), *maru* (ср. умбское *maro*), *lautn* (ср. *liber*), *usil* (ср. сабельское *ausel*), *sacni* (ср. *sacer*) и др. Равным образом, сюда относится своеобразная этрусско-италийская система личных имен.

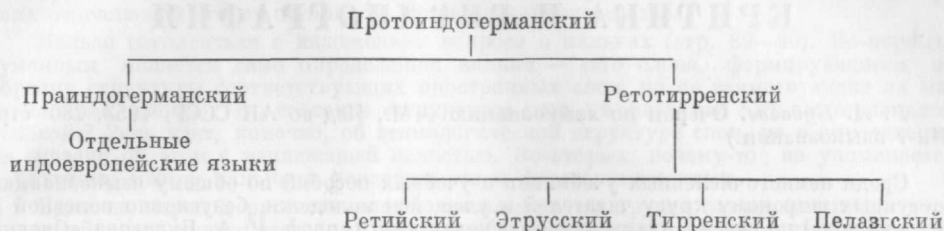
Более смелыми представляются взгляды Вл. Георгиева, Феттера и отчасти Кречмера². По мнению Георгиева (например, «Vorgriechische Sprachwissenschaft», 1941), этрусский язык является индоевропейским, родственным тому языку, который Георгиев пытался открыть в самом греческом как его более древнюю основу. Георгиев не допускает существования в восточном Средиземноморье каких-либо доиндоевропейцев, а предполагает только индоевропейские племена. Так, он полагает, что в *tapiaš* то же слово, что и в *δῶμος*, но догреческий индоевропейский язык перевел звонкие в глухие (как этрусский), а на месте индоевропейского *o* имел *a*. В целом можно будет оценить попытку Георгиева установить место этрусского языка только в связи с его объяснением критских и других надписей как индоевропейских.

Феттер, вначале весьма критически настроенный этрусколог, в последние годы также впал в недоказуемое индоевропеизирование, особенно в своей книге «Etruskische

² К. Яначеk по неизвестной причине обходит молчанием одно из наиболее солидных, но вместе с тем осторожных исследований, посвященных проблеме индоевропейского характера этрусского языка — E. G o l d m a n n, *Beiträge zur Lehre vom indogermanischen Charakter der etruskischen Sprache*, Heidelberg: Teil I — 1929; Teil II — 1930; его же, *Neue Beiträge zur Lehre vom indogermanischen Charakter der etruskischen Sprache*, Wien, 1936. — *Ред.*

Wortdeutungen» (1937) и в своих обзорах в «Glotta». Достаточно цитаты: «Этрусский язык по строю целиком индогерманский» (Gl., 29, 1942, стр. 209). Его метод можно уяснить на следующем примере, для которого нет параллели: *cesasin* из надписи CIE, 5407 он переводит как *ponantur* (исходя из *cesu* = *situs est*) и всю форму анализирует следующим образом: *-as* = показателю аориста, *-i* = показателю оптатива, *-n* = окончанию 3-го лица множественного числа.

Кречмер развивает далее свою протоиндоевропейскую теорию и в статье «Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten» (Gl., 30, 1943, стр. 84—218) проводит следующее разделение:



Этих ретотирренцев Кречмер считает давними соседями древних индоевропейцев, даже на территории современной Чехии и Моравии. В конкретных этрусско-индоевропейских сходжениях Кречмер целиком соглашается со своим учеником Феттером; так, он сравнивает локатив *-thi* с греч. *ὀχοῦθι*, *ikam* с *ego* и т. д.

Наконец, в 1952 г. А. Карнуа опубликовал статью «La langue étrusque et ses origines» в бельгийском журнале «L'antiquité classique» (21, 1951, стр. 289—331). Карнуа не является этрускологом и не опирается на серьезные труды, указанные мною в этой заметке; наоборот, он вполне доверяет не вполне надежным значениям; поэтому его грамматические и лексические выводы о родстве этрусского с индоевропейским прайзыком целиком гипотетичны.

В заключение нужно сказать, что пока не будут найдены новые и более разнообразные этрусские памятники или до тех пор, пока не будут объяснены языки, родственные, может быть, этрусскому, работа этрускологов будет необычайно невзыскательна и несоразмерна с приложенными усилиями. Между тем может статься, что, согласно одному остроумному выражению, и после истолкования всего этрусского материала мы получили бы ключ к дверям, ведущим в пустую комнату.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р. А. Будагов. Очерки по языкознанию. — М., Изд-во АН СССР, 1953. 280 стр. (Ин-т языкознания.)

Среди немногочисленных учебников и учебных пособий по общему языкознанию, доступных широкому кругу читателей и учащейся молодежи, безусловно полезной и оригинальной по своему плану является новая книга проф. Р. А. Будагова «Очерки по языкознанию»¹.

Автор ее известен нам как специалист по романским языкам и филолог, проявляющий особый интерес к области лексикологии и стилистики. В связи с этим кругом интересов автора находится и то обстоятельство, что одна треть «Очерков по языкознанию» целиком посвящена лексикологии (стр. 9—99).

Рассматриваемое здесь пособие по языкознанию состоит из пяти глав: I. «Основной словарный фонд и словарный состав языка» (стр. 9—99); II. «Некоторые особенности звуков речи» (стр. 100—129); III. «Грамматический строй языка» (стр. 130—224); IV. «Происхождение языка» (стр. 225—247); V. «Развитие языков и их классификация» (стр. 248—280). Кроме того, книге предпослано очень краткое «Предисловие» (стр. 4), за которым следуют «Несколько вводных замечаний» (стр. 5—8).

Ни по величине, ни по содержанию названные разделы не являются соизмеримыми и равноценными. Наиболее оригинальными и содержательными следует признать главы «Основной словарный фонд и словарный состав языка» и «Грамматический строй языка», по объему наиболее значительные в «Очерках». Однако не случайным является в «Очерках» то, что раздел о лексике занимает первое место. Автор совершенно правильно считает, что при расположении материала в порядке возрастающей трудности уместно начать именно с наиболее наглядного, доступного непосредственному наблюдению читателя, обнаруживающего интерес к фактам языка.

В том, что автор объединил в одной главе (третьей) морфологию и синтаксис (последнему уделено вообще мало внимания), назвав ее «Грамматический строй языка», обнаруживается его своеобразное понимание грамматического строя. Согласно этому пониманию, фонетика не является такой же равноправной частью грамматического строя, как морфология и синтаксис. Мы не склонны соглашаться с этим воззрением, потому что фонетика, по нашему мнению, так же тесно связана с морфологией и с синтаксисом, как эти последние связаны друг с другом.

В «Очерках по языкознанию» ставится на рассмотрение столько интересных и в то же время спорных вопросов, что у нас нет возможности хотя бы перечислить их. Здесь мы ограничимся только отдельными замечаниями относительно разделов: 1) о лексике (глава 1-я) и о грамматическом строе языка (глава 3-я), в связи с чем выскажем наши соображения об основном понятии лексикологии — о слове; 2) о фонетике (глава 2-я); 3) о развитии языков (глава 5-я) и о возникновении языка (глава 4-я), где мы остановимся на вопросе о сравнительно-историческом языкознании и сравнительно-историческом методе (ср. глава 5-я, § 2), так как считаем, что этот вопрос не занял подобающего ему места в «Очерках по языкознанию».

1

Как уже отмечалось, глава об основном словарном фонде и словарном составе языка принадлежит к лучшим разделам «Очерков». В ней дается представление о том, что такое слово (о «значении слова» см. ниже), термин, абстрактность, конкретность, синоним, омоним, антоним, «внутренняя форма» (= этимологическая структура), неологизм, архаизм, табу, эвфемизм, словосочетание, идиома, заимствование, калька.

Здесь говорится о противопоставлении основного словарного фонда — как наиболее устойчивой части словарного состава — наиболее изменчивой его части,

¹ Общая оценка книги дана в рецензии В. П. Сухотина («Вестник АН СССР», М., 1954, № 1, стр. 121—126). — *Ред.*

о двойственности этого противопоставления: 1) в исторической перспективе и 2) на данной ступени развития какого-либо языка.

Остается только высказать пожелание о том, чтобы в следующем издании «Очерков» в этот раздел было внесено пояснение о правильном понимании выражения «основной словарный фонд». Важно понять, что нельзя взять, например, «Словарь русского языка», составленный С. И. Ожеговым (под ред. акад. С. П. Обнорского), и разделить все содержащиеся там 52 тыс. слов на принадлежащие к основному словарному фонду и не принадлежащие к нему. По самому существу основного словарного фонда, который обнаруживается не в статике, а в динамике, нельзя установить границы, во всех случаях отделяющей его от остальной части словарного состава.

Нельзя согласиться с изложением вопроса о кальках (стр. 89—90). Во-первых, туманным является само определение: кальки — «это слова, формирующиеся по образцу структуры соответствующих иностранных слов, но не заимствующие их материальной основы». Что же такое «структура» слов, не связанная с их «материальной основой»? Речь идет, конечно, об этимологической структуре слов, но в определении не сказано об этом с надлежащей ясностью. Во-вторых, почему-то не упоминается о различии между кальками лексическими и фразеологическими.

Едва ли перевод русского слова *пятилетка* на другие языки можно назвать «калькой»: ведь нельзя это слово перевести без выражения понятий «пять» и «лето — год». Не является также «калькой», например, перевод на многочисленные языки мира русского словосочетания «Великая Октябрьская социалистическая революция».

Лексические кальки не очень удачно называются «чисто структурными кальками» (стр. 90).

Не совсем удачен вопрос на стр. 132: «Что может означать мысль, выраженная такими тремя словами: *идти, университет, книги*? Ведь мысли здесь как раз нет, но есть три понятия, выраженные соответствующими словами. Только при определении отношений упомянутых понятий можно будет говорить о «мысли», выраженной «простым рядом слов».

Нет необходимой ясности в вопросе о морфологическом членении слова. Об аффиксах сказано, что они «являются своеобразными морфемами» (стр. 141). Почему же корень — это не своеобразная морфема? Определение корня лишено исторического подхода. Если корень — «это основная смысловая часть слова без аффиксов» (стр. 141), то где же корень в слове *вынуть*, которое в исторической перспективе имеет только аффиксы (*вы-, -ну-, -ть*). Ясно, что в описательном и в историческом языкознании корень — это не одно и то же (ср. в описательном языкознании членение: *вын-у-ть*).

Относительно «флексий» следовало бы сказать, что надо различать: 1) изменение слов и 2) аффиксы словоизменения (формообразования). В связи с этим стало бы понятным различие между флексией «внешней» (формообразовательными аффиксами) и «внутренней» (фонетическими видоизменениями корня или основы).

Полезно было бы упомянуть о так называемом «характере основы» в связи с делением аффиксов на продуктивные и непродуктивные.

Едва ли есть необходимость заменять слово «понятие» таким выражением, как «лексические смыслы» (стр. 144). Также наряду с термином «аффикс» едва ли нужен его синоним «формант» (стр. 146).

Непонятным остается (там же) утверждение: «Вот почему мы говорим о специфике грамматической семантики — семантики категорий — по сравнению с семантикой лексической, с семантикой отдельных слов». Ясно, что можно различать «лексические» и «грамматические» понятия, выраженные разными способами в языке. Однако не подлежит сомнению и то, что «грамматические понятия» могут выражаться как формами слов, так и отдельными словами (например, местоимениями, предлогами, союзами, частицами и пр.). Таким образом, есть грамматические категории, выражаемые именно отдельными словами.

Нельзя согласиться с определением «семантического диапазона» имен существительных (стр. 167): «Имя существительное выражает предметность в широком смысле этого слова». Если в слове *радость* есть какая-то неопределенная «предметность», то почему же ее нет в слове *радоваться* и т. п.? В языках, где нет формального различия между именами и глаголами, «предметность» оказывается в подобных случаях просто неуловимой (ср., например, малайское *sukahati* «рад, радоваться, радость» и т. д.). Жаль, что проблема сушлестивизма (важная для учения о слове и его формах) рассматривается только в связи с грамматической категорией местоимений (стр. 184—190). Остается пожалеть также и о том, что из рассмотрения этой проблемы не сделано тех выводов, которые являются весьма существенными для сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.

Ничем не оправдано в разделе о глаголе (стр. 190 и сл.) то, что автор обошел молчанием такую интересную грамматическую категорию, как категория залога.

Слишком абстрактно и суммарно рассматривается вопрос о наклонениях (стр. 199—205). При этом так называемое «желательное наклонение» (оптатив) почему-то оказы-

вается «в системе конъюнктива» (стр. 201). Для тех индоевропейских языков, где названные здесь наклонения последовательно противопоставлялись, такое утверждение лишено оснований.

На примерах из древнегреческого языка можно было бы показать, что такое *coniunctivus* (*volitivus*, *deliberativus*, *prospectivus*) и *optativus* (*desiderativus*, *potentialis*, *praescriptivus*), можно было бы показать особенности повелительного наклонения и т. д.

Среди положительных сторон «Очерков по языкознанию» следует отметить широкое использование в них удачно подобранных примеров из художественной литературы. Этот иллюстративный материал не только украшает книгу, но и облегчает читателю понимание, служит для популяризации науки. Весьма положительным фактом является также и то, что автор широко использует достижения отечественного и советского языкознания, дает примеры, взятые только из надежных источников².

Основным понятием лексикологии, конечно, является «слово». Нет сомнения в том, что нельзя дать универсального, т. е. годного для всех языков и всех времен, определения этого понятия. При определении этого понятия (на данной ступени развития данного языка) следует учитывать особенности грамматического строя языка, о котором идет речь. При чтении «Очерков» об этой основной величине лексикологии создается представление как о форме, произвольно наполняемой почти каким угодно содержанием. Подобное же представление, к сожалению, можно найти в других учебниках и учебных пособиях, не учитывающих освещение этого вопроса в таком, например, труде, как книга акад. В. В. Виноградова «Русский язык»³.

Так как мы не считаем, что вопрос о слове должен даже в учебной литературе решаться в ущерб ясному пониманию природы этого основного понятия лексикологии, нас не может удовлетворить в «Очерках по языкознанию» изложение так называемой «проблемы полисемии». Однако надо признать, что подобным же образом эта проблема излагается в большинстве учебников и учебных пособий.

В этой области необходимо внесение ясности на основе учения классиков марксизма-ленинизма о диалектическом единстве формы и содержания в языке. Обычно у нас рассматривают изменения слова только с точки зрения формы. Фонетические изменения формы (качества, количества и взаиморасположения звуков) признаются «изменением слова» (например: *сънъ* > *сон*; *днь* > *день*; *лѣсъ* > *лес*; *сѣдъ* > *суд*; *пять* > *пять*; *седмь* > *семь*; *осмь* > *восемь* и т. п.).

Напротив, самые существенные изменения слов, изменения в их содержании, считаются только «изменениями значений», а не самих слов (например: *цвѣтъ* «цветок» > *цвет* «окраска»; *село* «поле» > *село* «селение»; *столъ* «кресло» > *стол* — ср. польск. *stół*; *брань* «битва» > *брань* «ругань»; *виноградъ* «виноградник» > *виноград* — ср. польск. *winogrona*; *жизнь* > *жизнь* «чрево, брюхо»; *лѣто* «год» > *лето* «летние месяцы»; *слова* «слово, речь» > *слова* — ср. польск. *słownik*).

Всякое слово данного языка (здесь не подразумеваются собственные имена) выражает простое для данного языка понятие. Оговорку следует сделать только относительно составных слов. Если еще сохраняется связь их составных частей с соответствующими простыми словами (т. е. ясна их этимологическая структура), они могут выражать сложные понятия.

Большинство понятий, выраженных словами, состоит из нескольких признаков. В сочетаниях слов (в контекстах) выделяется то один, то другой признак (соответственно — несколько из общего числа признаков, составляющих данное понятие). Как известно, слова, выражающие родственные понятия, содержащие много общих признаков, называются относительными синонимами (например: *чертить* — *рисовать*; *склянка* — *флакон*; *красный* — *алый*; *гроза* — *буря*; *ветер* — *вихрь*; *кровать* — *постель*), а слова, выражающие тождественные (совпадающие по всем признакам) понятия, — безотносительными (абсолютными) синонимами (например: *рыть* — *копать*; *сталь* — *булат*; *пес* — *собака*; *чудо* — *диво*; *словарь* — *лексикон*; *языкознание* — *лингвистика*).

Злоупотребление неопределенными выражениями «значение» слова и «оттенки значения» слова приводят к неправильному пониманию содержания слова. В слове следует различать фонетическую форму и смысловое содержание (о чем будет сказано ниже). В фонетической форме слова надо учитывать стороны материальную, акустическую (или, соответственно, — графическую) и фонологическую, т. е. свойственное

² Как весьма отрадное явление следует отметить и то, что в книге сравнительно немного опечаток. Имеются, например, такие: *krolik* вместо *królik* (стр. 51); *dztterr* вместо *dztterr(n)* (стр. 261); *глинь* вместо *глина* или *гнила* (стр. 254); *yaqtula* вместо *yaqtulu* (стр. 137); *лѣто* вместо *лѣто* или *лето* (стр. 122); *pletъ* вместо *plémъ* (стр. 253) и др.

³ См. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., Учпедгиз, 1947, § 3, стр. 8—21.

данному языку взаиморасположение звуков и ударение. Смысловое содержание слова состоит из ряда признаков, сгруппированных в понятие. Понятия изменяются, и вместе с ними изменяются слова. Согласно определению В. И. Ленина, «...человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, переливаются одно в другое, без этого они не отражают живой жизни»⁴.

Именно поэтому в языке изменяются слова, конкретные диалектические единства формы и содержания, вспомогательные виды сообщения, существенные языковые исторически сложившиеся величины, а не какие-то туманные «значения». В пределах слов сгруппированы признаки, составляющие свойственные данному обществу понятия: слова выражают характерные для данного коллектива обобщения.

«...Это единичное совершенно не может быть высказано»...

[Всякое слово (речь)
уже обобщает
ср. Фейербах.]

Чувства показывают
реальность;
мысль и слово —
общее.

»⁵

Слова могут выражать предметные понятия, но также и понятия отношений предметов и явлений. В таких языках, как русский, слова, имеющие грамматические формы, могут одновременно выражать лексические и грамматические понятия.

При установлении признаков выражаемого словом понятия нельзя забывать того, что похожие друг на друга понятия разных языков все же могут содержать различные признаки. Поэтому нам может казаться, что какое-нибудь слово чужого языка выражает не одно, а несколько понятий, так как мы привыкли разделять соответственные понятия в своем языке.

Неправы, например, те, которые думают, что древнегреческое слово *θάλασσα* (*θάλαττα*) будто бы имело такие два «значения»: 1) «море» и 2) «морская вода, соленая вода». На самом деле у древних греков существовало особое понятие, выраженное этим словом, — понятие, не совпадающее по своим признакам с нашими понятиями «море» и «морская вода».

Неправы, конечно, и те, которые стали бы утверждать, что в древнегреческом языке будто бы существовало два различных по своим «значениям», но одинаковых по внешности слова *θάλασσα*. Указанные выше «значения», конечно, нужны в словаре для того, чтобы охарактеризовать содержание (основные признаки) древнегреческого понятия, выраженного словом *θάλασσα*.

Таким образом, кроме: 1) материала, 2) фонетической формы, 3) признаков, объединяемых в определенное (для данной ступени развития общества) понятие, 4) способности сочетаться с другими словами для выражения сложных понятий — у многих слов есть еще: 5) этимологическая структура (обнаруживаемое в них самих отношение к другим словам данного языка, «внутренняя форма», по обозначению А. А. Потебни) и 6) грамматическая форма (выражающая определенным образом грамматическое понятие наряду с лексическим).

В конце первой главы (стр. 98) дается такой вывод: «Слово и понятие глубоко между собой связаны, но они не тождественны». Это, конечно, правильно, если под словом понимать только известную звуковую форму. Но автор «Очерков» понимает слово иначе, как видно из его краткого определения (стр. 99): «Слово — это кратчайшее самостоятельное сложное диалектическое и историческое единство материального (звуки, „формы“) и идеального (значение)»⁶.

Нельзя не выразить сожаления также по поводу того, что в разделе о лексикологии и семантике не уделено подобающего внимания области этимологических исследований. А ведь относительно этой области в руководстве по языкознанию надо было бы дать правильное представление, потому что именно здесь человеку, мало знакомому со сравнительно-историческим методом, остается много неясного. Именно здесь непонимание сущности сравнительно-исторического исследования приводит ко всякого рода грубейшим ошибкам и заблуждениям.

С этой точки зрения следует признать, что большим достоинством учебника проф. Л. А. Булаховского «Введение в языкознание», ч. II (Учпедгиз, 1953) является наличие в нем особого раздела (IV) «Этимология слов» (стр. 160 и сл.).

⁴ В. И. Ленин, Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии», «Философские тетради», Госполитиздат, 1947, стр. 237.

⁵ Там же, стр. 256.

⁶ В связи с пониманием термина «слово» напомним о существовании специального исследования по истории этого вопроса на украинском языке М. Я. Калиновича — «Поняття окремого слова» («Мовознавство», № 6, Киев, 1935, стр. 123—145).

Так как смысл слова мы не противопоставляем его значению, нельзя признать удачным вопрос: «Как же о с м ы с л я е т с я (разрядка моя. — А. Б.) нами значение того или иного слова?» (стр. 12) вместо: «Что такое значение слова?» или «Что мы понимаем под значением слова?»

Неудачным можно считать замечание (стр. 7): «... нельзя изучать язык в отрыве от способов передачи самой мысли». Оно не помогает читателю уяснить сущность диалектического единства языка и мышления.

Нельзя также вполне согласиться с таким противопоставлением языка и мышления (там же): «Язык оперирует словами и предложениями, мышление — понятиями и суждениями. Абстракция языка не всегда и не во всем совпадают с абстракциями мышления». Ясно, что понятия и суждения могут существовать только в форме слов, словосочетаний и предложений. Нам неизвестны абстракции мышления, т. е. обобщения, понятия, категории, которые могли бы существовать не в названной форме.

Пример с категорией грамматического рода должен свидетельствовать только о том, что данная категория в русском языке стала в отношении всех прочих слов, кроме названий живых существ, формальной, грамматической, а не лексической. Здесь следовало бы подчеркнуть, что отношение языка и мышления можно определить как отношение формы и содержания. Таким образом, упомянутый пример свидетельствует об отставании формы от содержания в языке.

2

Не совсем удачным представляется нам даже самое название второй главы (стр. 100): «Некоторые особенности звуков речи». О каких же особенностях автор решил ничего не говорить в данной главе?

Для популярного очерка следовало бы, конечно, ввести различие между «фонетикой как звуковой системой» данного языка (ср. стр. 101: «Фонетика одного языка, как правило, не похожа на фонетику другого или других языков») и «фонетикой — учением о звуках» (стр. 100). Едва ли можно согласиться с таким утверждением (стр. 102): «Зная русское слово *дом*, легко понять украинское *дiм...*». Если речь идет именно о данных формах названного слова, то русскому, слышавшему в первый раз украинское *дiм*, оно будет столь же непонятным, как, например, *сiм*, соответствующее числительному *семь*. Цитата из «Мартина Идена» (стр. 103) для русского читателя вовсе не является примером того, «как нужно р а б о т а т ь над литературным произношением...». Сбивчивым (на стр. 104) является замечание: «в словах *чай* и *пять* гласный, изображаемый различно, имеет одинаковое фонетическое отражение». Что такое «фонетическое отражение» гласного звука? Разве только «лингвист... обязан уметь тщательно различать буквы и звуки?» (там же).

Неудачным является (на стр. 105) «опыт» с немецким словом *Habe*: во время подобного «опыта» может произойти либо смешение подопытного слова с формой *Hiebe* «удары», либо полное разрушение немецкого слова *Habe*. Так или иначе, но нельзя будет сказать, что «все слово станет звучать от этого странно, но смысла своего не изменит». То же самое произойдет и при эксперименте со словом *avoir*: оно либо превратится в *ivoire*, либо перестанет существовать как французское слово.

Не хотелось бы затрагивать здесь вопрос о фонеме, но все же нельзя считать, что он изложен в доступной для неискущенного в фонологических дискуссиях читателя форме: «Так различаются в языке не только буквы и звуки, но и в пределах звуков разные их типы — смыслоразличительные звуки, или ф о н е м ы, и не смыслоразличительные звуки, или так называемые варианты фонем» (стр. 105). Как понять читателю, что «в пределах звуков» различаются разные типы звуков, «смыслоразличительные звуки» и т. д.? Если в популярном очерке уместны такие сугубо специальные «псевдотермины», как «фонологическая доминанта» (стр. 106), то мы должны признать, что имеем заведомо превратное представление о популярных очерках.

Не столько облегчающим, сколько затрудняющим понимание является примечание (на стр. 106) о том, «что фонема отнюдь не является единственным фактором, дифференцирующим слова». Автор указывает на то, что «слова различаются прежде всего по своему происхождению, по своему значению, по своей грамматической форме». Возьмем, например, такое сочетание звуков: *пила*. Откуда говорящий по-русски, но не являющийся русистом, может знать о «происхождении» этого сочетания звуков? Он может только связать его с прочими формами либо существительного *пила*, либо глагола *пить* (то, что существительное *пила* по своему происхождению связано с древневерхнемецким *fiħala*, *fiħa*, а форма глагола *пила* — с корнем форм санскр. *pihāmi*, греч. *πιῖω*, лат. *bibō*, др.-ирл. *ibim* и т. д., — может быть ему совершенно неизвестно и даже неважно). Самое важное для говорящего — это, как форма *пила* связывается с прочими формами в пределах основного вида сообщения, т. е. предложения.

Следовательно, «фонема», «происхождение» слова, смысловое содержание или «значение» слова, «грамматическая форма» слова — это понятия принципиально различные, относящиеся к разным отделам языкознания: в фонетике или фонологии

именно по фонемам различаются всякого рода звуковые комплексы (формы слов, морфемы, синтагмы и пр.). Несомненно уместным было бы указание на различие фонетического и орфографического слогаделения (на стр. 107). Для ясности (там же) надо было сказать, что в ритмомелодике языка тонами называются различные виды музыкального ударения (слогового, словесного, фразового). Утверждение о том, что в истории латинского языка «наблюдается переход от силового ударения к музыкальному» (стр. 108), является в высшей степени спорным: именно для исторической эпохи развития этого языка несомненным можно считать установление динамического словесного ударения такого типа, как в испанском и итальянском языках.

Неточной также является ссылка на немецкий язык как на язык со «смешанным» (неудачный термин!) ударением: музыкальный характер словесного ударения в нем еще не доказан. Полное недоумение вызывает соединение в одном параграфе второй главы (§ 3) столь различных явлений, как «ритмико-мелодический рисунок речи (интонация)» и «явления ассимиляции и диссимиляции звуков». Неясно изложен вопрос об «интонации», потому что не указано, каково отношение «интонации» к «музыкальному ударению» (слова и предложения). С одной стороны, «интонация» противопоставляется «ударению», а с другой стороны, она же включается в «ударение» (стр. 112—113) путем противопоставления «двух типов интонации».

Теория дифтонгов изложена по Л. В. Щербе (стр. 116—117), но хорошо было бы упомянуть, что существует и противоположный этому взгляд. Неудачным является выражение: «последующий звук.., уподобляя себе предшествующий.., создает ассимиляцию» (стр. 117). Непонятно (там же) выражение: «общий принцип глухих согласных» (слова и предложения). С одной стороны, «ассимиляция» очень часто отражается и в орфографии, вытесняя ранее бытовавшие в ней написания» (стр. 119).

В высшей степени уместным в популярном очерке является параграф о звуковом фонетическом законе (§ 4 второй главы), но его не следовало бы соединять с вопросами о графике и орфографии. Вторая часть упомянутого параграфа, повидимому, озаглавлена неточно: «Фонетика, орфография и история языка». Вероятно, лучше было бы написать здесь «история письма». Неудачны примеры «фонетической транскрипции» на стр. 127: во-первых, в них отсутствует обозначение ударения, во-вторых, громоздко передана долгота согласного (ðð), в-третьих, отсутствует обозначение редукции гласного в послеударном слоге.

Конечно, говоря о «звуковом законе», уместно было бы указать на то, что исключения из него объясняются взаимодействием составных частей языка (например, взаимодействием парадигм, грамматической аналогией) и соприкосновением и взаимодействием языков (заимствованиями и пр.). Об этом не сказано с необходимой для популярного очерка ясностью.

Совершенно не удовлетворяют нас беглые замечания об истории письма (стр. 128—129). Очки на вывеске оптического магазина вовсе не могут служить примером «идеографии» — это скорее всего именно «пиктография». Примером идеографии в условиях окружающей нас действительности могут служить цифры и некоторые другие математические знаки. Неправильным является утверждение (там же) о том, что так называемое слоговое письмо «основывалось на членении слова на слоги»: слоговое письмо передавало не только собственные слоги, но и иные (часто гораздо более сложные, чем слоги) сочетания звуков (ср., например, элементы слогового письма в Египте, в Месопотамии, на Крите).

Неудачен термин «идеографически-иероглифическое» письмо (там же). Образцов последовательного идеографического письма мы не знаем (без элементов фонетического письма): древнеегипетское иероглифическое письмо, ассиро-вавилонская клинопись, китайское письмо наряду с настоящими идеограммами содержат фонетические знаки (т. е. передающие не понятия, а именно слова данного языка); их лучше всего называть «идео-фонетическими» системами письма. Выражение «абстрактные представления» вместо «абстрактные понятия» нельзя признать уместным (стр. 129).

Не будем дальше излагать отдельные критические замечания, но выскажем только пожелание о том, чтобы во втором издании «Очерков» эта вторая глава была бы значительно усовершенствована. Никак нельзя признать, что фонетика принадлежит к тем разделам языкознания, которые хорошо известны неспециалистам. Нелегко, конечно, кратко и просто изложить основы современной нам фонетики, но в популярном очерке такое изложение необходимо. Этого еще не удалось сделать Р. А. Будагову. Следовало бы, конечно, подчеркнуть, что из всех областей языкознания именно фонетика своими экспериментально-инструментальными методами исследования наиболее приближается к точным наукам.

3

Наименее нас удовлетворяет пятая глава — «Развитие языков и их классификация», а внутри этой главы § 2 «Генеалогическая классификация языков и сравнительно-исторический метод в языкознании» (стр. 251—267).

Из этой главы читатель не вынесет правильного представления о сравнительно-

историческом языкознании и о сравнительно-историческом методе. А ведь даже на трех-четырёх страницах можно было бы дать характеристику той совокупности приемов исследования, которая называется сравнительно-историческим методом.

Можно было бы указать: 1) на различие между универсальным методом исследования — марксистским диалектическим методом — и специальным методом или совокупностью приемов исследования языкового материала; 2) на то, что сравнительно-исторический метод дает возможность сравнивать в исторической перспективе не только отдаленно родственные языки, близко родственные языки, диалекты общенародного языка, но и факты одного и того же языка на разных ступенях его развития; 3) на то, что понятие родства языков является обязательным для сравнительно-исторического языкознания и что это родство может быть установлено только на основе названного метода; 4) на то, что в отличие от сопоставительного метода (при изучении неродственных языков) для сравнительно-исторического метода характерно сравнение грамматического строя и словарного состава языков с учетом их изменения, их истории; 5) на то, что для сравнительно-исторического метода характерно: установление соответствий в области фонетики, морфологии и синтаксиса между родственными языками; восстановление фактов и явлений с учетом относительной и безотносительной (документально-подтверждаемой) хронологии; сравнение не отдельных слов и форм слов, но слов и форм, являющихся частями какой-либо системы (парадигмы) в пределах сопоставляемых языков. Нужно было бы, наконец, указать на те неудобства, которые имеются в применении сравнительно-исторического метода: неполнота и нестрога (различное качество) материала, которые не дают возможности сочетать относительную хронологию с безотносительной, субъективизм при расположении фактов в порядке относительной хронологии, неразработанность основ семантики и синтаксиса.

Конечно, в вопросе об установлении родства языков надо было бы на первое место поставить сравнение в исторической перспективе грамматического строя языков, а не словарного состава их.

Теперь еще несколько менее принципиальных замечаний. На стр. 252 говорится о том, что «индоевропейские языки распадаются на 12 групп». Так ли это? Если следующий ниже перечень считать «группами», то их будет больше: 1) индийская, 2) иранская, 3) тохарская, 4) анатолийская (хеттский клинописный язык и др.), 5) армянская, 6) фракийская, 7) албанская, 8) иллирийская, 9) греческая, 10) итальянская, 11) романская (происходящая от латинского языка итальянской группы), 12) кельтская, 13) германская, 14) балтийская, 15) славянская.

Неясно, что имел в виду автор, утверждая (на той же странице), что историческое развитие языка «определяется общественной природой языка».

Повидимому, нет достаточных оснований утверждать, что такие слова, как румынские *taif* и *tatâ*, «славянского происхождения» (стр. 255), потому что подобные же образования (например, греч. *τάτα*, *τάττη*) встречаются не только в славянских языках.

В испанском языке *lecho* (< лат. *lectus*) — бытовое слово («постель»), и оно не вытеснено словом *cama* («кровать»), ср. греч. *υαμαί*.

Степени родства языков, по нашему мнению, лучше называть — «близкое родство» и «отдаленное родство», чем — «прямое» и «опосредствованное» (там же).

Слово *ród* в польском языке не обозначает «фамилия» и вообще выражает то же понятие, что в русском слово *род*.

Отсутствие примеров из области морфологии в том месте, где речь идет о грамматическом строе языков (стр. 256—257), очень вредит пониманию родства языков. «Материальная общность языков» остается чем-то неопределенным, а ведь достаточно было бы вспомнить спряжение глагола *быть* в различных индоевропейских языках (например, хет. *esmi*, санскрит. *asmi*, др.-перс. *ahmi*, ст.-лит. *esmi*, ст.-слав. *ѣсмь*, аттич. *εἰμι*, лат. *sunt*, гот. *im* и т. п.) для того, чтобы стало ясным читателю общее происхождение не только корня **es-* *s-*, но и личного окончания *-*mi*, а также всей парадигмы спряжения индоевропейских языков.

На стр. 257, очевидно, опечатка: вместо слова *факт* напечатано *фактор* («фактор односложности»).

На стр. 258 по недоразумению сочетание слов *дочь художника* названо «предложением» (вторая строка сверху). А между прочим, действительно, для сравнения родственных языков лучше было бы взять не сочетание слов, а именно предложение.

К сожалению, нам неизвестно, кого именно имеет в виду автор «Очерков», когда пишет: «Следовательно, широко распространенное в современной западноевропейской и американской лингвистике положение о том, что при определении родства языков лексика не имеет никакого значения, что все определяется только грамматикой, нужно признать ошибочным» (стр. 259). Если речь идет, например, об антиисторическом понимании родства языков («приобретенное родство») в статье Н. С. Трубецкого⁷, то это понимание нельзя считать «широко распространенным».

⁷ N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, «Acta Linguistica», vol. I, fasc. 2, Copenhagen, 1939, стр. 81—89.

Надо сказать, что Р. А. Будагов, очевидно, склонен отдавать предпочтение в вопросе о происхождении индоевропейских языков «теории воли» Иоганнеса Шмидта и ставить под сомнение возможность существования индоевропейского «языка-основы». Так надо, видимо, понимать следующее высказывание: «... в то время как непосредственно родственные языки обычно прямо происходят из единого источника (языка-основы), языки, связанные между собой опосредствованным родством (например, индоевропейские языки в целом), одного источника могут и не иметь, развиваясь из нескольких источников» (стр. 259).

Пожалуй, эта мысль является слишком важной для сравнительно-исторического языкознания вообще, чтобы высказывать ее между прочим и без надлежащей аргументации. Получается так, что родство славянских языков — это родство историческое, а родство, например, славянских языков и романских — это только «схождевание», приобретение общих черт в процессе взаимодействия этих языков. Тогда почему не сказать, что грамматический строй данного языка может сложиться в результате взаимодействия разных неродственных языков? Это в высшей степени сомнительно.

Не совсем четко определено отношение так называемой генеалогической классификации и морфологической (типологической) классификации языков (стр. 261—262). Надо было бы с самого начала сказать о том, что эти классификации представляют два совершенно различных подхода к рассмотрению языков мира. Генеалогическая классификация обозначает только указание на общность языков по их происхождению (потому при отсутствии установленного родства с другими языками языки остаются «не классифицированными»), типологическая же классификация может вовсе не учитывать происхождения и вообще истории языков: она основана только на сходствах и различиях грамматического строя языков в определенном их состоянии, только на данной ступени их развития.

Поэтому необоснованным остается требование, предъявляемое к типологической классификации на стр. 261: «Классификация языков по их морфологическому типу пока не совсем удастся, так как невозможно установить, в какой последовательности развивались эти морфологические типы». Последовательность изменений представляется важной там, где речь идет об истории. То, что из различия типов грамматического строя языков делаются неправильные выводы о развитии типов, не является недостатком типологической классификации. Также и тот факт, что некоторые исследователи неправильно применяют сравнительно-исторический метод, не умаляет достоинств самого метода.

Какое-то недоразумение кроется, вероятно, в таком утверждении: «Китайский язык, хотя и не имеет большого количества флективных форм...» (стр. 261). В статье проф. Н. И. Конрада «О китайском языке»⁸, на которую ссылается автор, насколько мы понимаем, о «флективных формах» современного китайского языка ничего не говорится: морфологическая членность слов и их флективность, конечно, далеко не одно и то же.

Мы не можем согласиться с категорическим утверждением (на стр. 264), что «недостатки» сравнительно-исторического метода «действительно очень значительны». То, что дальше говорится об этих «недостатках», относится вовсе не к методу, а к тем, которые не умели применять его в своих исследованиях или неправильно его применяли. Нельзя, например, упрекать палеонтологов в том, что они по зубам ископаемого животного определяют, к какому отряду какого класса принадлежало животное, но не могут определить, было ли съедобным его мясо. Вина тут не метод сравнительной анатомии, а характер материала. Нельзя признать недостатком сравнительно-исторического метода, например, то, что «при помощи» его «далеко не все явления родственных языков могут получить объяснение» (стр. 265).

Не стоило бы приводить примера невозможности восстановления конечного *m* винительного падежа форм *portam* и *murum*: ведь о восстановлении того, что не оставило следов в языке, не может быть и речи. Мы ведь не предлагаем, например, восстановить формы двойственного числа в спряжении латинских глаголов, но зато мы на основании фактов других языков (например, санскрита, литовского, древнегреческого, старославянского, готского) знаем, что в древнейшем состоянии индоевропейских языков такие формы должны были существовать. Само собой разумеется, что пределы восстановления фактов зависят от сохранности материала. Однако это нельзя назвать недостатком данного метода.

Поэтому мы полагаем, что (на стр. 266) автору следовало бы в нижеследующей цитате вместо «не только» сказать «не столько»: «Недостатки сравнительно-исторического метода определяются, таким образом, не только самим методом, но и своеобразием того материала, к которому этот метод применяется».

По нашей обязанности критика мы, естественно, обращаем внимание на то, с чем мы в «Очерках по языкознанию» не можем согласиться. Однако наряду с этим мы хотим

⁸ См. Н. И. Конрад, О китайском языке, «Вопросы языкознания», М., 1952, № 3, стр. 45—78, особенно выводы на стр. 77—78.

подчеркнуть и то, чего, по нашему мнению, недостает и что являлось бы там совершенно уместным.

На стр. 8 совершенно правильно говорится о сопоставлении родственных языков как о способе обнаружить их особенности, но сопоставление может в этом смысле оказаться полезным и при рассмотрении неродственных языков. Если же речь идет о сравнении родственных языков, то следует подчеркнуть важность сравнения языков в исторической перспективе, с учетом изменений грамматического строя и словарного состава. Отсюда станет понятным и значение сравнительно-исторического метода в отличие от просто сопоставительного метода исследования.

Отсутствие особой главы о сравнительно-историческом языкознании и сравнительно-историческом методе значительно обедняет «Очерки по языкознанию». Наше советское языкознание в настоящее время немыслимо без такой своей составной части, в которой наилучшим образом осуществляется требование историзма, исторического подхода к фактам и явлениям языка. Само собой разумеется, что оно не может ограничиваться описанием языков, хотя в области описания языков наиболее наглядно теория сочетается с практикой.

Р. А. Будагов совершенно последовательно не включил в свое изложение основ науки о языке сведений по истории этой науки. Исключение представляет только глава четвертая «Происхождение языка», где такие сведения по самому существу вопроса являются необходимыми. Сами по себе эти сведения по истории могли бы составить содержание другой книги не меньшего сравнительно с «Очерками» объема. Но в «Очерках» — это самая небольшая глава. Естественно, что при незначительном объеме данной главы трудно было изложить в ней историю такого сложного и отчасти выходящего за пределы языкознания вопроса. Автору удалось показать, что решить вопрос о происхождении человеческой речи возможно, как на это указали классики марксизма-ленинизма, только на основании данных палеонтологии, антропологии, этнологии, психологии, истории и других наук в сочетании с данными языкознания.

Мы не можем также не отметить, что, по нашему мнению, недостатком в целом интересной и полезной книги Р. А. Будагова является то, что в ней не рассматривается проблема методов или приемов исследования языков. Этот существенный вопрос остался в тени, а между тем именно он должен интересовать пытливого читателя. Отсутствие ясных указаний на приемы исследования дает о себе знать особенно в третьей главе («Грамматический строй языка»). Из-за того, что нет этих указаний, изложение (вообще легкое и живое) местами становится догматичным.

Большинство вопросов, рассматриваемых в рецензируемом труде, конечно, относится к области описательного языкознания, но это обстоятельство не устраняет сказанного о желательности дать в книге учебного характера представление о методах или приемах исследования языков. Слишком многое зависит от них и в этой области. Мы хотели бы найти здесь ответ хотя бы на один вопрос: какие существуют приемы описания грамматического строя языка в данной его разновидности и на данной ступени его развития?

В связи с этим находится также ответ на вопрос: в чем заключается различие между школьной, нормативной, традиционной и собственно научной описательной грамматикой? Несомненно, ответить на этот вопрос нельзя без обращения к истории. Здесь можно было бы рассказать, чем отличается, например, «Грамматика» Дионисия Фракийца, учебник синтаксиса Аполлония Дискола, «*Ars grammatica*» Элия Доната и «*Institutiones grammaticae*» Прискиана и т. п. от современной нам «Грамматики русского языка», составленной сотрудниками Института языкознания АН СССР (М., 1952).

Мы здесь, конечно, намеренно предлагаем для сравнения с учебниками античных филологов «Граматику русского языка» как в большей мере отражающую достижения современного нам советского языкознания, чем, например, «Древнегреческий язык» С. И. Соболевского (1948) или «Грамматика латинского языка» (1938) того же автора.

Именно в наши дни следует пожалеть о том, что в «Очерках по языкознанию» так мало внимания уделено сравнительно-историческому языкознанию, сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, особенностям сравнительно-исторического метода. Об этом последнем сказано только в связи с так называемой генеалогической классификацией языков (стр. 251—267).

Здесь, конечно, нет необходимости еще и еще раз говорить об исключительной важности сравнительно-исторического метода для общего языкознания. Можно, однако, указать на то, что в нашей новой учебной литературе, как это ни странно, основы сравнительно-исторического языкознания излагаются все еще мимоходом и далеко не удовлетворительно. Нет ничего удивительного в том, что в учебнике 1945 года⁹ о сравнительно-историческом языкознании и о сравнительно-историческом методе не дано ясного понятия, но нельзя не удивляться тому, что в книге проф. А. С. Чико-

⁹ См. Р. О. Шор и Н. С. Чемоданов, Введение в языковедение, М., Учпедгиз, 1945 (ср. §§ 63 и 88).

бава «Введение в языкознание» (ч. I, М.; два издания — 1952 и 1953 гг.) об этой важнейшей отрасли языкознания говорится только между прочим и опять-таки лишь в связи с генеалогической классификацией языков (см. стр. 191—198).

Само собой разумеется, что сравнительно-исторический метод важен не только потому, что на основании его удалось доказать родство индоевропейских и других языков. Этот метод важен особенно потому, что, опираясь на него, можно установить законы или закономерности развития языков. Установление же их является главной задачей языкознания¹⁰.

Вообще проблема законов и закономерностей в развитии языков, к сожалению, далеко недостаточно освещена в «Очерках». Она, конечно, не сводится только к «вопросу о звуковом законе» (см. стр. 122 и сл.). А между тем было бы очень желательным и ценным, если бы автор книги высказал бы свое мнение о том, что называть законом или закономерностью в языкознании, в чем отличие законов развития языка от законов развития иных общественных явлений.

Советские языковеды, естественно, немало уже успели высказать соображений по поводу того, что следует различать общие законы развития всех языков и законы развития таких-то семейств, групп и отдельных языков.

Сделанные здесь замечания о некоторых недостатках в целом интересной книги проф. Р. А. Будагова вовсе не означают того, что мы не можем рекомендовать ее учащейся молодежи. Мы приветствуем инициативу, проявленную автором «Очерков по языкознанию» в деле популяризации некоторых разделов общего языкознания. Мы надеемся, что высказанные здесь соображения помогут впоследствии сделать автору эту свою книгу еще более полезной во втором ее издании. Для нас самое главное то, чтобы читатель рассмотренной книги правильно понял, каковы наиболее важные проблемы в области языкознания, какими средствами располагает эта наука для решения своих основных задач, что составляет содержание ее основных разделов.

У читателя «Очерков по языкознанию» может остаться превратное представление о том, что в центре всех проблем современного нам языкознания находятся проблема слова и его «значений» и проблема грамматических категорий. Поэтому автор поступил бы правильнее, если бы точнее определил место тех проблем, которые он подробно рассматривает в своей книге среди прочих наиболее важных вопросов науки о языке.

А. А. Белецкий

Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (в трех томах).—Изд. АН СССР, 1953. 93 стр. (Ин-т языкознания.)

Создание трехтомного «Словаря современного русского литературного языка» явится событием большого научного и общественного значения. Вопросами языка интересуются в нашей стране не только ученые-языковеды, но и представители самых разнообразных профессий, люди разного возраста и образования. Нормативный толковый словарь, настольная книга каждого культурного человека, является необходимым орудием развития и совершенствования культуры устной и письменной речи.

Последний полный академический словарь вышел более ста лет тому назад¹. Начатый в конце XIX в. большой академический словарь не был доведен до конца, план его несколько раз менялся; нормативным был только первый том, который редактировал акад. Я. К. Грот (буквы А — Д)².

Вышедшие в советское время два толковых словаря русского литературного языка не могут полностью удовлетворить всех запросов современного читателя. Первый из этих словарей — четырехтомный, под ред. Д. Н. Ушакова³ — охватывает большое количество слов и выражений (около 90 000 слов). Выдающийся лексикографический труд для своего времени, словарь этот в настоящее время в значительной своей части устарел. Однотомный словарь С. И. Ожегова⁴ отражает современное

¹⁰ См. И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 33—34.

¹ «Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. акад. наук», СПб., 1847.

² «Словарь русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. акад. наук», т. I, СПб., 1895.

³ «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, М.: 1-е изд.— 1935—1940; 2-е фотоофсетное изд.— 1947—1948.

⁴ «Словарь русского языка», сост. С. И. Ожегов, М., Изд-во иностр. и нац. словарей: 1-е изд.— 1949; 2-е изд.— 1952; 3-е изд.— 1953.

состояние языка и современные языковые нормы, но по охвату лексики (около 52 000 слов) и особенно фразеологии он не может заменить большого словаря.

Будущий трехтомный словарь «должен отразить те сдвиги⁵, которые произошли в словарном составе русского литературного языка, то новое, что в него внесено и вносится, и удовлетворить назревшую потребность в достаточно полном и в то же время широко доступном словаре современного литературного языка» (стр. 6)⁶. «Назначение трехтомного Словаря — дать нормы употребления слов, входящих в словарный состав современного русского литературного языка...» (стр. 7). Понятно, что такой словарь с нетерпением ожидается самыми широкими кругами читателей нашей страны. Словарь ждут также и за рубежом, прежде всего в странах народной демократии, где изучение русского языка приняло массовый характер. Трехтомный словарь несомненно окажет влияние и на построение, и на характер объяснений, и на системы помет в будущих толковых словарях других языков, так как опыт русской советской лексикографии всегда учитывался и учитывается в наших национальных республиках, а теперь и в странах народной демократии.

Все сказанное определяет значение будущего трехтомного словаря, а соответственно и те высокие требования, которые предъявит к нему советская общественность.

В вышедшей печатной «Инструкции» отражены основные принципы построения трехтомного словаря. Следует приветствовать прежде всего самый факт опубликования инструкции, позволяющий ознакомиться с ней довольно широкому кругу лиц, так или иначе заинтересованных в успехах словарного дела.

Каждая словарная инструкция имеет не только практическое значение — применительно в данному словарю, но и теоретическое — для лексикографии в целом. Качество инструкции, четкость ее положений и всесторонний охват вопросов, возникающих при составлении и редактировании словаря, во многом предопределяют и качество самого словаря, единство его структуры.

«Инструкция», как это отмечается и в предисловии, составлена «на основе учета опыта предшествующих толковых словарей русского языка» (стр. 3), главным образом четырехтомного «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова и однотомного «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. В «Инструкции» заметно влияние и вводных статей к этим словарям. Кроме того, в ее построении и в формулировках отдельных параграфов есть прямая зависимость от «Проекта Словаря современного русского литературного языка» (М.—Л., 1938). В работе использованы также «Инструкция для редакторов, составленная С. П. Обнорским» (М.—Л., 1936) и рукописный «Проект инструкции для Словаря современного русского литературного языка в 14 томах» (1952).

Кроме предисловия и введения, «Инструкция» содержит восемь глав, посвященных подбору слов в словаре, структуре словаря, подаче омонимов, вопросам смысловой и стилистической характеристики слов, фразеологии, иллюстративному материалу, вопросам грамматической характеристики слов, орфографии и ударения.

Первая глава («Подбор слов в словаре», §§ 1—27) посвящена одному из самых основных вопросов составления любого словаря — вопросу о словнике, его составе, о принципах отбора слов для словаря данного типа. Авторы «Инструкции» хорошо понимают трудности, стоящие перед составителями трехтомного нормативного словаря, и стараются возможно более точно определить его состав, перечисляя основные разряды слов, как включаемых, так и не включаемых в словарь (см. §§ 1—27 1-й главы). Но не все здесь можно признать удачным.

Прежде всего, пользоваться этим разделом «Инструкции» очень трудно. Во-первых, целый ряд категорий слов не назван вовсе. Так, ничего не сказано об установках авторов относительно принципов включения в словарь иноязычных слов (говорится только о заимствованных приставках, § 23), собственных имен различных типов (вопрос о таких словах неизбежно встает при дальнейшем ознакомлении с «Инструкцией», так как встречаются примеры, содержащие имена собственные; см., например, стр. 64 и др.). Ничего не говорится о включении производных слов с продуктивными суффиксами лица: *-ик* (типа *низовик, трестовик, правовик*), *-тор* (типа *дезинфектор, экспедитор*), *-ант* (типа *диспутант, концертант*) и многих других. Производным словам вообще уделяется мало внимания, а между тем специальное рассмотрение этого важного вопроса во многом помогло бы при составлении словника⁷.

Во-вторых, все основные пункты данной главы изложены слишком общо: они не детализированы применительно к типу среднего словаря, каким явится трехтомный

⁵ Точнее следовало бы говорить не о «сдвигах», а об изменениях в словарном составе языка.

⁶ Здесь и дальше в тексте в скобках даны ссылки на страницы или параграфы «Инструкции».

⁷ Ср. §§ 46, 56, 95 и другие в статье «Как пользоваться словарем» в 1-м томе «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, в которых оговорены различные категории производных слов, не подлежащих включению в словарь.

словарь в отличие от большого четырнадцатитомного академического словаря. Трехтомный словарь должен, в отличие от большого словаря, включить с возможной полнотой а к т и в н у ю лексику современного русского языка. Между тем, если сопоставить инструкции к обоим словарям, то такие вопросы словника, как вопрос о терминах, о просторечных, областных словах, в обеих инструкциях решаются одинаково и чуть ли не в тех же выражениях. Иногда может даже создаться впечатление, что трехтомный словарь по отдельным категориям слов будет полнее, чем четырнадцатитомный. Так, например, § 14 первой главы «Инструкции» гласит: «Из этнических имен и названий жителей стран включаются в Словарь наименования: а) общеизвестных современных народов...; б) исчезнувших народов и племен, игравших роль в истории народов СССР или в мировой истории и упоминающихся в современной научно-исторической литературе...» (стр. 15).

Во введении к 1-му тому большого словаря читаем: «Из этнических имен и названий жителей стран, как правило, включаются в Словарь наименования: а) общеизвестных современных народов...; б) исчезнувших народов и племен, сыгравших крупную роль в истории народов СССР или в общей истории культуры...»⁸ Итак, большой словарь будет включать только названия тех исчезнувших народов, которые сыграли крупную роль в истории; трехтомный словарь будет содержать все наименования этого рода, упоминающиеся в современной научно-исторической литературе.

В-третьих, приведенные примеры, иллюстрирующие тезисы о включении или невключении той или иной категории слов, мало помогают в уяснении состава и характера словника. Примеров в инструкции должно быть больше и состав их должен быть разнообразнее. Каждый пример в инструкции является представителем целой категории слов в словаре, а потому в ней не может быть случайных, малопоказательных, нехарактерных или спорных примеров. К сожалению, именно таких примеров в «Инструкции» много. Так, например, для пояснения тезиса об устаревших словах, не подлежащих включению в словарь, приводятся три существительных и два наречия: *архалук*, *берковец*, *тулумбас*, *одесную*, *ошую*⁹. Слово *берковец* показывает, что в словарь не войдут названия старых русских мер (совершенно напрасно, их всего несколько: *верста*, *десятина*, *четверик*, и некоторые другие). Слова *архалук* и *тулумбас* являются названиями конкретных предметов. Слово *архалук* не обязательно в словаре, но как пример данного разряда слов в инструкции оно не показательно, так как достаточно широко представлено в художественной литературе (оно есть у Лермонтова, Тургенева, в пьесе братьев Тур «Софья Ковалевская»). Примеры на наречия семантически однородны, поэтому один из них лишний. Многие категории старинных слов никак не иллюстрируются.

Остановимся подробнее на некоторых параграфах первой главы. Напрасно, как нам кажется, исключаются из словаря названия жителей городов и местностей (§ 16). Известно, что при образовании целого ряда таких наименований часто возникают недоуменные вопросы (ср. *харьковец* или *харьковчанин* и т. п.). Включение подобных наименований в нормативный словарь было бы уместно еще и потому, что данная категория слов не вошла ни в толковый словарь под ред. Д. Н. Ушакова, ни в словарь С. И. Ожегова, ни даже в большой четырнадцатитомный словарь.

Слишком общи, неразвернуты §§ 2, 3, 7, 8, 12, 13. Так, § 2 посвящен очень актуальному для словаря современного литературного языка вопросу — принципам отбора специальной и терминологической лексики. «При отборе для Словаря терминов, — говорится здесь, — решающей должна быть общественная роль того или иного термина, но отнюдь не важность его в системе понятий данной науки или отрасли техники. Поэтому, оставляя в стороне узко специальные термины, Словарь включает термины, вошедшие в общеупотребительный словарный состав современного русского литературного языка» (стр. 12)¹⁰. Здесь имеются в виду «... термины, входящие в соответствующие учебники, предназначенные для общеобразовательной школы, а также термины, относящиеся к наукам, не входящим в учебные планы общеобразовательной школы, но употребляемые в научно-популярной литературе и общей прессе» (стр. 12—13). Во-первых, важность термина в системе понятий данной науки и его общественная роль обычно совпадают; во-вторых, нам кажется, что не всякий термин из любого школьного учебника и любой научно-популярной брошюры или газетной статьи должен включаться в словарь данного типа, а только такой, который часто встречается и обозначает основные понятия данной отрасли знания.

⁸ «Словарь современного русского литературного языка», т. 1, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. VI.

⁹ Следовало бы привести правильную славянскую форму *ошуюю*.

¹⁰ Ср. в ст. С. И. Ожегова «О трех типах толковых словарей современного русского языка»: «... решающим моментом для отбора терминов должна быть не важность термина в системе понятий данной науки или отрасли техники, а его общественная роль» («Вопросы языкознания», 1952, № 2, стр. 100). Правда, это положение здесь аргументируется несколько иначе, чем это сделано в «Инструкции».

Не вносят ясности в вопрос об отборе терминологической лексики и приводимые в § 2 примеры. Прежде всего их мало, к тому же объединяются в один ряд термины, относящиеся к самым разнообразным областям знания. Так, в пункте «а» иллюстрируются сразу «общественно-политическая лексика, официально-деловая и дипломатическая». В пункте «б» — терминология «промышленности, техники, производства, сельского хозяйства, здравоохранения»¹¹. Примеры часто относятся лишь к отдельным, повидимому, случайно выбранным разделам данной области знания; так, например, из области здравоохранения приведено 6 слов: *рентген, стетоскоп, терапевт, окулист, сульфидин, акрихин*. Не названо ни одного отдела медицины, ни одного наименования болезни, лечебного приема, процедуры.

Параграф 7 гласит: «В Словарь включаются лишь те просторечные слова, которые вошли в широкий обиход и встречаются в современной литературе». Примеров не приводится совсем. Вопрос о включении просторечных слов в нормативный словарь имеет принципиальное значение. На нем следовало бы остановиться подробно, перечислить категории просторечных слов, подлежащих включению в трехтомный словарь, в отличие от четырнадцатитомного¹², дать разнообразные примеры. Составители «Инструкции» обошли весь этот круг вопросов и по существу ничего не сказали о месте просторечных слов в будущем трехтомном словаре.

В § 13 следовало указать, даются ли самоназвания народностей, а также прежние названия народностей, встречающиеся в художественной и неспециальной литературе (ср. *гольды* и *нанай* или *нанайцы*; *нымыланы* и *коряки*; *самоеды* и *ненцы* и др.).

Только влиянием «Проекта Словаря» (1938) можно объяснить ненужное указание на включение таких сложных слов, как *снегопад, сталевар, теплотход, пятилетка, самолет* и др. (§ 19); необходимость включения их в словарь любого типа не вызывает ни малейшего сомнения¹³. То же относится и к уменьшительным по происхождению словам типа *вилка, чашка, карлик, теплушка* (§ 26). С другой стороны, в «Инструкции» ни слова не сказано о принципах включения сложных прилагательных типа *народнодемократический, народнохозяйственный, широколиственный, малоупотребительный, дико растущий, труднопроходимый, светлосеялый, яркокрасный, пепельносерый, бледновато-розовый, отчетно-выборный, восьмичасовой* и т. п. Между тем практически часто бывает трудно решить, включать или не включать тот или иной тип сложных прилагательных в словарь. За включение их говорит такое немаловажное для нормативного словаря обстоятельство, каким является не всегда ясное правописание сложных прилагательных.

В первой главе «Инструкции» многое остается неясным, недосказанным, нечетко выраженным. Отчасти это может быть объяснено отсутствием конкретных лексикологических исследований. Известную помощь составителям словаря могло бы оказать предварительное составление отдельных словников для разных названных выше групп слов.

Вторая глава «Инструкции» («Структура словаря», §§ 1—18) содержит описание построения словаря. Словарь строится в духе русской лексикографической традиции, ближе всего к структуре четырехтомного толкового словаря под ред. Д. Н. Ушакова. Глава изложена достаточно ясно и подробно. Жаль только, что ее материал никак не связывается и не соотносится с другими главами, особенно с VII главой, посвященной грамматической характеристике слова. Серьезным упущением является неразработанность вопроса о ссылках. Неясно, будут ли даваться ссылки при косвенных падежах личных местоимений (например: *меня* см. *я*; *его* см. *он*; *тобой* см. *ты* и т. п.); будут ли ссылки на своем алфавитном месте при названиях народностей (например: *индианка* см. *индейцы*; *индианка* см. *индийцы*); как будут даваться ссылки при орфографических вариантах, как будет оформлена ссылка (ее общий характер, шрифты, пометы и т. п.). Составители напрасно отказались от ссылок в случаях чередования фонем (§ 16), тем более, что для ограниченного числа слов они даются (§ 18). В ряде случаев такие ссылки были бы полезны (особенно для лиц, не вполне владеющих русским языком).

Третья глава «Инструкции» («Омонимы», §§ 1—2) посвящена одному из самых спорных вопросов современной лексикографии — принципам разграничения омонимов в толковом словаре русского языка. Очень хорошо, что составители «Инструкции» вы-

¹¹ Из области сельскохозяйственной терминологии здесь нет ни одного примера, зато присутствуют составные названия (*отбойный молоток, горный комбайн*), о которых специально должно говориться в V главе, а также профессиональные наименования лиц (*окулист* и пр.), которым специально посвящен следующий параграф (§ 3).

¹² Во введении к 1-му тому большого словаря о просторечных словах говорится то же самое: «Широко употребительная просторечная лексика включается в Словарь с соответствующими пометами» (стр. V).

¹³ В инструкции 1938 г. к четырнадцатитомному словарю оговорка о самостоятельной подаче на своем алфавитном месте сложных слов объясняется гнездовой системой построения словаря.

делили этот вопрос в самостоятельную главу. В «Инструкции» совершенно правильно выдвигается в качестве основного принципа выделения омонимов структурно-семантический анализ слова¹⁴. В будущем словаре выделяются три группы омонимов. Первая группа — омоформы: «слова, совпадающие по звучанию в одной или нескольких присущих им формах и расходящиеся в других». В этой группе выделяются: а) «слова, принадлежащие к различным частям речи» (например: *пасть* — существительное и т. п.); б) «глаголы, совпадающие в форме инфинитива и в формах, производных от основы инфинитива, и различающиеся в прочих формах» (например: *жсать* — *жсну* и *жсать* — *жсму*); в) «глаголы, совпадающие по звучанию в одной из видовых форм, но отличающиеся в другой; глаголы, совпадающие по звучанию в противоположных видовых соответствиях» (например: *прорывать* — несов. к *прорвать* и *прорывает* — несов. к *прорыть*; *искупать* — несов. к *искупить* и *искупать* — сов. к *купать*).

Вторая группа — «слова разного происхождения, совпавшие по звуковому облику во всех своих формах». В этой группе выделяются две подгруппы. Первая — слова непроизводные, среди них — «слова, пришедшие из разных языков» (например: *бак* «часть палубы» и *бак* «сосуд»), «слова русские и слова иноязычные» (*клуб* «общественная организация» и *клуб* «шарообразная масса»), «русские слова различного происхождения» (например: *лук* «растение» и *лук* «оружие»)¹⁵. Во вторую подгруппу выделены «слова, производные от разных слов или слов-омонимов» (существительные: *кабачок* «овощ» и *кабачок* «ресторанчик» и др.; прилагательные: *железистый* «содержащий железо» и *железистый* «относящийся к железу»; глаголы: *бронировать* «покрывать броней» и *бронировать* «предоставлять броню»).

Третья группа — «слова общего происхождения, у которых разрыв семантических связей сочетается с установлением структурных особенностей». Здесь выделяются слова непроизводные (например: *мир* «вселенная» и *мир* «отсутствие вражды») и производные (отглагольные имена: *завод* «промышленное предприятие» и *завод* «действие по глаголам *заводить*, *заводиться*»; образования с суффиксами лица или предмета от глагольных и глагольно-именных основ: *наушник* — предмет и тот, кто наушничает; производные прилагательные: *примерный* «образцовый» и *примерный* «приблизительный»; производные глаголы: *донести* «неся, доставить куда-либо» и *донести* «сделать доносение, донос»). В третью группу включены также глаголы с омонимическими приставками (например, с приставкой *за-*). Заметим кстати, что или в этой главе, или в главе, посвященной структуре словаря, нужно было показать, как будут даваться в словаре подобные омонимические приставки, а также будут ли в словаре представлены как омонимы отдельные омонимические морфемы (например: *ком-* «коммунистический» и «командный», *авто-* «автомобильный» и «автоматический» и т. п.).

Предлагаемое деление омонимов на типы не представляется нам убедительным. Здесь смешаны два разных подхода к омонимам — с точки зрения исторической и с точки зрения современного употребления. Кроме того, в первом разделе «Инструкции» наряду со случаями вроде *мол* — латинское по происхождению существительное и *мол* — собственно русское вводное слово, *пасть* — существительное и *пасть* — глагол, *простой* — существительное и *простой* — прилагательное даются такие примеры, которые сюда совершенно не относятся, например: *рабочий* — прилагательное и *рабочий* — существительное, между тем, пользуясь именно такими характерными словами, как *рабочий*, следовало показать, почему данные слова в современном языке — омонимы, а слова *больной*, *раненый* — многозначные слова. Нужно было определить, чем должен руководствоваться составитель при подаче подобных слов в словаре.

По происхождению в языке существуют не три, а две категории омонимов: омонимы этимологические, т. е. совпавшие в своем звучании некогда разные слова, и омонимы исторические, т. е. образовавшиеся из разных значений одного и того же слова в процессе языкового развития¹⁶.

Первый тип омонимов (этимологические) в словарной практике обычно особых трудностей не представляет, так как и этимологический, и семантический анализ слова позволяет сравнительно легко решить вопрос об омонимичности этих слов; трудности здесь единичны — лишь в случаях неясной или спорной этимологии.

¹⁴ Среди различных структурных особенностей подчеркиваются словопроизводственные отношения.

¹⁵ Заголовок данного подраздела следовало бы сформулировать иначе, например: «Русские слова, совпавшие в своем звучании в результате различных фонетических процессов», так как в свете приведенного примера (*лук*) указание на «различное происхождение» может быть понято как указание на разную этимологию слов.

¹⁶ Подробнее об этом см. в цитированной выше статье С. И. Ожегова «О трех типах толковых словарей современного русского языка», а также в его статье «Вопросы лексикологии и лексикографии», «Труды Ин-та языка и лит-ры АН Латвийской ССР», II, Рига, 1953, стр. 107—122.

При выделении омонимов второго типа (исторических) возникают значительные трудности теоретического характера. «Вопросы семантического словообразования», — пишет акад. В. В. Виноградов, — у нас почти не были предметом историко-лингвистического исследования. И это обстоятельство самым плачевным образом сказывается на теории и практике лексикографии. Смещение омонимов — типичный недостаток большей части наших толковых словарей¹⁷. При установлении омонимии в этих случаях рассуждение должно идти от обнаружения основного признака омонимии к обязательному анализу структурных особенностей слова.

Основным признаком омонимов с точки зрения современного словоупотребления является полная самостоятельность значений. Например: *класс* «общественная группа людей» и *класс* 1) «группа учащихся», 2) «классная комната», 3) «разряд», 4) «подразделение в различных классификациях» и т. п.; *брак* «супружество» и *брак* «изъян в чем-либо»; *печь* (существительное) и *печь* (глагол); *только* (наречие), *только* (союз) и *только* (частица); *а* (союз), *а* (частица) и *а* (междометие). Семантическая разобщенность омонимов обычно сопровождается разными словопроизводственными отношениями и морфолого-синтаксическими различиями (последнее особенно ясно выражено у омонимов — разных частей речи). Например: *мир* — соотносительное с *мировой*, и *мир* — соотносительное с *мирный*, *мирит*; *завод* — соотносительное с *завести*, *заводной* и *завод* — соотносительное с *заводский*, *заводчик*; *массировать* — от *массаж* и *массировать* — от *масса*; *критический* — от *кризис* и *критический* от *критика*; *жрать* — *жну*, *жнешь* и т. д. и *жрать* — *жму*, *жмешь* и т. д.

Четвертая глава «Инструкции» (Смысловая и стилистическая характеристика слов), §§ 1—47 — одна из самых важных для толкового словаря.

В первом разделе, посвященном принципам толкования слова, правильно подчеркивается, что «основной и главной задачей словарной статьи является смысловая характеристика слова» (§ 1, стр. 30), а в построении словарной статьи особенно существенно «правильное выделение и определение отдельных значений слова, а также установление верного соотношения между значением и оттенками значения» (§ 4). Не вызывает возражений и предлагаемый порядок размещения значений с вынесением при определенных условиях на первое место прямого значения (§ 5), общеупотребительного значения (§ 6), наиболее общего значения (§ 7).

«В зависимости от тематических групп лексики» выделяются следующие типы определений слов (§ 13): а) «сжатое истолкование слова» для объяснения глаголов, прилагательных, наречий, отвлеченных существительных и т. п.; б) «краткая характеристика обозначаемого предмета» — для существительных конкретно-предметного значения; в) «краткое определение энциклопедического характера» — для слов, обозначающих «особо важные политические и философские понятия».

Приведенные в § 17 образцы толкований производных слов в основном отвечают задачам трехтомного словаря, однако отдельные случаи вызывают возражения. Так, например, определять *сладость* только как «качество сладкого» (стр. 36) нельзя, потому что пропадают такие основные значения слова, как «сладкий вкус» (*в тесте мало сладости*), «сласть» (*восточные сладости*). Нужно также иметь в виду, что определения данного типа (а также типа: *смело* — нареч. к *смелый*) обычно не удовлетворяют пользующихся словарем, так как определения типа «качество, свойство чего-то» (сладкого, клейкого и т. п.) по существу являются не толкованиями слов, а особого рода отсылками к другим словам. Прибегать к подобным определениям можно только в случаях полного соответствия между значениями слов. В словах *обсуждение*, *накопление* отмечены только отвлеченные значения действия и не отмечены их другие производные от отвлеченных значения.

Специальными приложениями (стр. 50—57) даются типовые толкования различных групп относительных имен прилагательных, а также названий растений и животных¹⁸.

Относительно толкований терминов в «Инструкции» говорится: «Специальные (научные или технические) термины определяются на основе научно-технических словарей и справочников... Характер определений специальных терминов зависит от смыслового содержания определяемого слова, от соотношения между специальным его значением и значением общелитературным» (§ 14, стр. 34). «Если слово в спе-

¹⁷ В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (На материале русского и родственных языков), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 146.

¹⁸ Заметим попутно, что слово *овца* толкуется по установившейся традиции только как «самка барана», основное же определение дается на слово *баран*. В данном случае, исходя из положения «Инструкции» — давать полные определения при одинаковой хозяйственной ценности и при названии самца, и при названии самки (§ 21, стр. 57, ср. там же объяснения слов *бык* и *корова*), следовало бы дать развернутое определение. Слово *овца* в русском языке не менее развито по своему употреблению и словообразовательным связям, чем слово *баран*. Ср. *стада овец* (*стадо баранов* — теперь только в переносном значении), *романовские овцы*, *овцевое* и т. п.

циальном и в общелитературном употреблении имеет одно и то же основное значение, то оно определяется на основе общелитературного его понимания, согласованного с научным определением» (§ 15, стр. 34). С полным основанием отказываясь от энциклопедического толкования терминов, несовместимого с задачами толкового словаря, составители вместе с тем подчеркивают, что объяснения слов должны быть согласованы с научными определениями соответствующих понятий. Это последнее положение нарушается уже в «Инструкции». Объяснения некоторых терминов создают впечатление, что в будущем трехтомном словаре научное определение и «общелитературное понимание» слова не всегда будут приведены в необходимое соответствие. Остановимся на толкованиях двух терминов. О слове *баобаб* сказано: «Гигантское тропическое дерево с чрезвычайно толстым стволом» (§ 6, стр. 53). На самом деле это дерево сравнительно невысокое — всего 18—25 м (тогда как эвкалипты достигают 155 м, пихты — 75 м, сосны — 50 м); оно отличается двумя основными свойствами: толщиной ствола и долголетием (о последнем в определении ничего не сказано). Составной термин *вулканическая бомба* объясняется следующим образом: «кусок лавы, вылетающий из кратера вулкана вслед за газами и во время полета приобретающий округлую форму» (стр. 65). На самом деле наряду с округлой формой также часто встречаются веретенообразные, лентообразные и лепешкообразные формы вулканической бомбы. Следовало или вообще о форме умолчать, или сказать: «...приступающий разнообразную форму». Определение в толковом словаре никак не должно противоречить фактам; оно должно быть филологическим (в отличие от энциклопедического) и научно-популярным одновременно.

При определении названий животных и растений составители отказываются от указаний на семейство животных или растений: они считают, что такие указания «мало помогают толкованию значения...», а иногда и затрудняют понимание определяемого слова» (§ 2, стр. 53). «Указание на семейство дается в Словаре только в том случае: а) если семейство в целом имеет важное хозяйственное значение...; б) для наименований редких животных и растений, мало известных в пределах нашей страны...» (§ 3, стр. 53). Легко заметить, что § 2 противоречит § 3. С другой стороны, в разрез с положением § 3, указание на семейство дается при слове *тигр* (стр. 68), хотя тигр и все семейство кошачьих не имеет важного хозяйственного значения и не является редким или малоизвестным животным.

Мы считаем, что указание на семейство полезно в тех случаях, когда оно помогает пониманию слова (например, указание на семейство кошачьих, семейство оленей, семейство лососевых), когда оно сразу соотносит незнакомое слово со знакомым, употребительным словом (например: *кабарга* — семейство оленей). Следует также помнить, что указание на семейство позволяет читателю легко найти соответствующие сведения в специальном справочнике.

«Приложение», посвященное определению специальных ботанических и зоологических терминов, разработано достаточно подробно, но целый ряд второстепенных вопросов все же нуждается в уточнении. Так, например, в объяснениях слов *земляника*, *астра*, *акация* и др. есть указание на запах, а при словах *авалия*, *георгин* и др. такое указание отсутствует. Нужно было оговорить, в каких случаях дается указание на запах, на окраску растения, на размер, окраску животного и т. п.

Типы пробных толкований названий растений и животных, а также относительных прилагательных разработаны в «Инструкции» подробно, хотя в самих формулировках нет ничего принципиально нового.

Нужно, чтобы соответственно были разработаны и толкования других категорий слов. Прежде всего это относится к общественно-политическим терминам. О них в «Инструкции» говорится всего несколько слов: «... краткие определения энциклопедического характера ... применяются лишь по отношению к словам, обозначающим особо важные политические и философские понятия (*ленинизм*, *материализм*, *государство* и т. п.)» (§ 13, стр. 33). В примечании говорится: «В тех случаях, когда в сочинениях классиков марксизма-ленинизма имеются определения философских и политических понятий или терминов, то в качестве истолкования приводится цитата, содержащая это определение» (стр. 33—34). Сказанного совершенно недостаточно. Следовало дать образцы толкований основных философских, политических, экономических и других терминов (например: *время*, *материя*, *диктатура*, *империализм*, *стоимость*, *производство*). Нужно подчеркнуть, что в «Инструкции» менее всего разработаны разделы, касающиеся отбора и толкования общественно-политической лексики — категории слов, которая должна быть разработана в словаре особенно четко.

В «Инструкции» ничего не говорится о приемах толкования целого ряда категорий слов и типов значений. Следовало бы дать типовые толкования слов — названий предметов домашнего обихода, хозяйства и хозяйственных принадлежностей, музыкальных инструментов, типов толкований названий современных и исчезнувших народов, народностей и племен, традиционных народных и религиозных обрядов, а также типовые толкования производных значений слова. Все это — трудные вопросы словарной практики. Здесь составителям «Инструкции» так же, как и в других разделах,

следовало обобщить и по возможности усовершенствовать опыт существующих словарей.

Отсутствие подобных обобщений приводит к разнобою уже в пределах самой «Инструкции». Так, например, в рассеянных в разных местах и по разному поводу формулировках названий лиц то употребляется оборот «тот, кто...», то конкретное существительное. Ср. *коновод* «тот, кто присматривает за лошадьми» (стр. 25), *побратим* «тот, кто вступил в побратимство» (стр. 48), *борзопишес* «тот, кто пишет быстро, наспех...» (стр. 49), но *маркер* «лицо, прислуживающее при игре на бильярде» (стр. 28), *дойрка* «работница, которая доит коров и ухаживает за ними» (стр. 37). Нам представляется целесообразной во всех случаях замена неопределенного и расплывчатого оборота «тот, кто...» точным и определенным в каждом конкретном случае опорным существительным («специалист», «работник», «лицо», «лицо или учреждение» и т. п.).

Во втором разделе четвертой главы («Стилистическая характеристика слов», §§ 18—47) излагаются правила применения в трехтомном словаре стилистических помет.

Словарь, рассчитанный на 90—100 тысяч слов, должен с достаточной полнотой отразить стилистическое многообразие современного русского языка. Задача нормативного словаря — не только истолковать слово, но и правильно охарактеризовать, показать его стилистическую окраску. Как подчеркивается в «Инструкции», словарь «... должен дать указания в тех случаях, когда слово или одно из его значений строго ограничено в своем употреблении определенным стилем речи и этим отличается от других слов словарного состава, а в некоторых случаях даже противостоит слову нейтрального слоя, представляя собой его стилистический дублет. Особенно важными являются указания на те слова, которые стоят на границе литературного языка» (стр. 10).

Система стилистических помет, принятая в «Инструкции» (§ 22, стр. 40), совпадает с системой помет, принятых в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, кроме пометы «высок», заимствованной из словаря С. И. Ожегова. Но в трехтомном словаре вполне обоснованно исключаются эмоционально-оценочные пометы — «пренебрежительное», «презрительное», «неодобрительное», часто ошибочно употребляемые в словарях по отношению не к значению слова, а к тому, что этим словом обозначается (например, помета «презр.» при слове *трус*).

В «Инструкции» указываются общие признаки стилистически окрашенных слов в отличие от слов нейтральных, подчеркивается разница между просторечными словами и разговорными, намечаются разряды книжных слов и т. д. В «Инструкции» правильно отмечается разница между устарелыми словами (типа *арал*, *стихотворец*) и словами, обозначающими понятия и предметы исторического прошлого (§§ 40, 41, 42). Следует приветствовать сопровождение последних пояснительными указаниями: «в древней Руси» (при слове *посадник*), «в старину» (при слове *пославец*), «в дореволюционной России» (при словах *сословие*, *чиновный*), «в древней Греции» (при слове *ритор*) и т. п. Подобные указания, но уже на область применения, даются при словах-терминах (§ 44), например, при словах *амфибразий*, *бруствер*, *бур*. Помета «спец.» дается при терминах, область применения которых по каким-либо причинам трудно указать или если данный термин известен в ряде областей (например, при словах: *таксация*, *эталон*, *талл.*) В данной главе следовало бы привести не только перечень помет, но и перечень всех возможных пояснительных указаний. Такие указания применялись в старых русских академических словарях, подробно были разработаны в четырехтомном словаре под ред. Д. Н. Ушакова и в словаре С. И. Ожегова.

Пятая глава «Инструкции» («Фразеология», §§ 1—32) посвящена вопросу отбора фразеологических единиц и принципам их размещения в словарной статье. Отмечая, что «вследствие неизученности вопроса, в настоящее время невозможно дать полную научную классификацию входящей в словарь фразеологии» (стр. 59), авторы все же дают общий перечень групп фразеологических единиц, подлежащих включению в словарь.

По «Инструкции», в словарь включаются устойчивые сочетания-термины (*классовая борьба*, *горный комбайн*, *точка кипения* и т. п.), составные названия предметов (*почтовый ящик*, *белый гриб*, *зуб мудрости* и др.), устойчивые глагольные сочетания, «в которых глагол выполняет грамматическую функцию, а существительное — лексическую» (типа *принять постановление*, *одержать победу* и др.). В словарь также войдут крылатые выражения (*человек в футляре*, *тришкин кафтан* и т. п.), выражения, связанные с историческими событиями (например, *мамаево побоище*), с мифами (например, *яблоко раздора*), с религиозными текстами (*козел отпущения*, *притча во языцех* и т. п.). В словаре будет представлена «идиоматика устного народного творчества» (*за тридевять земель*, *как белка в колесе* и др.), цельные экспрессивные выражения (*скрутить в бараний рог*, *дело табак* и т. п.). Будут отражены и сочетания слов, употребляющиеся в роли наречий, предлогов, союзов (например, *в силу*, *тем не менее*, *как раз* и др.), а также сочетания слов, выступающие в речи в значении вводных слов (например, *так сказать*, *во всяком случае*). На правах фразеологии включаются в сло-

варь поговорки, употребляющиеся в языке как привычные выражения (например, *кто в лес, кто по дрова; пройти сквозь огонь и воду*).

Разнообразие и обилие фразеологических сочетаний создает большие трудности при размещении их в словаре, поэтому составители «Инструкции» уделяют большое внимание вопросу расположения фразеологии.

Перед составителями и редакторами словаря встают вопросы: под каким словом давать тот или иной фразеологический оборот и где помещать его в пределах словарной статьи. Опыт имеющихся уже словарей в этом отношении дает сравнительно немного, так как принципы размещения фразеологического материала, как правило, не выдерживаются ни в одном из имеющихся русских толковых словарей. Причина здесь — не только в неразработанности вопроса, но и в специфике самого материала.

В «Инструкции» недостаточно четко выделены основные типы русской фразеологии: фразеологические сращения, фразеологические единства, устойчивые фразеологические сочетания¹⁹. Отсюда, на наш взгляд, расплывчатость и неясность отдельных предложений составителей по размещению фразеологических оборотов. Во фразеологическом сращении выделить опорное слово невозможно, так как основным признаком сращения является «семантическая неделимость, абсолютная невыводимость значения целого из компонентов»²⁰. Немногим легче выделить опорное слово во фразеологическом единстве, так как самостоятельные значения составляющих его слов приглушены. Потому-то так трудно бывает решить, под каким словом давать подобные выражения в словаре.

В «Инструкции» предлагаются различные способы размещения фразеологических единиц по смысловому признаку или по грамматически главенствующему слову. Фразеологические сочетания будут даны в трехтомном словаре под соответствующим связанным значением, например: *щекотливый вопрос*, *щекотливое положение* — под словом *щекотливый*; *растяжимое понятие* — под словом *растяжимый* (§ 14). По смысловому признаку будут располагаться выражения, в которых «легко обнаруживается смысловой центр, т. е. слово, сосредоточивающее на себе смысл выражения» (стр. 60), например: *телячий восторг* — под словом *телячий*, *во всяком случае* — под словом *всякий*, *точка зрения* — под словом *зрение*, *яблоко раздора* — под словом *раздор* и т. д.

По грамматически главенствующему слову, а также по первому по порядку слову будут помещены выражения, в которых невозможно выделить наиболее значимое в смысловом отношении слово: *дать знать*, *дать понять* — под словом *дать*; *голова идет кругом*, *кот наплакал* — под словами *голова*, *кот*; *куда ни шло* — под словом *шло* и т. д.

Идиоматические выражения, содержащие архаичные слова, будут помещены под этими словами, например: *точить ласы* под словом *ласы* (§ 16).

В изложенных положениях самым спорным является выделение «смыслового центра» в выражениях, представляющих собою фразеологические единства. Точнее было бы искать здесь образный стержень выражения. Акад. В. В. Виноградов пишет о фразеологических единствах: «Значение целого связано со смутным ощущением внутреннего образного стержня фразы, потенциального смысла слов, образующих эти фразеологические единства»²¹. Таким образным стержнем, например, в сочетании *яблоко раздора* является слово *яблоко*, и давать это выражение нужно под словом *яблоко*, а не под словом *раздор*, как это предлагается в «Инструкции», тем более, что это сочетание с неизменяемым порядком слов и искать его в словаре будут по первому слову.

К сожалению, в данном разделе, довольно подробно разработанном, не приведено целиком словарных статей на слова типа *глаз*, *рука*, *идти*, богатых фразеологическими сочетаниями, которые дали бы возможность наглядно показать приемы подачи в словаре разнообразного фразеологического материала.

Серьезным недостатком главы является также то, что составители не останавливаются специально на подаче и приемах объяснения сложных терминов общественно-политического характера типа *диктатура пролетариата*, *средства производства*, *народная демократия*, *буржуазная демократия*.

Шестая глава «Инструкции» («Иллюстрации в словаре», §§ 1—16) с достаточной полнотой описывает типы иллюстративных примеров, включаемых в трехтомный словарь.

Иллюстративные примеры, как правильно подчеркивается в «Инструкции», должны содействовать более полному раскрытию значения слова, указывать на сферу его употребления, подтверждать данную в словаре смысловую, грамматическую и стилистическую характеристику слова. Помимо иллюстративных примеров, составленных

¹⁹ См. В. В. Виноградов, Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины, в кн. «Труды юбилейной научной сессии» Ленингр. ун-та, Секция филол. наук, Л., 1946, стр. 45—69.

²⁰ Там же, стр. 51.

²¹ Там же, стр. 56.

авторами словаря на основании материалов картотеки (так называемых «речений»), в словаре будут помещаться и прямые цитаты из художественной, критико-публицистической, общественно-политической, научной и научно-популярной литературы (§§ 4, 5, 10).

Седьмая глава «Инструкции» («Грамматическая характеристика слова», §§ 1—65) посвящена вопросам объема и места грамматических сведений в нормативном словаре. Грамматические сведения даются здесь целиком в духе русской лексикографической традиции, ближе всего к грамматической структуре четырехтомного словаря под ред. Д. Н. Ушакова. В этом разделе очень подробно и всесторонне характеризуется подача существительных, прилагательных и глаголов, менее подробно — наречий. Другие же части речи, представляющие для словаря специфические трудности (например, союзы, предлоги, междометия), не разбираются совсем, если не считать указания на грамматические пометы при них. Ничего не говорится о их подаче и в других главах «Инструкции». Во всей инструкции нет ни одного примера словарной статьи на местоимение, числительное, союз, междометие. Поэтому читатель никак не может судить о приемах подачи этих частей речи в словаре. Единственный имеющийся в «Инструкции» пример на предлог («С, со. Предлог, употребляющийся с род., вин. и твор. падежами», § 61, стр. 90) только подтверждает предположение, что вопросам разработки и подачи служебных слов составители «Инструкции» не уделили никакого внимания.

Между тем в словарной практике характеристика значений и употребления междометий, частиц, предлогов, союзов представляет значительные трудности, осложняющиеся еще и тем, что слова эти, особенно морфологически неделимые предлоги и союзы, чрезвычайно многозначны. Особое значение в словаре приобретают и приемы иллюстрации этих частей речи.

Отметим еще один существенный недостаток этой главы. В «Инструкции» есть ссылки на отдельные параграфы академической «Грамматики русского языка»²², но нигде не сказано, что все грамматические сведения даются в согласовании с этой грамматикой. Больше того, если судить по примерам, в «Инструкции» немало расхождений с академической грамматикой, а многие вопросы, общие и одинаково важные и для нормативной грамматики и для нормативного словаря, обходятся. Так, например, в § 6 седьмой главы читаем: «Если в литературном языке какая-либо форма существует в двух вариантах или употребляется с двояким ударением, то в заголовке приводятся оба варианта ... например: Река́, -й, вин. ре́ку, мн. ре́ки...» (стр. 77). Но ведь форма *реку́* является разговорной²³; это нужно было оговорить.

В § 8 сказано: «Другие падежные формы (кроме именительного и родительного. — *Авт.*) приводятся только в случае изменения места ударения (по сравнению с родительным падежом единственного числа), при наличии двояких форм...» Среди примеров приводятся: *Дупло́, -а, мн. дупла́, дупл и дупел, дуплам; тя́гло, -а и тя́гло́, -а, мн. тя́гла, тя́гл и тя́гол, тя́глам* (стр. 78). В грамматике говорится: «В современном языке... предпочитают формы ... *дупл, дышл, ремесл, тягл* и т. п.»²⁴. Это указание академической грамматики в «Инструкции» тоже не принимается во внимание.

Необходимо устранить противоречия между академической грамматикой и академическим словарем. Нельзя допустить, чтобы два связанных между собою и дополняющих друг друга нормативных издания, выпускаемых одним научным учреждением, расходились в рекомендациях конкретных языковых норм.

При грамматических формах в трехтомном словаре совершенно напрасно не дается стилистических помет: это необходимо в словаре нормативного типа.

Ничего не говорится в «Инструкции» о подаче слов с колебаниями в роде (например: *ставень и ставня, рельс и рельса*), в личных формах (например: *тычут и тыкают, рыщут и рыскают*), о подаче слов общего рода (например: *со́ня, ту́пица, юла*), о грамматической характеристике аббревиатур (типа *МК, МТС*) и о целом ряде других важных грамматических вопросов.

Восьмая глава «Инструкции» («Орфография и ударение», §§ 1—10) занимает всего полторы страницы и обходит молчанием ряд очень существенных вопросов, встающих перед составителями нормативного словаря. Явно недостаточно внимания уделено вопросам правописания. Здесь говорится, что в словаре соблюдаются правила орфографии, утвержденные Министерством просвещения РСФСР для седьмого издания «Орфографического словаря» Д. Н. Ушакова и С. Е. Крючкова (стр. 92). Трехтомный словарь «будет заключать в себе от 90 до 100 тысяч слов» (стр. 5), а в «Орфографическом словаре» содержится всего около 12 000 слов. Орфографические правила, на которые ссылаются составители «Инструкции», очень общи и не касаются целого ряда существенных, иногда спорных вопросов орфографии и пунктуации. Какой, например, вариант написания будет принят для слова *вящий* (или *вящийся*),

²² «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952.

²³ См. «Грамматику русского языка», стр. 204.

²⁴ Там же, стр. 161.

отсутствующего в орфографическом словаре? ²⁵ Такие случаи в русской орфографии не единичны. Нормативный словарь немалым для решения орфографических вопросов. Нужно помнить, что читатель часто обращается к словарю именно для выяснения правильного написания слова. Нормативный словарь не может ограничиться и регистрацией употребительных написаний, иначе ему придется отойти и от указаний школьного орфографического словаря, так как такие «неправильные» написания, как *будничный, галлерей, эксплуатация*, не менее распространены в современной прессе и в художественной литературе, чем соответствующие «правильные» ²⁶. Известно, что в школьном орфографическом словаре есть несколько слов в двойном написании и что это явление временное, переходного характера. Составители академического словаря, не проанализировав таких двойных написаний, вводят орфографические варианты (стр. 92) в том виде, в каком они приняты в школьном словаре.

В словарной инструкции должны быть даны установки и для употребления прописных букв (например: *Крайний север* или *Крайний Север*, *Народная республика* или *Народная Республика*, *орден Красного знамени* или *Орден Красного Знамени* и т. п.), и для ряда других случаев, в которых наблюдается разноречие. При отсутствии четких решений этот разноречие может проникнуть и в текст самого словаря.

Перед составителями словаря, обязанными дать текст, унифицированный во всех отношениях, встает целый ряд затруднений и в вопросах пунктуации (как раз в таких, которые правилами не учитываются), в вопросах переноса слов (при короткой словарной строке число переносов в словаре по сравнению с другими печатными текстами утраивается). Нормативный словарь должен быть единообразным во всем. Нельзя, например, допустить, чтобы в одном случае был пример *белый как снег*, а в другом *труслив, как заяц*, хотя правила пунктуации разрешают оба написания (и с запятой перед сравнительным оборотом, и без нее). Вопрос об ударениях на заглавных словах также, в сущности, обходится составителями «Инструкции», так как для нормативного словаря совершенно недостаточно указаний типа: «В заголовочных словах проставляется ударение» (§ 7); «Если современный литературный язык допускает колебания в ударении, то в заголовке слово ставится с двумя ударениями» (§ 9). В области ударения необходимо использовать стилистические пометы и пометы «устарелое» и «областное» (там, где они необходимы). Ничего не говорится в «Инструкции» о случаях перехода ударения на предлог; неясно, будут ли они отмечены в словаре.

В § 10 сообщается: «Указания на произношение в Словаре не даются» (стр. 93). Об этом приходится только пожалеть. После четырехтомного словаря под ред. Д. Н. Ушакова, в котором были найдены удобные и ясные формы указания на произношение там, где это нужно, вряд ли можно признать оправданным отказ составителей академического словаря от выполнения одной из своих прямых и первостепенных обязанностей. От академического словаря мы вправе требовать не только указания на произношение вообще, но и на произносительные варианты ²⁷.

Напрасно также исключены из словаря этимологические пометы и этимоны. Последние часто способствуют отчетливому пониманию значения слова, его орфографии, а иногда и произношения. Это ограничение в словаре тем более непонятно, что при фразеологических оборотах этимологические сведения сообщаются (стр. 65).

Несколько слов о структуре самой «Инструкции». Нам кажется, что ею было бы легче пользоваться, если бы нумерация параграфов была сплошной и если бы отдельные главы «Инструкции» были теснее связаны между собой. Для удобства пользования к «Инструкции» следовало бы приложить список грамматических и стилистических помет, а также несколько полных словарных статей на различные категории слов (примеры в тексте «Инструкции» обычно даются в сокращенном виде).

Есть отдельные мелкие погрешности, на которых мы можем останавливаться. Укажем лишь на то, что типы определений названий самок животных и детенышей даются дважды (на стр. 37 и на стр. 57), примечание по поводу слов *зонтик, червяк* и др. дается в разделе «Отглагольные существительные» (стр. 27—28), по-разному оформляются однотипные словарные статьи (например, *душно, грустно*; стр. 90).

*

Как уже отмечалось выше, «Инструкция для составления „Словаря современного русского языка“» широко использует опыт существующих русских толковых словарей. Будущий трехтомный словарь по своей структуре, по приемам грамматической

²⁵ Член-корр. АН СССР Д. Н. Ушаков считал единственно правильным написание *вящий* (так и в четырехтомном словаре под его редакцией); акад. С. П. Обнорский считает верным только написание *вящий* (так и в академическом словаре 1951 г.); словарь С. И. Ожегова дает оба написания и рекомендует *вящий*.

²⁶ Например, в «Правде» пишется всегда *галерея*, в «Литературной газете» — преимущественно *галерея*, а в «Советской культуре» — обычно *галлерей*. Написание *будничинный* фигурирует только в словарях.

²⁷ Отметим, что в словаре под ред. Д. Н. Ушакова и в словаре С. И. Ожегова вопросу о произносительных вариантах не уделяется должного внимания.

и стилистической характеристики слова, а также по принципам размещения фразеологического материала и подбора иллюстративных примеров будет близок к четырехтомному словарю под ред. Д. Н. Ушакова, а по приемам толкования слов — к одно- томному словарю С. И. Ожегова. В приемы и методы размещения фразеологического материала, толкования отдельных категорий слов, выделения омонимов по сравнению с названными словарями внесены некоторые уточнения.

Существенным недостатком будущего словаря сравнительно с строго нормативным академическим словарем русского языка под ред. Я. К. Грота²⁸ и с современными толковыми словарями является отказ от решения целого ряда орфографических, орфоэпических и грамматических вопросов, от которых не могут и не должны отказываться составители нормативного словаря.

При решении конкретных лексикографических задач, особенно в области грамматической характеристики слова, орфографии и орфоэпии, авторы «Инструкции» недостаточно внимательно отнеслись к нормативной стороне словаря. Показательно, что орфография и орфоэпия вообще не включены составителями в понятие «нормативности». Так, во введении говорится: «Назначение трехтомного Словаря—дать нормы употребления слов... Нормативность достигается: а) подбором слов, включенных в Словарь, б) выделением и характеристикой значений слов и их оттенков, указывающих правильность их употребления в речи, в) стилистическими пометами, устанавливающими сферу и границы употребления того или иного слова (или его значения), г) убедительными цитатами или предложениями, взятыми из авторитетных источников, показывающими, как и в каких сочетаниях данные слова употребляются, д) грамматическими объяснениями и е) расстановкой ударений» (стр. 7). Таким образом, орфография и орфоэпия не включаются в круг тех явлений языка, которые подлежат нормализации в словаре.

В то же время нельзя не признать, что составители «Инструкции» проделали большую работу, которая в целом заслуживает положительной оценки. Они обобщили имеющийся опыт составления словарей данного типа, подробнее разработали ряд отдельных вопросов (ср. разделы, посвященные фразеологии, омонимии, и некоторые другие). Многие недостатки «Инструкции» объясняются общей неразработанностью целого ряда вопросов лексикологии и лексикографии.

Т. Г. Бранцева и Р. М. Цейтлин

П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года. Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги.—М., Изд-во АН СССР, 1953. 375 стр. (Ин-т языкознания.)

Каждое новое, полное описание языка того или иного памятника письменности способствует исследованию всего пути, пройденного языком в процессе его становления и совершенствования. В связи с этим следует приветствовать выход в свет книги проф. П. Я. Черных «Язык Уложения 1649 года», изданной Институтом языкознания Академии наук СССР.

Труд П. Я. Черных в той части, где дается описание фонетики и морфологии памятника, является именно таким исследованием языка Уложения, которое по справедливости может быть названо полным, добросовестным и тщательным.

Уложение 1649 г., являясь деловым документом эпохи, отражающим соответствующие языковые нормы своего времени, представляет значительный интерес. Поэтому выбор для исследования именно данного памятника можно считать удачным. Да и XVII в. как период становления национального языка должен привлекать к себе внимание исследователей, тем более, что письменность этого века, как и предшествующего ему XVI в., нельзя считать достаточно изученной. П. Я. Черных совершенно справедливо отмечает в предисловии большую роль Уложенной книги как памятника печати того, разошедшегося в большом количестве экземпляров в период складывания «нового» (мы полагаем, национального. — М. С.) литературного языка (стр. 4)¹.

В работе П. Я. Черных, кроме описания языка, т. е. фонетики и морфологии памятника, имеется детально изложенная история создания Уложения, которой посвящены четыре главы: I. «История Уложенной книги», II. «Источники Уложенной книги», III. «Редакционная коллегия Уложенной книги» и V. «К вопросу об изданиях старо-

²⁸ «Словарь русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. акад. наук», т. I (под ред. Я. К. Грота), СПб., 1895.

¹ Здесь и в дальнейшем в тексте в скобках даются ссылки на страницы рецензируемой книги.

печатного Уложения» (в общей сложности этим темам уделено больше 200 страниц книги).

Положительной стороной следует также считать и то, что в исследовании содержится не только материал по языковым данным Уложения, но и сведения о памятниках, являвшихся источниками при создании Уложения (указная книга Поместного приказа, Литовский статут, Книга о ратном строе и др.); одновременно в работе сообщаются любопытные данные о Грамматике 1648 г.

Достаточно полно проведено в труде П. Я. Черных и сравнение первого и второго изданий Уложения, ярко обнаруживающее сознательную правку текста от издания к изданию, причем имеются четкие показатели, характеризующие сущность процесса правки: совершенно сознательная замена церковнославянских особенностей русским, т. е. осуществление русификации текста, устранение в Уложении ряда элементов архаизации языка (стр. 128 и сл.). Все это помогает читателю представить себе совокупность процессов, характеризовавших развитие письменного делового языка изучаемого периода, поскольку становится очевидной смена одних форм другими и получает свою характеристику сосуществование определенных форм друг с другом. Ценны и разделы, посвященные словообразованию и ударению тех или иных форм языка, хотя эти разделы преимущественно представляют собой только констатацию фактов и не содержат каких-либо теоретических обоснований. Для историка языка книга П. Я. Черных может послужить в ряде случаев и справочником по истории тех или иных фактов языка, что также повышает ее значение.

Подчеркивая важность и полезность рецензируемой работы П. Я. Черных, выскажем и некоторые критические замечания. Как показывает заглавие, книга посвящена исследованию языка Уложения 1649 г. Таким образом, естественно было бы ожидать, что она содержит обширные и исчерпывающие материалы, всесторонне характеризующие язык Уложения, что в ней нашли себе место все данные о грамматическом строе языка Уложения. Между тем вопросы синтаксиса в книге совершенно отсутствуют, хотя синтаксис Уложения в свое время и привлекал внимание П. Я. Черных. Правда, автор обещает позднее опубликовать материалы по синтаксису Уложения (см. прим. 3 на стр. 272). Но об отсутствии описания синтаксиса в рецензируемой книге все же приходится выразить сожаление, так как в книге, озаглавленной «Язык Уложения», освещены по существу лишь вопросы морфологии. Вообще соотношение частей работы, посвященных грамматическому строю памятника, с одной стороны, и частей, связанных с историей создания текста Уложения, является в работе неоправданно своеобразным: в книге объемом в 372 стр. анализу грамматического строя отведена лишь 161 стр., хотя кажется, что этот раздел должен был бы занимать в книге ведущее место и по объему, так как этим ведь определяются, в частности, возможности исчерпывающего приведения материала, извлеченного из текста изучаемого памятника.

Не приходится сомневаться, что П. Я. Черных располагал исчерпывающим материалом, характеризующим языковой строй как самого Уложения, так и тех памятников, на которые он ссылается. Однако в своей работе автор не счел возможным привести полностью извлеченные из текста примеры. Между тем следует помнить, что в значительном ряде случаев в период создания Уложения было возможно существование двух, а иногда и большего количества параллельных форм. Автор исследования, конечно, отмечает подобные параллельные формы, но не приводит всех имеющихся примеров и тем самым не дает читателю оснований для заключения о преобладании той или иной формы. Указания автора по этому поводу носят довольно неопределенный характер: сообщается лишь, что в том или ином случае «преобладает» или «чаще встречается» такая-то форма. Так, например, на стр. 287 читаем: «В этих падежах² ... ч а с т о в с т р е ч а ю т с я (разрядка наша. — М. С.) старые окончания -ом, ...-ы, -ѣх (ex) ...». Между тем важнее всего для историка русского языка картина реального соотношения старых и новых форм этих падежей в том или ином памятнике XVII в. В приведенном случае особый интерес представили бы показания дательного и творительного падежей.

Такую же обобщенную характеристику материала находим и на стр. 312, где о притяжательных прилагательных на ъ говорится только, что они встречаются «изредка». На стр. 316 по поводу образования форм сравнительной степени на *ае* после шипящих (типа *плошае*) в Книге о ратном строе также сообщается лишь, что этих форм в данном памятнике «значительно больше», чем в Уложении.

Но именно в этой части работы больше, чем в других ее частях, историку языка хотелось бы найти полный материал исчерпывающего характера (или хотя бы указание на количественное соотношение примеров). Этот материал можно было бы сравнивать с фактами, полученными в результате исследования того или иного памятника.

При исследовании истории склонения большую роль играет и самый лексический состав, например, тех имен существительных которыми усвоены различные флексии,

² Имеются в виду дательный, творительный и предложный падежи существительных мужского и среднего рода.

особенно флексии, которым в дальнейшем суждено было стать нормой национального литературного языка. Даже примеры, приведенные на стр. 295, количество которых, видимо, не является исчерпывающим, дают возможность убедиться в том, что и в Уложении, как это мы наблюдали в больших бытовых памятниках XVI в., проводником новых форм являлась прежде всего бытовая лексика (*прудями, съ ысцами*³, *помб-стьями, дворами, погребями, сыновьями* и т. д.).

Затруднительно по работе П. Я. Черных сделать вывод и об употреблении форм деепричастий в Уложении. На стр. 356 автор исследования полагает, что «н о р м а л ь н ы м и формами деепричастия настоящего времени от глаголов несовершенного вида первого спряжения с т в е р д о й основой в Уложении следует считать форму на *учи*». На той же странице ниже читаем: «От глаголов с мягкой основой в о з м о ж н а (разрядка наша. — М. С.) форма на *ючи...*». Формы на *-учи* иллюстрированы тремя примерами (*будучи, пдучи, жисвучи*). Приведено и восемь примеров деепричастий на *-ючи*. Однако на стр. 357 (первый абзац) читаем: «В общем, деепричастных образований на *ючи* в Уложении встречается не так уж много (разрядка наша. — М. С.). Формы деепричастия настоящего времени на *а*, я явно преобладают». Таким образом, читатель не получает сколько-нибудь отчетливого представления о соотношении деепричастных образований от глаголов первого спряжения с *-учи*, *-ючи*, с одной стороны, и *-а*, *-я*, с другой. Вот почему хочется высказать пожелание, чтобы исследователи, обладающие исчерпывающими данными, характеризующими язык того или иного памятника любого периода, приводили бы эти данные полностью.

На стр. 197 имеется указание на то, что «прилагательное *разный* о б ы к н о в е н н о (разрядка наша. — М. С.) употребляется в Уложении с о после *р...*». Далее сообщается, что «с корнем *раз* это прилагательное все же возможно в Уложении...». На этот последний случай приведены три примера. Остается неясным, исчерпываются ли случаи употребления прилагательного *разный* этими тремя примерами? Каковы же взаимоотношения этих двух случаев написания? Нельзя ли было высказать предположение также о наличии приставки *раз*, а не *ров* в словах: *разграбление, разорение* и *рассмотрение* при наличии написания *рогерабили* и т. д.? Хотелось бы во всех подобных случаях знать точку зрения автора работы. При наличии у автора исчерпывающего материала удивляют такие формулировки: «Под ударением приставка *рог* встречается в д в у х - т р е х (разрядка наша. — М. С.) случаях...» (стр. 197); «...сочетание *ро* в начале слова в соответствии с церковнославянским *ра* встречается еще только в д в у х - т р е х основах: *ровн* (три случая) и *роб* (один случай)...» (стр. 198). Неужели, если речь идет о д в у х - т р е х случаях употребления той или иной формы, их нельзя было дать полностью и тем самым исключить неточность, неполноту изложения?

Следует отметить также, что количество выводов и заключений самого автора исследования могло бы иметь в работе значительно больший удельный вес. Так, например, весьма неопределенно изложена точка зрения автора на то, какое фонетическое значение имеет употребление букв *ь*, *ю* и *я* после шипящих *жс* и *ш*. На стр. 227 автор указывает лишь, что эти написания «на первый взгляд» могут свидетельствовать о мягкости шипящих *жс* и *ш*; дальше следует приведенный в довольно хаотическом порядке иллюстративный материал (*мятежсь, рубезсь, замужсь, ерабессь* и т. д.). Отсутствует в последующем изложении и четкое указание на то, что подобные написания являются лишь определенным графическим приемом.

Также неясно сформулированы положения, касающиеся оглушения согласных (стр. 231, 232, 237). Так, на стр. 237 автор пишет: «Отметим единственный пример приглушения конечного звонкого согласного: *за губы и за глась*, 325 (с вместо *з*)», но опять-таки не делает общего вывода о том, что орфографическая норма в памятнике в целом проведена достаточно последовательно.

Вызывает некоторое недоумение и следующая формулировка автора: «Это слово (*мыть* и *мыто*. — М. С.) в Уложении употребляется и в форме мужского и в форме среднего рода и склоняется то по одному, то по другому с к л о н е н и ю (разрядка наша. — М. С.) иногда на одной и той же странице...» (стр. 252). Приведенный в данном случае иллюстративный материал свидетельствует лишь о возможных колебаниях в роде, но не в склонении существительных. Быть может, имея в виду форму именительного падежа множественного числа *мыты*, следует говорить о принадлежности этого существительного к числу существительных мужского рода лишь предположительно (стр. 253).

Здесь же следует отметить еще одну формулировку автора, которая также не может удовлетворить читателя. На 281 стр. в § 1 читаем: «Можно отметить только, что в склонении этих существительных (типа *кость, запись*. — М. С.) как исключение из правила в пред. п. ед. числа оказывается *б* вместо *и* (разрядка наша. — М. С.): *служилых людей в Астраханб* и в *Сибириб*, 131...» Мы полагаем, что в данном случае следует видеть не только «исключение из правила», но главным образом то взаимодействие типов склонения, которое создает возможность упо-

³ Хотя возможно и *съ ысцы* (стр. 290).

требления подобных форм в литературном русском языке в более поздний период. Тот же процесс взаимодействия данных типов склонения имеет место и в говорах ⁴.

Недостаточно четкой является формулировка на стр. 322: «Слово *второй* встречается только как исключение из правила, причем каждый раз только в сочетании с другими числительными — с количественными — для выражения сложных числовых понятий, всегда в „высоком стиле“» (разрядка наша.—М. С.). Само по себе подобное наблюдение интересно и важно, но нельзя не отметить, что приведенный иллюстративный материал не дает автору должных оснований для столь обобщенного вывода. Видимо, следует также говорить не о том, что данное употребление слова *второй* является «исключением из правила», а лишь о том, что в Уложении это слово служит синонимом к слову *другой*, которое и выступает в памятнике в функции порядкового числительного со значением «второй».

Справедливо уделяя исключительно большое внимание фактам фонетики, особенно при анализе диалектных особенностей текстов, П. Я. Черных, мы полагаем, в отдельных случаях недооценивает и роль грамматических факторов языка. Например, он в таких написаниях, как *за бесчестья*, склонен видеть отражение замены конечного безударного *е* через *’а* (стр. 195—196); между тем приводимый иллюстративный материал, хотя и не особенно значительный по объему, допускает и иное толкование этих форм: их можно воспринимать как формы множественного числа.

К бесспорно положительным моментам следует отнести наличие в работе разделов, посвященных словообразованию. Но одно из высказываний П. Я. Черных в отношении словообразования останавливает на себе внимание и вызывает возражения. Приводим его полностью: «Как очень редкое явление можно отметить: *дуплястое дерево*, 153. В Книге о ратном строе образований с суффиксом *-ист*, *-аст* несколько больше: на *горыстом мѣстѣ*, 146 об., *лесисто поле*, 200; *деревасто поле*, 200» (стр. 303). Малое количество образований с суффиксами *-ист*, *-аст*, как и возможное их обилие, всецело зависит от лексического содержания памятника. Если содержание текста не дает возможности употреблять подобные образования, то нет оснований говорить о них как о редком явлении, а также и о том, что в другом тексте подобных образований больше. Такие сравнения в данном случае, мы полагаем, исключаются.

Возбуждает некоторое недоумение и вывод, связанный в работе П. Я. Черных с характеристикой московского просторечия середины XVII в.: «Таким образом, разговорная речь московского люда середины XVII в. характеризовалась целым рядом особенностей, отличавших ее не только от книжного церковнославянского языка, но даже от языка московских приказов,— языка дьяков и подъячих, сложившегося на базе этого московского просторечия» (стр. 105). В связи с подобной формулировкой законно поставить вопросы: разве к и и ж и ы й язык середины XVII в. был церковнославянским? Разве наличие элементов церковнославянской письменности не зависело от содержания или жанра памятника? Ведь элементы церковнославянской письменности могли быть принадлежностью любого жанра. Речь может идти лишь о количественных соотношениях русских и церковнославянских элементов в произведении того или иного жанра. Именно поэтому нелегко провести грань между памятниками письменности, отражающими то язык «книжный церковнославянский», то приказный, то, наконец, разговорный.

В связи с этим полагаем, что не вполне удачной является и такая формулировка: «В особенности оно (сочетание *и* из *ъ+й+гласный*. —М. С.) заметно в тех местах Уложения, которые написаны в „высоком“ стиле, отчасти — на церковнославянском языке» (разрядка наша.—М. С., стр. 222). И здесь речь может идти лишь о значительном количестве церковнославянских элементов, но не о церковнославянском языке. Тем более, что приводимые П. Я. Черных факты встречаются и в современном нам литературном языке: *церковь божия*, *пение*, *целование*, *уложение* и т. п. Некоторое количество подобной лексики вошло в состав устойчивых сочетаний (например, *смертию казнити*). Наконец, едва ли можно считать такое предложение, как «*въ церковь божію не пуцати*, 186» (стр. 223), написанным на церковнославянском языке. Сказанное относится и к ряду моментов последующего изложения (стр. 224—225).

Встречаются в книге и некоторые, в целом не свойственные автору исследования неточности. На стр. 186 в ссылке на статью А. И. Андреева «О происхождении и значении Судебника 1589 г.» нет указания ни на год издания сборника, в котором статья напечатана, ни на страницу. Иногда наблюдается непоследовательность в употреблении терминологии (ср. на стр. 255 — «звательная форма» и «звательный падеж»). Имеются единичные случаи, когда иллюстративный материал попадает не в тот раздел текста, где бы ему надлежало быть. Так, на стр. 198 в число примеров с начальным корневым *ро* типа *ровн-*, *роб-* попал и пример *родѣлѣти*. На стр. 257, где приводятся формы винительного падежа множественного числа имен существительных, «обозначающих людей», равные формам именительного падежа множественного числа тех же существительных —

⁴ См. С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 1, Л., Изд-во АН СССР, 1927, стр. 254 и сл.

люди, дети, для сравнения с данными Уложения привлечены материалы Книги о ратном строе, но тут в числе примеров находятся слова *куры, утята, гуси, курицы* и лишь единичное *серьсаны*. В чем должно заключаться сравнение, которое предлагается провести читателю, остается неясным.

Трудно согласиться и с тем, что в этот период формы винительного падежа множественного числа, равные именительному, бывают лишь в предложении, где имеется словосочетание *выдать замужъ: «дочери свои дѣвки, или сестры, или племянницы выдали замужъ, 171 об.»* (стр. 257). Материалы памятников конца XVI в. позволяют предполагать, что в этот период полного единообразия в употреблении форм винительного падежа существительных женского рода еще не было. Ср. данные Домостроя по Коншинскому списку: «А мати твоя многие девицы и вдовы пустошныя и убогие воспитала (66/27)» и одновременно: «убогихъ вдовицъ и сиротъ поконити достойно (20/34)», или: «А государыня жонокъ и девакъ... сзирает и смечает и наказуетъ (57/21)». Видимо, полная победа форм винительного падежа множественного числа, равных родительному падежу того же числа, для имен существительных женского рода осуществилась несколько позднее. Такие сочетания, как: *стали въ пушкари, встали во псары* и им подобные, должны быть выделены в особую группу уже потому, что они имеют соответствия и в современном языке. Вообще вопрос о формах винительного падежа для существительных личных и одушевленных изложен несколько суммарно (стр. 255—257).

Иногда заключения автора о хронологии процессов не могут быть безоговорочно приняты. Таково, например, указание об употреблении звательной формы: «В середине XVII в. употребление звательной формы..., повидимому, вообще в русском языке, как правило, прекратилось...» (стр. 255). Мы полагаем, что этот процесс относится к значительно более раннему периоду. Случай употребления местоименной формы *сесь* в выражениях *сесь указ, сесь Судебник* в памятниках XVI—XVII вв., вероятно, все-таки не дают повода для того, чтобы предполагать, что в разговорной московской речи XVI в. эта форма была обычной. Материалы таких памятников XVI в., как Домострой, Стоглав и Судебник 1550 г., находившиеся в нашем распоряжении, основания для подобного утверждения не давали.

Следует сделать также замечание, касающееся расположения и подачи иллюстративного материала. Богатый и интересный материал, извлеченный из памятников письменности и иллюстрирующий соответствующие явления фонетики, морфологии, словообразования, ударения и т. п., читателю книги П. Я. Черных не так-то легко использовать. Весь иллюстративный материал по любому разделу расположен в книге до некоторой степени хаотично, не используется даже возможность расположения материала в алфавитном порядке. Так, на стр. 241, где в главе о словообразовании имеется перечень бессуффиксальных образований существительных мужского рода, примеры расположены так: *скоп, скуп, воп, пособъ* и т. д.; на стр. 251 перечислены образования с суффиксом *-ств-о*: *гос[у]дарство, бесчинства, самовольство, крестьянство* и т. д.; на стр. 247: *мятежъ, грабежъ, правезъ, рубезъ, платезъ* и т. д.; на стр. 315: *хуже, выше, ниже* и т. д. Данное замечание относится к расположению иллюстративного материала в любой части книги.

В заключение нужно сказать, что рецензируемая книга, не взирая на те замечания, которые мы высказали, представляет собой ценное и нужное исследование. Она дает надежный материал как для историка языка вообще, так и, не в меньшей, если даже не в большей степени, для историка литературного русского языка, так как Уложение 1649 г. относится к начальному периоду развития русского национального языка.

М. А. Соколова

М. И. Стеблин Каменский. История скандинавских языков. — М. — Л., Изд-во АН СССР, 1953. 340 стр. с илл. и карт. (Ин-т языкознания)

История скандинавских языков уже давно являлась и продолжает являться предметом исследования многочисленных германистов. На протяжении XIX и первой половины XX в. были опубликованы многочисленные работы, посвященные вопросам фонетики (исторической и нормативной), грамматики и, отчасти, лексики отдельных скандинавских языков. Значительную ценность представляют исследования различных скандинавистов в области исторической фонетики и морфологии, в области диалектологии (с учетом данных лингвистической географии), в области топонимики и ономастики, в области рунологии и этимологии. Накопленный огромный фактический материал уже давно вызвал необходимость в обобщающих работах по истории сканди-

навских языков, и в настоящее время мы располагаем работами Нореена, Индребе, Сейпа, Скаутрупа, Вессена и других исследователей, посвященными как истории скандинавских языков в целом, так и истории шведского, норвежского и датского языков. Таким обобщающим трудом является и данная книга М. И. Стеблина-Каменского «История скандинавских языков»¹.

В этой работе рассматриваются различные явления фонетики, грамматики и лексики всех скандинавских языков в их историческом развитии. Не удивительно, что при такой задаче в одной книге не оказалось возможным дать исчерпывающее описание скандинавских языков в целом и всех сторон каждого языка в отдельности. Так, вопросы исторического синтаксиса скандинавских языков разработаны явно недостаточно, что частично можно объяснить тем обстоятельством, что в скандинавистике эти вопросы недостаточно привлекали к себе внимание исследователей. С другой стороны, отдельные скандинавские языки, например фарерский, не получили, по сути дела, никакого освещения. Но, насколько можно понять из книги, автор стремился не к возможной полноте материала и его интерпретации, а к выявлению как общих линий развития скандинавских языков, так и особенностей развития каждого отдельного языка. Можно смело утверждать, что автору удалось поставленная задача, и появление данной книги следует рассматривать как весьма положительное явление в советском языкознании.

Исходя из положения марксизма-ленинизма о том, что «язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»², автор пытается представить развитие скандинавских языков в органической связи с историей скандинавских народов, и этим его книга выгодно отличается от посвященных тому же вопросу работ зарубежных языковедов. Очень удачной является первая глава из «Введения» «Скандинавский язык-основа и племенные диалекты» (стр. 9—27)³, хотя некоторые положения этого раздела вызывают сомнения и возражения, о чем будет речь ниже. Хорошо дана характеристика древних скандинавских письменных памятников во «Введении». Очень важными являются для историка языка (и не только скандинавских языков!) положения автора о формах письменного языка (стр. 42—47). Постулат автора: «...различие между формами письменного языка не следует принимать за точные отражения различия между местными говорами» (стр. 44) совершенно справедлив и оправдан фактическим материалом.

Целый ряд новых мыслей и ценных положений содержится в разделе «Фонетика» (стр. 97—171). Прежде всего следует приветствовать попытку автора осмыслить звуковую систему древнейшего периода скандинавских языков в фонетическом и фонологическом плане. Считаю здесь уместным указать на то, что в данном разделе, так же как и во всей книге, М. И. Стеблин-Каменский самостоятельно и в ряде случаев по-новому ставит и решает вопросы скандинавистики. Заслуживает внимания положение автора о том, что «звонкие смычные *b*, *d*, *g* и соответствующие им шелевые были первоначально комбинаторными вариантами одной фонемы» (стр. 99). Интересно предположение автора о выделении звонких шелевых в самостоятельные фонемы в связи с озвончением *f* и *p* (стр. 99). Кажется, оправдано положение автора о том, что «в исходной скандинавской системе гласных... краткого *o* вообще не было» (стр. 101). На то, что в прагерманском *i* и *o* были, повидимому, комбинаторными вариантами одной фонемы, уже указывалось в специальной литературе.

Несомненный интерес представляет следующее положение М. И. Стеблина-Каменского: «Характерно, что различие между обыкновенными и какуминальными переднеязычными согласными фонематично (разрядка моя.— Э. М.) в стандартном норвежском произношении, если, конечно, можно говорить о стандартном произношении в современной Норвегии» (стр. 160—161). Убедительны примеры, приводимые автором, но хотелось бы указать на то, что вряд ли стоит ставить вопрос в такой категорической форме, ибо в специальной литературе имеются и другие точки зрения. Действительно, быть может, мы имеем здесь дело с фонологизацией вариантов, с постепенным становлением фонем?

Весьма интересными и в некотором отношении новыми являются мысли автора о перегласовках и преломлении в скандинавских языках. Автор, наверное, прав,

¹ В этом плане не представляется возможным согласиться со следующим положением автора книги: «...большинство зарубежных работ по истории скандинавских языков посвящено настолько частным вопросам, что ничего не дает для понимания существа исторического процесса» (стр. 4). Не подлежит сомнению, что многие положения и выводы данной книги были подготовлены предшествующими исследованиями, особенно в области исторической фонетики и морфологии.

² И. С т а л и н, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 22.

³ Здесь и в дальнейшем в тексте в скобках даем ссылки на страницы рецензируемой книги.

говоря о связи между перегласовкой и редукцией безударных гласных (стр. 109). Во всяком случае, решение этого вопроса, предлагаемое М. И. Стеблиным-Каменским, несомненно более удачно, чем трактовка данной проблемы Хессельманом в его известной книге «Перегласовка и преломление в скандинавских языках»⁴. Ср., например, заявление Хессельмана: «Перегласовка предшествовала синкопе и наступила и е з а - в и с и м о от нее»⁵ (разрядка моя. — Э. М.); однако до сих пор в защиту этого взгляда приведено мало материала (автор тоже не приводит ничего существенного), и это остается предположением.

Заслуживает внимания следующее положение автора: «В соответствии с тем, что древнескандинавская редукция безударных гласных распространялась сначала на безударное *a*, а затем на безударное *i* и, наконец, на безударное *u*, в языке скандинавских племен произошла сначала перегласовка на *a*, затем перегласовка на *i* и, наконец, перегласовка на *u*» (стр. 109). Хотя это объяснение подкупает своей простотой и остроумием, оно все же несколько схематично и прямолинейно. Здесь приходится считать не только с временным, но и с географическим моментом: одни явления охватывают большинство германских языков, другие свойственны лишь некоторым германским языкам (ср., например, восточнонорвежское *tapnit* и западнонорвежское *topnit*, исландское *tapnot*).

Интересно и такое положение автора: «После того как произошла редукция безударных гласных, эти варианты фонем перестали быть фонетически обусловлены гласными окончания. Они стали самостоятельно выступать в смысло-различительной функции, выполнявшей раньше гласными окончания. Другими словами, варианты фонем стали самостоятельными фонемами, то есть фонематизовались. Такая фонематизация вариантов фонем, обусловленная редукцией безударных гласных, и называется перегласовкой» (стр. 108). Хотя на связь перегласовок с судьбой безударных гласных уже указывалось в литературе, момент фонологизации вариантов фонем следует считать новым и ценным положением в германистике. Говоря о фонетической сущности перегласовки, М. И. Стеблин-Каменский присоединяется к тем языковедам, которые утверждают, что имела место ассимиляция на расстоянии, без посредства промежуточных согласных (стр. 114). Следует отметить, что в последнее время исследователи все более склоняются к старой теории палатализации. Автор правильно критикует теорию перегласовки А. Кока и Б. Хессельмана, однако надо отметить, что сам он по сути дела объяснения для так называемых исключений (например, исл. *tekr*, *tekinn*, *degi* и т. п.) не дает⁶.

Целый ряд верных и интересных мыслей высказывает М. И. Стеблин-Каменский по поводу преломления (стр. 117—119). Он исходит из того, что «видом перегласовки было, повидимому, и так называемое преломление» (стр. 117). Нам это положение представляется совершенно справедливым, и нет никаких оснований согласиться с мнением тех современных скандинавистов, которые настаивают на автономности перегласовки и преломления. Ср., например, работу И. Свенссона: «Дифтонгизация с палатальным элементом в скандинавских языках»⁷; ср. также следующее положение того же Свенссона: «В противоположность Хессельману я полагаю, что старое учение о перегласовке, объединяющее перегласовку и преломление, обречено на гибель»⁸.

В противоположность многим скандинавистам М. И. Стеблин-Каменский приходит к такому выводу: «Повидимому, однако, преломление предшествовало перегласовкам» (стр. 118). Может быть, следует говорить в данном случае о перегласовке на *i* и *u*, но не *a*, поскольку последняя, очевидно, предшествовала преломлению. Интересны также соображения автора на стр. 118 о фонологизации преломления. Интересны замечания автора об изменениях долгих *o* и *u* в шведском языке. Он объясняет это изменение движением *a > o > u > io*. С фонологической точки зрения это объяснение, в основе которого лежит понятие о равновесии фонологической системы, несомненно заслуживает внимания, хотя в литературе и не является новым⁹.

Удачным является на стр. 138 описание датского перебора согласных. Заслуживает внимания и подчеркивание автором связи между перебором и ударением. Также

⁴ См. B. H e s s e l m a n, *Omljud och brytning i de nordiska språken* (Förstudier till en nordisk språkhistoria), Stockholm och København, 1945.

⁵ «Omljudet har gått före synkopen och inträtt oberoende av den» (там же, стр. 5).

⁶ Натянуто и объяснение Хессельмана: «на основе „диссимилиативного“ равновесия гласных» (стр. 26 указ. соч.).

⁷ J. S v e n s s o n, *Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken*, Lund, 1944.

⁸ «I motsats till Hesselman tror jag, att den gamla omljudsläran, med dess sammankoppling av omljud och brytning, är dömd att dö» (J. S v e n s s o n, *Hesselmans nya omljudsteori*, «Arkiv för nordisk filologi», Bd. 60, Häft 3—4, Lund, 1945, стр. 217).

⁹ Отметим, кстати, что почти полное отсутствие в книге М. И. Стеблина-Каменского ссылок на работы по вопросам, которые он затрагивает, часто затрудняет выделение того, что является плодом собственных изысканий и наблюдений автора, и того, что автор в своей книге лишь обобщает.

очень удачным в книге является подраздел «Общая характеристика распространения фонетических явлений в языках скандинавских народностей» (стр. 143—146). Автор хорошо описывает фонетические изменения, характерные для всех скандинавских языков, и фонетические изменения, присущие лишь определенным скандинавским языкам.

Совершенно справедливо утверждение автора на стр. 121 об условности традиционной классификации современных скандинавских языков (на западную и восточную подгруппы). Сам автор классификации скандинавских языков не дает, что, между прочим, было бы желательным.

Большим достоинством книги является широкое использование данных лингвистической географии и лингвистических карт (на стр. 35, 139, 159, 202).

В разделе «Грамматика» (стр. 175—253) очень удачной является морфологическая классификация существительного и глагола; интересные положения содержит подраздел, посвященный временным категориям глагола (стр. 226—233). На стр. 213 хорошо описываются процессы морфологического переразложения в составе местоимений. Хотелось бы лишь указать на то, что вряд ли стоит рассматривать в одной плоскости такие явления, как исл. *skuluþér > þér* и норв. *hafum vér > hafum mér*. Ведь при переразложении очень важным является сдвиг границы слога (или слова). Ср. в швед. *menen I > menen Ni*. В случае *hafum vér > mér* мы имеем прогрессивную ассимиляцию (*mv > mm*) первоначально без сдвига в слогаделении. Замечания о синтаксисе, как уже указывалось выше, носят отрывочный характер. По сути дела, из совокупности всех синтаксических вопросов здесь (стр. 241—250) рассматриваются, и при этом неполно, лишь два вопроса: порядок слов и сочинение-подчинение.

Много интересного содержит раздел «Лексика» (стр. 257—311). Очень удачна глава «Древнейший лексический слой в скандинавских языках» (стр. 257—265). Много интересных мыслей содержит и следующая глава: «Форма лексических изменений в скандинавских языках» (стр. 265—283). Очень полезен на стр. 308 список скандинавских «омонимов».

После этих замечаний, цель которых заключалась в раскрытии многих положительных сторон книги М. И. Стеблина-Каменского, я перейду к некоторым положениям, вызывающим сомнения, а иногда и возражения.

1. Остановлюсь прежде всего на понятии национального языка. Говоря об образовании национальных языков в Скандинавии, М. И. Стеблин-Каменский постоянно употребляет термин «национальная норма». Последняя определяется так: «Разновидностями языка нации или национального языка являются местные говоры или диалекты, в частности, городские говоры, а также общенациональная, т. е. наддиалектная норма (устная, письменная, орфографическая, фонетическая, лексическая и т. д.). Национальная норма, особенно письменная, называется также национальной литературной нормой или национальным литературным языком. Национальная норма всегда подразумевает отбор тех или иных форм и противопоставление правильного неправильному, т. е. нормализацию» (стр. 5). В дальнейшем, где речь идет о национальном языке, всюду говорится о национальной норме. Например на стр. 85 «норвежская национальная норма», на стр. 155 «норвежские говоры и национальная норма» и т. д. Не подлежит сомнению, что нормативность в качестве одного из признаков входит в понятие национального языка. Совершенно непонятно, почему автор акцентирует лишь этот один признак и делает его экспонентом национального языка вообще. Сам по себе этот признак не является столь характерным именно для национального языка, ибо нормативность в той или иной мере присуща всем разновидностям языка, при этом письменному языку больше, чем диалектам, но и последние не лишены известной нормативности. Национальный язык обладает и другими не менее существенными, а пожалуй, и более существенными признаками, например многофункциональностью. Употребление национального языка во всех сферах государственной жизни — вот прежде всего то, что отличает национальный язык от народного. Отсюда происходит и иное соотношение общенародного языка и диалектов по сравнению с языком народности в их соотношении с местными диалектами. Не это ли имел в виду В. И. Ленин, когда он писал: «...для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе»¹⁰. Но дело заключается не только в этом. М. И. Стеблин-Каменский вкладывает в термин «национальная норма» и иное содержание. На стр. 168 мы читаем: «...для языковой ситуации в Норвегии характерно, что лансмор не имеет своей фонетической нормы, отличной от фонетической нормы риксмора» (разрядка моя. — Э. М.). Автор в данном случае, очевидно, понимает под фонетической нормой совокупность нормативов или даже систему фонем. Если автор под фонетической нормой лансмора понимает именно совокупность фонем, то тогда можно спорить и по существу утвержде-

¹⁰ В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 368.

ния; по данному вопросу имеются и другие точки зрения (укажу, например, на работу Халлфрид Кристиансен «Норвежские диалекты»¹¹).

Обратимся еще к одному положению автора. На стр. 252 мы читаем: «Однако существенное отличие норвежской грамматической нормы (как нормы риксмолы, так и нормы лансмолы) от шведской и датской грамматической нормы заключается в ее гораздо меньшей устойчивости по сравнению с шведской и датской грамматической нормой и в ее большей зависимости от разговорной речи» (разрядка моя. — Э. М.). В данном случае речь идет, очевидно, о грамматическом строе вообще, ибо автор тут же указывает на предложные обороты, на аналитические формы пассива, на синтаксис сложного предложения. Таким образом, термин «национальная норма» употребляется М. И. Стеблиным-Каменским чрезвычайно расплывчато, он становится просто бессодержательным. Поэтому непонятно, почему автору понадобилось снять термин «национальный язык» и заменить его таким неопределенным в употреблении автора термином, как «национальная норма». Нельзя не согласиться с Н. Касьяновым, который писал в журнале «Большевик» по поводу статьи М. И. Стеблина-Каменского «Образование норвежского языка»: «Очевидно, автор смешивает общенародный язык с его письменно-книжной, литературной разновидностью»¹².

2. Остановлюсь на вопросе о периодизации истории скандинавских языков. На стр. 5 М. И. Стеблин-Каменский пишет: «В настоящей работе деление на периоды соответствует вместе с тем развитию скандинавских языков „...от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным...“». Однако по такому плану строятся только «Введение» и частично «Фонетика». Построение всего раздела «Грамматика» уже не соответствует этому делению истории скандинавских языков.

В разделе «Лексика» указанное деление выдержано лишь в известной части. Таким образом, сам автор придерживается принятого им деления преимущественно во «Введении» (т. е. по номенклатуре некоторых языковедов, в области «внешней» лингвистики) и отчасти в разделе «Фонетика». Возникает вопрос, насколько оправдана подобная периодизация истории скандинавских языков. Вряд ли можно сомневаться в том, что раскрытие и анализ исторического процесса развития каждого конкретного языка, а следовательно, и его периодизация немислимы в отрыве от законов его развития. Представляется совершенно правильным положение Б. В. Виноградова о том, что «исследование этого вопроса (о внутренних законах развития языка. — Э. М.) на основе конкретно-исторического материала самых разнообразных языков мира даст твердую базу для периодизации истории этих языков, для установления основных этапов их развития»¹³.

Но если это так, и если верно положение, что каждый язык имеет свои собственные законы развития, что история каждого языка своеобразна и неповторима, то ясно, что невозможно одну схему периодизации наложить на все языки мира. Ведь и китайский язык развивался от языка племени к языку народа и от языка народа к национальному языку. Неужели у китайского языка такая же историческая периодизация, как, скажем, у исландского языка? Не будет ли некоторым нарушением принципа историзма, если мы истории всех языков мира навяжем одну и ту же периодизацию? С другой стороны, есть и большие неудобства в подобной периодизации. Возьмем, к примеру, историю немецкого языка. Весь ход исторического развития немецкого языка диктует необходимость выделения древне- и средневерхненемецкого (существенные различия в соотношении диалектов, в фонетическом и грамматическом строе), хотя оба эти периода укладываются в рамки языка немецкой народности; если же историю немецкого языка делить на два периода — язык народности и язык нации, то тогда первый период потеряет всякие очертания. Кроме того, сам автор признает, что «...нет оснований делить историю грамматических изменений в языке на периоды так же, как историю фонетических изменений» (стр. 175). И, наконец, автор сам не всегда последователен в своей периодизации. Так, на стр. 71 мы читаем: «„Шведский Аргус“ Улува Далина... знаменует начало новейшего периода в истории шведского языка» (разрядка моя. — Э. М.). Что понимает автор под новейшим периодом? Ведь до сих пор речь шла только о племенных, народных и национальных языках. Очевидно, сюда вторглась иная периодизация, о которой автор ничего не говорит. Нельзя не прийти к выводу, что периодизация истории скандинавских языков, предлагаемая автором и недостаточно последовательно проводимая им в данной книге, является весьма спорной.

¹¹ Н. Christiansen, Norske Dialekter, Oslo, 1946.

¹² Н. Касьянов, Новый журнал по языкознанию [реп. на журн. «Вопросы языкознания», №№ 1, 2, 3, 1952 г.], «Большевик», М., 1952, № 16, стр. 69.

¹³ Б. В. Виноградов, Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания, «Вопросы языкознания», М., 1952, № 2, стр. 43.

3. Известные возражения могут вызвать положения, относящиеся к языку рунических надписей. Широко используют рунические надписи, что, несомненно, является положительным моментом книги, автор пишет на стр. 27 следующее: «Может быть руническая письменная норма сложилась в результате межплеменного общения и была своего рода условным межплеменным диалектом» (разрядка моя.— Э. М.). Не говоря уже о том, что здесь опять речь идет о норме, при этом применительно к племенным языкам, и что здесь норма, очевидно, понимается как совокупность особенностей письменного языка, вряд ли можно согласиться с автором в том, что «руническая норма» была условным диалектом. Нет сомнения в том, что М. И. Стеблин-Каменский, говоря об условном диалекте, имеет в виду местные диалекты (т. е. именно местные диалекты). Об отсутствии четкого представления у автора по данному вопросу свидетельствует и положение на стр. 40: «В силу условности языков и несовершенства графики, они (т. е. рунические надписи.— Э. М.) не дают полного представления об особенностях языков отдельных скандинавских народностей». До сих пор речь шла об «условном» диалекте, теперь же говорится о языке. Читатель в результате остается в неведении, что же нужно понимать под языком рунических надписей.

4. Хотелось бы возразить автору по вопросу о конверсии. На стр. 281 М. И. Стеблин-Каменский пишет: «Переосмыслением слова является в известной мере так называемая конверсия, т. е. изменение значения слова в результате его превращения в другую часть речи». Ведь конверсия является одним из способов словообразования, следовательно, при конверсии мы имеем новое слово, а не изменение значения слова. Мне представляется более правильным определение конверсии, даваемое А. И. Смирницким: «Конверсия есть такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова»¹⁴.

5. Мне не совсем понятно следующее утверждение М. И. Стеблина-Каменского: «Характерно при этом, что в исландском разговорном языке, и особенно в разговорном языке городского населения, заимствованных слов значительно больше, чем в письменном языке» (стр. 300—301). С этим следует сопоставить и другое утверждение на стр. 304: «Характерно, однако, что фарерский разговорный язык, в отличие от письменного языка, содержит все же довольно большое количество слов датского происхождения (в обоих случаях разрядка моя.— Э. М.). Поскольку автор не приводит в защиту этого положения никакого фактического материала и не дает никаких ссылок на специальную литературу, данное утверждение звучит необоснованно. Откуда вообще известно, что в фарерском разговорном языке много данизмов? Может быть, автор имеет в виду окказиональное употребление заимствованных слов в разговоре, что вообще говоря не типично для системы языка. Во всяком случае, здесь прежде всего необходим фактический материал.

6. Лишено доказательной силы положение автора о том, что «под латинским и немецким влиянием на эти отделяемые ударные частицы стала распространяться неотделяемость, первоначально характерная только для безударных приставок» (стр. 271). Здесь мы имеем дело скорее с внутренними процессами развития в скандинавских языках, а не с немецкими тем более латинским влиянием. К тому же тенденция к неотделяемости проявляется в известной мере и в шведском разговорном языке.

7. Вряд ли можно согласиться со следующим положением автора: «В древнешведском и древнедатском языках перфект с глаголом „быть“ (д.-д. *waeræ*, д.-ш. *vara*) в переходных глаголах, означающих перемену места или состояния, стал господствующим, повидимому под немецким влиянием, и обозначал как результативное состояние, так и действие» (стр. 230). Скорее здесь мы имеем дело с внутренними процессами развития в самих скандинавских языках. Во всяком случае, требуется большой и обстоятельно подобранный фактический материал для подтверждения данной точки зрения. Вообще следует заметить, что некоторые скандинавские исследователи преувеличивают влияние немецкого языка на скандинавские языки; от такого преувеличения не свободен Э. Вессен в работах по шведскому языку и, в частности, Т. Юханнссон.

8. Можно возразить автору по поводу его утверждения на стр. 118: «...затем такой дифтонгоидный гласный превратился в восходящий дифтонг *ia* (*ja*) или *io* (*jo*)». Если принимать звонкий шелевой *j*, то тогда вообще не приходится говорить о дифтонгах.

То же самое относится к утверждению автора на стр. 162: «Еще в XIII—XIV вв. имела место дифтонгизация *e*» (*je* (например, в *réttur*, «правильный», *él*, «бура»)). На самом деле дифтонгизация здесь нет; тут имело место развитие нотации перед начальным *e* и смягчение предшествующего согласного (в случае *réttur*, в транскрипции [*rjɛtːoʔ*]).

9. Требуется проверки следующее утверждение на стр. 169: «Кроме того, в отличие от других скандинавских языков, в исландском языке не только все гласные могут быть краткими и долгими, но и все дифтонги». Как известно, в исландском языке

¹⁴ А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Иностр. языки в школе», М., 1953, № 5, стр. 24.

долгота и краткость гласных является фонематическим признаком. Остается неясным, считает ли автор, что и долгота и краткость *д и ф т о н г о в* тоже является фонематическим признаком. В отношении исландского подобное утверждение было бы неправильным. Но и для принятия долготы исландских дифтонгов требуются экспериментальные исследования.

10. Непонятно, почему на стр. 264 местоимения отнесены к служебным словам.

11. Следует дополнить следующее положение на стр. 233: «В современном исландском языке будущее время в большинстве случаев выражается просто формой настоящего времени (например, *ég fer* «я поеду»)). Кроме формы настоящего времени, в современном исландском языке широко представлены конструкции с глаголами: *eiga* + *að* с инфинитивом, *ætla* + *að* с инфинитивом (например, *ég ætla að skrifa þeð* «я это запишу»; *hváða ég að gefa þú* «что я Вам дам?» Ср. также *geta* + причастие II).

В заключение укажу на некоторые неточности, а подчас и небрежности, а также на некоторые стилистические погрешности, встречающиеся в книге.

На стр. 12 приводится готская форма: *gutans*. Откуда автор взял эту форму?

На стр. 13 указано озеро Меларен. Лучше давать по-русски, без артикля: Мелар.

На стр. 63 Л. Хольберг назван датским писателем, на стр. 77 он уже называется норвежским автором, а на стр. 298 он получает «обтекаемый» эпитет: скандинавский писатель.

На стр. 78 сказано: ослоское произношение. Вряд ли это звучит хорошо по-русски. Лучше: произношение жителей Осло.

На стр. 79 Knudsen передается по-русски как Кнудсен, а на стр. 86 — как Кнутсен. Почему?

На стр. 102 указано, что готскому *ē* в современном немецком соответствует *ä*. Не всегда! Ср., например, готское *lētan* и немецкое *lassen* или готское *mēna* и немецкое *Monat* и т. д.

На стр. 166 указываются «смазанные звонкие щелевые согласные». Стоит ли калькировать терминологию некоторых модных языковедов?

На стр. 219 мы читаем: «претерито-презентные глаголы выражают состояние сознания». Неудачно. Почему именно состояние сознания?

На стр. 241 мы читаем: «Происходила видовая и стилистическая дифференциация». Что автор имеет в виду?

М. И. Стеблин-Каменский обнаруживает превосходное знание скандинавских языков, но хотелось бы возразить по поводу перевода одной древнедатской фразы: *svo word han i hiæl rivin af hundæ* «так был он в аду разорван собаками» (стр. 237). Почему в аду? *riva* и *hiæl* обозначает «разорвать», «растерзать». Ср. в шведск. *slå ihjäl* и т. д. Ср. уже в Эдде: *ek mynda fík i hel drepas* (Hrb., 27, 2) или: *hrundu feir Vinga ok i hel drápu* (Am., 40, 2)¹⁵.

Опечаток в книге почти нет. Отмечу лишь на стр. 103 *kljúfa* — «рассказывать». Следует: «раскалывать». Вообще надо отметить превосходное типографское оформление книги.

Желательно было бы иметь в конце книги предметный указатель; полезна была бы и транскрипция, особенно для исландского и датского языков. Необходим также список литературы; поскольку сам автор оговаривает, что данную работу можно использовать в качестве учебного пособия по истории скандинавских языков, то желательно было бы дать библиографические указания в конце каждого раздела и в конце книги. Было бы также желательно при цитировании древнескандинавских памятников указывать памятник, а при Эдде — песню и строфу.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что М. И. Стеблин-Каменский выполнил поставленную задачу; его книга «История скандинавских языков», помимо обобщения огромного фактического материала, содержит много верных и новых мыслей, и она по праву может явиться настольным пособием для всякого, изучающего и преподающего скандинавские языки. Отмеченные спорные положения и некоторые недочеты ни в какой мере не умаляют большой ценности этой серьезной и интересной книги.

Э. А. Макаев.

¹⁵ Цит. по книге: F. Jónsson, *Sæmundar-Edda*, Reykjavík, 1905.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОСТИ И НАЦИИ

Проблемы формирования русской народности и нации стоят в центре внимания советской науки. Разрешение этих проблем может быть достигнуто только при условии учета всех тех процессов, которыми характеризуется развитие экономики, языка, литературы и искусства, идеологии данного народа в различные исторические эпохи. Поэтому важным моментом здесь является координация исследовательской работы специалистов соответствующих областей знания, в первую очередь — историков, языковедов, литературоведов, экономистов и философов.

С целью такой координации работы ученых различных областей науки Бюро Отделения литературы и языка и Бюро Отделения исторических наук АН СССР была создана Комиссия по вопросам образования русской народности и нации. В ее состав вошли лингвисты (акад. В. В. Виноградов, проф. Р. И. Аванесов, проф. П. С. Кузнецов), историки (акад. Н. М. Дружинин, член-корр. АН СССР М. В. Нечкина, проф. Л. В. Черепнин, канд. истор. наук В. Т. Пашуто, доктор искусствовед. наук Т. Н. Ливанова, доктор искусствовед. наук Н. Н. Коваленская) и литературоведы (член-корр. АН СССР Д. Д. Благой, член-корр. АН СССР Д. С. Лихачев, проф. М. К. Добрынин, проф. В. И. Чичеров). Председателем комиссии был избран акад. В. В. Виноградов, его заместителем — акад. Н. М. Дружинин. Заседания комиссии проходили в течение марта — июля 1953 г. Это был первый этап работы, цель которого заключалась во взаимном ознакомлении с той трактовкой вопросов формирования русской народности и нации, которая существует в области истории, языкознания, литературы и искусства. Для такого взаимного осведомления и были предназначены информационные доклады историков, лингвистов, литературоведов и искусствоведов; однако зачастую рамки докладов расширялись и в них давалось изложение взглядов отдельных ученых.

*

С информационным сообщением о мнениях историков в определении этапов формирования русской народности выступил проф. Л. В. Черепнин. Он отметил вначале, что у историков намечается несколько точек зрения по вопросу о формировании и основных признаках народности. Так, проф. М. Д. Каммари противопоставляет народность роду и племени и считает, что народность — это категория рабовладельческого и феодального общества, так же как нация — категория капиталистического общества. По мнению М. Д. Каммари, все признаки, присущие нации, включая и экономическую общность, присущи (в менее развитом виде) и народности. Проф. В. В. Мавродин считает народность также категорией рабовладельческого и феодального общества, но не относит к числу ее признаков наличие экономической общности. Проф. Б. А. Рыбаков полагает, что народность начинает формироваться еще в дофеодальный период: период создания и консолидации племенных союзов является первым этапом формирования народности. Б. А. Рыбаков не считает экономическую общность определяющим признаком народности, но признает наличие экономических связей докапиталистического типа в периоды существования развитых народностей, т. е. в эпоху феодализма¹.

Л. В. Черепнин подчеркнул в докладе, что все четыре признака нации в неразвитом виде присущи и народности и совсем исключать наличие (на докапиталистической основе) экономической общности как признака народности нет оснований. По мнению Л. В. Черепнина, народность в России формируется в феодальный период, так же как нация — в капиталистический.

Далее Л. В. Черепнин остановился на вопросе об этапах формирования русской народности. Он отметил, что в период IX—XI вв. существовала древнерусская народ-

¹ Б. А. Рыбаков, Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина, «Вопросы истории», М., 1952, № 9, стр. 40—62.

ность, которая образовалась путем слияния восточнославянских племен и является основой возникновения русской, украинской и белорусской народностей. По поводу древнерусской народности есть две точки зрения: некоторые историки (например, проф. Б. А. Рыбаков) утверждают, что это — устойчивое единство (сложившееся на основе трех или четырех признаков), возникшее на базе феодального способа производства; другие (например, проф. В. В. Мавродин) считают древнерусскую народность единством неустойчивым, так как четвертый признак — наличие экономической общности, по их мнению, здесь отсутствует.

Останавливаясь на периоде феодальной раздробленности, Л. В. Черепнин также изложил разнообразные точки зрения историков. Так, проф. И. И. Смирнов и проф. В. В. Мавродин считают, сказал докладчик, что распад древнерусской народности был связан с государственным распадом и совпал с распадом языка. Существенную роль в этом распаде сыграло татаро-монгольское нашествие. Период феодальной раздробленности был периодом экономического и политического упадка и регресса. По мнению акад. Б. Д. Грекова и др., общепринятому в настоящее время в литературе, древнерусское государство не распалось, а расчленилось на ряд самостоятельных полугосударств. Изменения в базисе и образование нескольких феодальных центров отразились и в надстройке. Что касается языка, то распада его также не было, а шло естественное его развитие и дробление. Татарское нашествие сыграло роль в дальнейшем расчленинии древнерусской народности на великорусскую, украинскую и белорусскую.

Л. В. Черепнин заметил, что отнесение времени формирования и существования великорусской народности к XIV, XV, XVI вв. не вызывает возражений, но требует еще специальных дополнительных исследований. Он сослался на указания В. И. Ленина и И. В. Сталина, которые относят время формирования нации в России к XVII в., и сделал вывод, что процесс формирования русской народности в основном завершился в XVI в. К XVII веку уже создались предпосылки формирования нации. Наконец, Л. В. Черепнин указал, что необходимо учитывать и роль образования русского централизованного государства в формировании великорусской народности. В трактовке всех этих сложных проблем, сказал он, весьма важным, существенным, если не решающим, является участие языковедов.

Выступая по докладу Л. В. Черепнина, акад. В. В. Виноградов отметил, что для лингвистов древнерусская и великорусская народность — явления различные и что грань между ними проходит в XIV в., когда происходит перемещение языкового центра с юга на северо-восток.

Информационное сообщение о взглядах историков на проблему формирования русской нации сделал акад. Н. М. Дружинин, подробно остановившийся на вопросе о хронологических границах формирования русской буржуазной нации. Он указал, что, по мнению проф. В. В. Мавродина, период формирования нации охватывает XVII и первую половину XVIII в., когда наличествуют все четыре признака, определяющие нацию; на дискуссии же 1952 г. в секторе капитализма Института истории АН СССР (по докладу Н. М. Дружинина) канд. истор. наук Н. И. Павленко утверждал, что этот процесс захватывает и XIX в. По мнению самого Н. М. Дружинина, высказанному на той же дискуссии, возникновение капиталистического уклада в недрах феодального строя в России относится к 60-м годам XVIII в. Завершение же процесса становления капитализма он относил к середине 80-х годов XIX в., когда пролетариат сформировался как класс в результате промышленного переворота и разложения крестьянства. В эти хронологические рамки укладывается и процесс формирования русской буржуазной нации.

Большинство участников дискуссии 1952 г., как сообщил акад. Н. М. Дружинин, не согласилось с этой точкой зрения. Ссылаясь на указание В. И. Ленина об образовании всероссийского рынка, большинство предлагало датировать начало образования русской нации XVII в., когда сложился национальный рынок и имелись уже культурные центры. Конечной датой формирования нации эти историки предлагали считать 1861 г.

Что же касается образования национальной этнической территории, то, по мнению Н. М. Дружинина, этот процесс завершился в XVIII—XIX вв. присоединением и освоением Причерноморья и Дальнего Востока.

Отметим попутно, что некоторые историки, выступавшие на дискуссии 1952 г., указывали, что устойчивый центр великорусской народности сложился уже в XVII в.

Разумея под общностью языка единство не только его разговорной, но и литературной формы, Н. М. Дружинин относит завершение процесса образования русского национального языка к пушкинскому периоду.

На дискуссии было высказано и мнение о том, что в качестве признака формирующейся нации достаточно наличия общеразговорной народной русской речи, сложившейся в XVII в.

Новая буржуазная культура, в частности, нарождавшаяся литература восходящего класса, была вначале прогрессивной и отражала борьбу со старой феодальной

культурой, сказал докладчик. Лишь начиная с 30 — 40-х годов XIX в. общность культуры утрачивается, выделяются революционно-демократическое и либерально-реформистское течения.

С этой точкой зрения расходятся взгляды члена-корр. АН СССР М. В. Нечкиной, которая на дискуссии 1952 г. утверждала, что русская буржуазная культура с самого начала была реакционной и что с нею боролась передовая, демократическая и социалистическая культура эксплуатируемого народа.

На той же дискуссии 1952 г. акад. Н. М. Дружининым было намечено четыре этапа в процессе формирования русской нации, которые нашли свое отражение в росте национального самосознания: первый, — когда в идеологии складывающейся нации сохраняется еще связь с феодальной традицией, но идет уже открытая борьба за национальную духовную независимость; второй — с 90-х годов XVIII в. по 1825 г., — когда идея отечества связывается с революционными стремлениями; третий — 1826 — 1860 гг., — когда ставится вопрос о мировых судьбах русской нации и начинается дифференциация буржуазной культуры; четвертый — 1860 г. — 80-е годы XIX в., — когда идея национального самосознания достигает высшей точки своего развития в публицистике, литературе и искусстве.

Далее Н. М. Дружинин перешел к вопросу о современной постановке проблемы формирования русской нации и указал, что решение этой проблемы зависит от правильного толкования понятия «поднимающийся капитализм», в которое следует включать не только наличие товарного производства и товарного обращения (они характерны и для периода феодализма), но и появление зачатков капитализма, системы эксплуатации наемного труда, имевшейся в России уже в XVII в. Доказательства этому можно найти в работах А. М. Панкратовой о формировании рабочего класса, И. В. Степанова о гулящих-работных людях Поволжья в XVII в. и др.

Во второй половине XVIII в. ростки капитализма уже превращаются в складывающуюся буржуазную систему хозяйства, которая побеждает и утверждается в 1861 г. Поэтому, говорит Н. М. Дружинин, начало процесса формирования русской буржуазной нации следует отнести к XVII в., а завершение датировать 1861 годом. В XVII в. этот процесс нашел свое отражение в публицистике, сатире и светской повести; в первой половине XVIII в. он отразился в публицистике петровского времени, в связи с чем культуру этого времени можно назвать культурой складывающейся нации².

В конце доклада Н. М. Дружинин резюмировал свои положения, указав, что процесс формирования нации и консолидации ее признаков шел в период между XVII в. и 1861 г. Таким образом, этот процесс занимает столько же времени, сколько процесс формирования капиталистических отношений, и не может завершиться до победы капитализма, что имело место к 1861 г. Русский капитализм просуществовал до 1917 г.; столько же времени, по мнению Н. М. Дружинина, существовала сложившаяся русская буржуазная нация. В заключение своего сообщения Н. М. Дружинин поставил ряд вопросов, которые возникают у историков при изучении процесса формирования нации. Эти вопросы обращены к языковедам, литературоведам и искусствоведам: к языковедам — вопросы о роли литературного языка в этом процессе и о времени окончательного формирования русского национального языка; к литературоведам и искусствоведам — вопросы об особенностях психического склада русской нации (в чем они проявляются, когда и как образуются).

Выступая в прениях, акад. В. В. Виноградов поставил важный вопрос о качественном отличии языка нации от языка народности, о переходе языка народности в язык нации. Он указал, что у языковедов приняты четыре основных условия перехода языка народности в язык нации: 1) изменение отношения общенародного языка к диалектам; известно, что с созданием национального языка диалектное дробление прекращается; 2) повышение роли литературного языка как основы национального языка; 3) развитие литературного языка на базе общенародного; 4) создание общих обязательных норм языка (грамматика, синтаксис и т. п.). В. В. Виноградов сказал, что основы национального языка возникли в недрах языка народности. Проф. Р. И. Аванесов обратил внимание на то, что с XVII в. перестают развиваться новые диалектные различия — это первый признак формирования языка нации. Кроме того, в XVII в. складывается окончательно московское просторечие, которое немногим отличается от просторечия XIX в. — второй признак языка нации. Поэтому можно относить начальный период формирования национального языка к XVII в.

Проблемам образования языка великорусской народности и языка русской нации и в связи с этим соотношениям общенародного языка и местных диалектов на различных этапах истории общества был посвящен доклад проф. Р. И. Аванесова. В первой

² В дальнейшем на дискуссии против этого положения возражал¹ член-корр. АН СССР Д. Д. Благой, не считающий возможным говорить о национальной культуре при Петре I.

части своего выступления Р. И. Аванесов рассмотрел теоретические вопросы, связанные с проблемой соотношения языков и диалектов в истории общества.

Проблема образования национального языка, сказал докладчик, может быть разрешена лишь при условии изучения его истории на протяжении всех доступных для исследования эпох. История развития языков от родовых до национальных, в применении к отдельному языку, представляет собой сложный процесс языковой дифференциации, с одной стороны, и интеграции близко родственных диалектов, с другой. В течение многих эпох с разной степенью интенсивности и с разной широтой действовали оба эти процесса, и только при капитализме постепенно прекращается процесс языковой дифференциации в пределах отдельного языка.

В результате действия языковой интеграции диалекты каждой данной эпохи пережиточно отражают общенародные языки прошлого. Так, в языке древнейшей народности, образовавшейся на почве консолидации племен, диалекты могут отражать племенные языки прошлой эпохи. Наоборот, по мере действия в данную эпоху процесса языковой дифференциации, диалекты, возникшие на основе этого процесса, соответствуют новым социальным общностям этой эпохи и развиваются вместе с последними. В этом случае общие черты разных диалектов, как правило, являются унаследованными от прошлого. Например, отличительные черты близко родственных племенных языков объясняются развитием новых социальных общностей — племен на базе единого в прошлом племени, а общие их черты унаследованы или возникли в них независимо друг от друга в силу единства внутренних законов их развития, доказывая в том и другом случае общность происхождения этих диалектов.

Сосуществование процессов дифференциации и интеграции в течение длительного периода обуславливает то, что на протяжении этого периода в каждую данную эпоху одни диалектные различия соответствуют прошлым этапам развития общества, а другие — развивающимся новым социальным общностям. Например, в языке древнейшей народности одни диалектные различия могут восходить к племенам, из которых образовалась данная народность, а другие, имеющие иное территориальное распространение, могут быть связаны с развитием отдельных частей этой народности и соответствуют намечающимся социальным общностям — «полугосударствам».

При решении проблемы соотношения общенародного языка и местных диалектов, сказал Р. И. Аванесов, нужно иметь в виду характер диалектных различий в данном языке. Различия между диалектами в отдельных языках и в разные эпохи неодинаковы. Диалекты одних языков весьма близки друг другу и мало отличаются по своему основному словарному фонду и грамматическому строю. Диалекты других языков оказываются дальше друг от друга, и их различия больше затрагивают основной словарный фонд и грамматический строй. Однако и в том и в другом случае общие элементы языковой структуры доминируют над чертами различия, поскольку диалекты, не являясь самостоятельными языками, всегда сочетают в себе общие признаки данного языка с частными признаками диалекта как его ответвления.

Кроме того, отметил докладчик, важно обратить внимание и на роль разных диалектов в формировании языка народности и национального языка. В процессе развития языка народности в национальный язык в одних исторических условиях ведущий диалект языка народности может не отличаться от ведущего диалекта национального языка; в этих случаях в структуре национального языка его диалектная основа проявляется наиболее полно. В других исторических условиях в процессе развития национального языка ведущий диалект языка народности перестает быть таковым, и на его место выдвигается другой диалект, определяющий дальнейшее развитие языка; в этих случаях диалект-основа в структуре национального языка проявляется более ограниченно. Это объясняется тем, что, в связи с устойчивостью языка и преемственностью в его развитии, в систему норм национального языка входят лишь те черты нового диалекта-основы, которые не ломают традиции и которые развиваются в самом диалекте-основе в эпоху образования национального языка.

Проф. Р. И. Аванесов отметил далее, что проблема образования национального языка включает в себя и вопрос о письменном литературном языке, ибо национальный язык всегда имеет свою письменную, литературно обработанную форму. Особенно существенно установить, насколько давней является письменность и письменная традиция на данном языке, существовала ли у данного народа в его истории письменность на чуждой или только на общенародной основе, существовали ли разные типы письменного языка для удовлетворения разных социальных потребностей. Все это отражается на характере складывающихся норм языка и на характере отношений общенародного языка и местных диалектов. Образование национального языка тесно связано с развитием его письменной литературной формы, являющейся литературно обработанным нормализованным типом этого языка. Литературный язык, сложившись на общенародной основе, по мере своего укрепления начинает тормозить развитие новых явлений в диалектах, а до известной степени и в языке в целом.

Местные диалекты не являются чем-то внешним по отношению к общенародному языку. Как общенародный язык, так и диалекты представляют собой лишь многообраз-

ные формы одного и того же объекта — языка народа во всех его проявлениях; они не исключают, а предполагают друг друга, хотя и находятся на разных этапах развития общества в разных отношениях. В истории языка не было периода, когда были только диалекты и не было общенародного языка. Поэтому история развития общенародного языка, с одной стороны, и его диалектов, с другой, — это лишь две стороны единого процесса развития данного конкретного языка.

Отношения между общенародным языком и местными диалектами определяются всей историей данного общества и внутренним развитием этого языка в его диалектах. Непосредственно же эти отношения связаны: а) с характером диалектных различий на данном этапе развития языка; б) с отсутствием или наличием письменного языка и в последнем случае — со степенью выработанности его норм; в) с тем, несут ли диалектные различия характер развивающегося явления или неразвивающегося, но устойчивого, или даже деградирующего; г) с тем, в какой степени литературно обработанная форма языка оказывает тормозящее воздействие на развитие диалектов.

При образовании национального языка, сказал Р. И. Аванесов, взаимоотношения между общенародным языком и диалектами характеризуются тем, что, во-первых, постепенно прекращается образование новых диалектных различий; диалекты становятся категорией пережиточной; во-вторых, диалекты постепенно перестают быть общим типом языка на данной территории, так как часть населения переходит на нормы национального языка, и становится принадлежностью сельского населения; в-третьих, диалекты, как низшая форма по сравнению с национальным языком, постепенно становятся местными разновидностями национального языка; в-четвертых, на поздних этапах развития национального языка диалекты начинают перемалываться под воздействием литературно обработанной формы.

Проф. Р. И. Аванесов отметил далее, что на общенародной базе образуется система народно-разговорного языка, единая в потенции (так как она не охватывает те части нации, которые говорят еще на диалектах и совершают лишь переход к общенародному языку) для всей нации. В структурном отношении эта единая система развивается и все шире отражается в письменности, постепенно проникая из жанров деловой переписки в собственно литературный язык.

В заключение первой части своего доклада Р. И. Аванесов наметил черты, определяющие характер развития литературного языка. Единая система письменного языка для деловых нужд образуется уже до развития нации. Она находится во взаимодействии с образующимся единым народно-разговорным языком и отражает процессы, характерные для последнего. Собственно литературный, книжный язык сужается в употреблении, приобретая характер культового языка. Постепенно расширяется тип литературного, письменного языка на общенародной основе, который становится единственной нормализованной формой национального языка. Расширение его употребления ведет к усилению процесса перемалывания диалектов.

Отвечая на вопросы по первой части доклада, Р. И. Аванесов указал на два отличия языка народности от языка нации: 1) в эпоху существования народности диалектные различия продолжают развиваться, тогда как в эпоху существования нации этот процесс постепенно прекращается; 2) применительно к русскому языку, в эпоху народности существуют два письменных языка — книжный, церковнославянский и деловой, общенародный по своей основе. В эпоху же существования нации литературный язык един и имеет широкую общенародную основу; он постепенно превращается в нормализованную форму национального языка.

Вторую часть своего доклада проф. Р. И. Аванесов посвятил рассмотрению истории возникновения и развития русского языка. Языковое выделение восточных славян, сказал докладчик, имело место в процессе распада общеславянского единства. Их языковая общность восходит к эпохам образования тех особенностей языка, которые свойственны всем восточным славянам. Процесс образования трех славянских языковых групп был сложен; эти группы в разные периоды дописьменной эпохи находились в разных отношениях друг к другу. Древнейшие черты объединения восточных и южных славян, противопоставляя их западным; более поздние — объединяют восточных и северо-западных славян и т. д. В отличие от западной и южной групп, восточнославянская группа является наиболее цельной и единой в языковом отношении: в древнейших чертах в ней не обнаруживается никаких различий.

Можно утверждать, что в середине I тысячелетия н. э. у восточных славян развились те древнейшие особенности, которыми они отличались от южных и западных славян, будучи едины с ними в этот период во всяком случае в отношении фонетической системы и грамматического строя. Таким образом, языковая общность восточных славян предшествовала образованию древнерусской народности и явилась фактором, содействовавшим объединению племен, а не результатом этого объединения.

В значительной своей части диалектные различия у восточных славян развились в относительно позднюю эпоху, которая лингвистически характеризуется как время после падения редуцированных, а исторически соответствует эпохе феодальной раздробленности. К эпохе разложения первобытно-общинного строя и перехода к классовому

обществу языковая общность восточных славян не была нарушена. Она была одним из признаков развивающейся древнерусской народности, нашедшей свое политическое оформление в Киевском государстве.

Язык древнерусской народности характеризуется значительным единством, хотя в нем и есть диалектные различия, которые оказываются довольно стойкими вследствие отсутствия централизации. Поэтому единый общенародный русский язык X—XI вв. получил на разных территориях различную местную окраску, т. е. реально выступал в одной из близких друг другу местных разновидностей. В эту эпоху есть два типа письменного языка: один — общенародный в своей основе — для юридических и деловых жанров, второй — церковнославянский — для жанров культовых, литературно-книжных. Они находятся в разных отношениях к общенародному устному языку. В связи с почти полным отсутствием процессов нормализации письменности этого времени относительно широко отражает местную окраску.

С переходом к феодальной раздробленности (с начала XII в.) усиливается развитие местных диалектных различий в пределах отдельных земель и княжеств. По письменным памятникам можно выделить ряд древнерусских диалектов этой эпохи, а вместе с тем можно предполагать, что диалектные различия развились и на других территориях, от которых памятники до нас не дошли. В диалектах этого времени не обозначились еще языки будущих трех восточнославянских народностей, хотя отдельные черты впоследствии стали характерными для того или другого языка.

В этой связи Р. И. Аванесов остановился на статье И. М. Ионенко об образовании русского национального языка³ и указал на неверность мысли автора о прямом превращении племенных диалектов в диалекты феодальных земель, ибо последние — это не сохранение старых племенных диалектов, а прежде всего развитие новых в условиях феодальной раздробленности. Ни языковые факты — новообразования, ни самые границы диалектов этого времени нельзя возвести к племенной эпохе. Неверна мысль Ионенко и о смене с XII в. тенденции образования единой древнерусской народности тенденцией образования трех восточнославянских народностей, потому что с XII в. начинается лишь переход к феодальной раздробленности, к ослаблению общерусских связей при сохранении еще традиционного представления о древнерусском единстве. В XII — начале XIII в. на отдельных русских землях вырабатываются характерные для соответствующих диалектов признаки, некоторые из которых впоследствии станут характерными для отдельных восточнославянских народностей. Но в самой исторической действительности XII — XIII вв. нельзя видеть еще тех общностей, которые развиваются в XIV—XV вв.

Дальнейшее обособление Северо-Восточной Руси от Западной и Южной способствует оформлению великорусской народности в отличие от украинской и белорусской, которые складываются приблизительно в то же время на юго-западе и западе. Вместе с оформлением великорусской народности на северо-востоке в XIV — XV вв. там же развивается и ее язык. Письменные памятники этого периода свидетельствуют о наличии единого языка великорусской народности, северновеликорусского по своему характеру. В это время возникает и укрепляется ряд специфических великорусских явлений в языке новой народности, охватывающих ее основные части. Однако местные диалекты данной эпохи весьма устойчивы, а на периферии развиваются новые диалектные различия. Общенародный язык и в эту эпоху реально выступает в одной из своих местных разновидностей, но выделяется один ведущий (ростово-суздальский, а затем московский) диалект, который шире других отражается в письменных памятниках.

Двойкий характер письменного языка сохранился и в это время. Рядом с книжным, церковнославянским языком крепнет и развивается на общенародной основе деловой письменный язык, становящийся в XVI в. едва ли не общим для всего государства.

Уже в раннюю эпоху формирования великорусской народности, сказал Р. И. Аванесов, южновеликорусское начало играло в ней известную роль. С XIV в., когда определились различия между северными и южными говорами, южновеликорусские элементы постепенно увеличиваются. На протяжении XIV — XVI вв. при образовании централизованного государства к Москве присоединяются многие южновеликорусские территории, роль которых в жизни страны все возрастает, а к XVIII в. становится решающей. Происходит постепенная смена диалектной основы русского языка.

По мере смены этой основы ростово-суздальский диалект, одним из представителей которого был московский говор, постепенно терял свое значение, изменяясь под воздействием южновеликорусских говоров. Московский же говор, проникаясь южными элементами, еще больше начинает противопоставляться как средневеликорусский другим ростово-суздальским говорам, в прошлом однотипным с ним. Определяющим дальнейшее развитие языка становится южновеликорусское наречие, курско-орловский диалект которого, наиболее цельный и влиятельный, ложится в основу русского языка в эпоху его становления как национального. Но смена диалектной базы не сломала уна-

³ См. И. М. И о н е н к о, Об исторических условиях превращения курско-орловского диалекта в основу русского национального языка, «Вопросы истории», М., 1952, № 7, стр. 89 — 100.

следованного от прошлого языкового строя, в котором уже укрепились как многие особенности старой диалектной основы (з взрывное, *т* твердое в 3-м лице глагола, формы типа *меня* и др.), так и элементы церковно-книжного языка. Однако определяющее значение в формировании норм национального языка имеет южновеликорусское наречие и прежде всего его курско-орловский диалект. В эту эпоху укрепляется в московском просторечии и подмосковных говорах южновеликорусское по происхождению аканье, которое входит в нормы формирующегося национального языка, расширяется употребление формы им. пад. множ. числа мужского рода на *-á*, видимо, тоже южновеликорусской по происхождению, утрачиваются многие из тех древних общенародных элементов, которые сохранились в архаических северных говорах. В первой половине XVII в. московское просторечие приобретает свой средневеликорусский облик.

Заканчивая свой доклад, Р. И. Аванесов отметил, что процессы формирования норм русского национального языка особенно интенсивно протекают с XVII в., когда, как указывал В. И. Ленин, начинается новый период русской истории, связанный с образованием всероссийского рынка, с ликвидацией экономической разобщенности и т. д., т. е. с процессом формирования русской нации⁴. В эту эпоху образование новых диалектных различий постепенно прекращается, а вновь возникающие (это может иметь место в определенных условиях на более или менее ограниченных территориях) не получают широкого распространения. Однако существующие различия держатся долго, лишь позднее подвергаясь воздействию норм национального языка. В эту эпоху постепенно развивается и укрепляется единый литературный язык на живой общенародной основе, который становится литературно обработанной формой национального языка.

Доклад Р. И. Аванесова вызвал много вопросов и замечаний, отвечая на которые докладчик развивал и уточнял свои основные положения. Вместе с тем ряд вопросов показал, что окончательное разрешение поставленной проблемы требует новых больших исследований. Таковы, например, вопросы о качественных, структурных отличиях языка народности от национального языка, о разнице между письменным и разговорным языком в древнерусскую эпоху и т. д.

Выступая по докладу Р. И. Аванесова, В. В. Виноградов отметил как недостаток построения доклада ту его черту, что в нем чисто языковые процессы не прикреплены к носителю языка в каждый данный момент: когда говорится об общеславянском языке и о его распаде, то остается неясным, в каком отношении эти языковые процессы связаны с судьбой самого носителя этого языка, а затем его отдельных групп. В. В. Виноградов выразил сомнение в правильности того положения, что процесс «распада» общеславянского языка сопровождается возникновением явлений, охватывающих все восточнославянские племена, но без каких-либо процессов дифференциации внутри этих племенных групп, что после распада общеславянского языка у восточных славян отсутствовала какая бы то ни было языковая дифференциация.

Недостаток доклада, по мнению В. В. Виноградова, заключается также в том, что он строится почти исключительно на основе изучения фонетических процессов; очень мало привлекаются данные грамматики и совсем остается нетронутым словарный состав. Между тем основу языка составляют грамматический строй и основной словарный фонд. Наконец, важен и вопрос о различии внутреннего качества самого языка в разные периоды его развития. По этому внутреннему качеству языки древнерусской и великорусской народности сильно отличались, даже в основном словарном фонде. Вопрос же о процессе развития, например, языка народности в язык нации решается Р. И. Аванесовым так, что с курско-орловским диалектом связывается, в основном, только распространение аканья, а само развитие нового в структуре языка остается неясным.

В. В. Виноградов отметил также (в связи с вопросом М. В. Нечкиной о различии языка народности и языка нации), что процесс формирования литературного языка в эпоху образования и развития нации сопровождается расширением его функций и вытеснением тех его разновидностей, которые были образованы не на народной основе. Общенародный литературный язык начинает обслуживать разнообразные формы проявления культуры; это расширение и осложнение сферы применения литературного языка связано с его стилистическим расслоением. При этом надо иметь в виду, что при наличии функционально-стилевого многообразия языка единство его структуры, его грамматического строя остается непоколебленным.

Вопросы связи истории русского литературного языка с процессами образования древнерусской и великорусской народностей и русской нации были освещены в докладе акад. В. В. Виноградова. В. В. Виноградов указал на наличие многих неясностей и спорных положений в решении таких важных вопросов, как вопрос о понятии литературного языка в его историческом развитии, о его стилистическом составе в раз-

⁴ См. В. И. Ленин, Соч., т. 4, стр. 137 — 138.

ные исторические эпохи, о формах отношения литературного языка к общенародному языку древнерусской и великорусской народностей, а затем — о качественных его отличиях в период возникновения и развития национального языка.

Останавливаясь на проблеме возникновения русского литературного языка, докладчик критически излагает различные теории, существующие по этому вопросу в русской науке. Он подробно анализирует точку зрения акад. А. А. Шахматова на проблему образования русского литературного языка, указывая, что в развитии взглядов Шахматова здесь можно видеть два периода. В первый период он полагал, что письменный русский литературный язык возник в Киеве и его родоначальником был церковнославянский язык, перенесенный из Болгарии. Под этой чуждой оболочкой рано начинает пробиваться живой язык народа (что связано с образованием в Киеве к X в. общего городского разговорного языка), который вскоре после возникновения древнерусской письменности проникает в сферу письменного общения: летописи, исторические сказания и юридические акты пишутся близким к живой речи языком, который лишь в подборе слов и в синтаксических оборотах выявляет свою зависимость от церковной письменности. Когда роль Киева перешла к Владимиру, а затем к Москве, туда были перенесены и памятники письменности, и городской язык Киева, на котором, как думал Шахматов, говорили духовенство и дружинники. Однако со временем в Москве складывается новое наречие, великорусское по преимуществу, получающее общеобластное значение. Таким образом, по мнению А. А. Шахматова, с XIV в. как бы меняется диалектная база литературного языка, но развитие традиций, восходящих к киевскому государственному языку, продолжалось как в лексике и фразеологии, так и в стиле. Городское наречие Москвы, так же как раньше киевское, скоро проникает в деловую письменность, однако долгое время письменный московский язык имеет соперника в церковнославянском, и только в XVIII в. происходит слияние обоих языков — приказного московского и церковнославянского. В результате этого литературный язык, оставаясь в своей основе народным, обогащается запасом церковнославянских слов.

В дальнейшем А. А. Шахматов все больше проникается мыслью о влиянии болгарского языка не только в книжной, но и в живой разговорной речи: уже в X в., по его мнению, устный болгарский язык стал живым языком киевской интеллигенции. При этом Шахматов думает, что такая болгаризация древнерусского языка повлияла и на язык устной народной словесности, что отражается в языке «Слова о полку Игореве». Шахматов создает исторически неоправданную картину распространения болгарского влияния на жителей разных русских городов, изменявших свою речь под влиянием книжного языка при усвоении слов и повятий, ведущих к древнеболгарскому источнику. По мнению Шахматова, уже в XI в. произошло преобразование древнеболгарского языка в русский литературный язык. Дальнейшее развитие литературного языка — это процесс его русификации, пока во второй половине XVIII в. не создается национальный, чисто русский язык, совпадающий с народным языком.

Этим положениям, сказал В. В. Виноградов, противопоставлена концепция акад. С. П. Обнорского. Вначале (1934 г.) точка зрения акад. Обнорского заключалась в том, что в Новгороде на живой славянской основе (но с сильным влиянием Запада — немцев и западного славянства) был создан русский литературный язык, во всех своих частях свободный от древнеболгарского влияния; этот язык затем проник во все другие центры древнерусского государства. Позже (1946 г.) С. П. Обнорский по-иному представлял процесс образования и развития древнерусского литературного языка; он считал, что язык, создавшийся на живой восточнославянской почве, был с самого начала общерусским. Это доказывается анализом различных древнерусских памятников, охватывающих период от начала XI по конец XII в. Дальнейшее развитие литературного языка, по мнению С. П. Обнорского, состояло в усилении на него, особенно с XIV в., церковнославянского влияния. Но чем это вызвано и почему развитие идет в таком направлении — остается неясным.

В. В. Виноградов охарактеризовал также взгляды проф. Л. П. Якубинского, отметив, что концепция последнего является попыткой теоретического обоснования взаимодействия церковнославянского и древнерусского языков. В теории Л. П. Якубинского можно увидеть сохранение элементов концепции Шахматова, но в сочетании с концепцией Обнорского о самостоятельном развитии русского литературного языка. По мнению Л. П. Якубинского, господствующим литературным языком в X — XI вв. был церковнославянский, а затем, в связи с усилением значения веча, развитием городского быта и расширением частных деловых сношений, происходит культурно-языковая революция, и с XI в. усиливается роль и значение живого восточнославянского языка, который становится литературным в определенных жанрах письменности. Но вместе с тем, думает Л. П. Якубинский, традиция церковнославянского языка не исчезает совершенно, а резко суживается и ограничивается в своей функции. Церковнославянский язык поступает на службу древнерусскому литературному языку, его лексика образует один из его стилистических слоев.

Таким образом, отметил В. В. Виноградов, если С. П. Обнорский вообще не говорит о стилях древнерусского литературного языка, то Л. П. Якубинский полагает,

что развитие этого языка на живой восточнославянской почве с самого начала определилось как развитие нескольких стилей, отличающихся друг от друга, но имеющих общую структурную основу. Л. П. Якубинский различает три стилиевых потока в древнерусском литературном языке. Первый — стиль деловой письменности, связанный с живой разговорной основой и включающий мало книжных форм. Второй — стиль художественной литературы, восходящий к устно-поэтическому языку и отражающий также стилистическое использование церковнославянской традиции. Это — в широком смысле литературные стили. Третий, — опирающийся главным образом на церковнославянский язык, — это стиль, связанный с обслуживанием культа и применяющийся также в жанрах церковной письменности.

В. В. Виноградов указал, что ни одна из изложенных теорий возникновения литературного языка целиком не разделяется в настоящее время советскими языковедами. Более или менее признается точка зрения Якубинского в отношении трех стилей древнерусского литературного языка.

Переходя далее к характеристике различных периодов в истории литературного языка, докладчик отметил, что для древнерусской эпохи можно утверждать наличие единого литературного языка с многообразной системой стилей, хотя, надо сказать, вопрос о многообразии стилиевых форм древнерусского литературного языка как следует не изучен. Этот язык в существенной своей части имел общее в основном словарном фонде и грамматическом строе с языком восточнославянской народности, но формы и особенно сложные синтаксические конструкции в отдельных стилях отражали письменную традицию, шедшую из старославянского языка, в частности — от древнеболгарской письменной культуры. Вместе с тем характерными чертами древнерусского литературного языка, в отличие от современного, являлись, как уже отмечал Л. П. Якубинский, отсутствие единых и твердых норм употребления грамматических форм и широта диалектного многообразия: диалектные особенности пробиваются и в фонетике, и в морфологии, и в лексике.

Что касается эпохи XIV — XVI вв., то в этот период, по мнению В. В. Виноградова, в развитии литературного языка наблюдается характерный процесс, связанный с формированием языка великорусской народности. К XIV — XVI вв. в языках трех восточнославянских народностей произошли существенные изменения в грамматическом строе: изменилась система временных форм глагола, шло развитие категории вида и т. д. Это были общерусские изменения, которые нашли свое отражение и в языке великорусской народности. Но вместе с тем складывание этого языка было связано со смещением диалектной базы: он ориентируется на ростово-суздальский диалект, а позднее на говор Москвы. Это обусловило изменения в основном словарном фонде и в словарном составе, как и в фонетической системе и грамматическом строе языка великорусской народности. В этот период происходят качественные изменения и в литературном языке, где выступают вместо трех стилиевых потоков, отмеченных Л. П. Якубинским, два. Изменения в языке великорусской народности облегчили возможность формирования стиля деловой письменности и примыкающих к ней жанров на великорусской, точнее — среднерусской народно-диалектной базе. Установившаяся в Москве система государственного делового языка и примыкавших к нему жанров с XIV—XV вв. начинает оказывать сильное влияние на областные вариации литературного языка (под этим влиянием изменяется, например, язык новгородских грамот). В языке деловой письменности Москвы постепенно формируются морфологические и орфографические нормы литературного языка на народной основе.

Но наряду с этими стилями литературного языка, тесно слитыми с языком новой этнографической среды и складывавшимися на базе языка великорусской народности, на среднерусской диалектной основе, мы наблюдаем поток стилей, связанных с продолжением традиций прежнего литературного языка, стилей риторических, высоких, в которых культивируются книжные архаические формы; возрождается ряд лексических пластов и фразеологических конструкций, восходящих к языку древнерусской эпохи. Эти стили связаны с традициями церковнославянского языка и с историей литературного языка периода древнерусской народности.

Отвечая на вопрос, почему сохраняются и даже получают развитие архаические формы языка, В. В. Виноградов указал, что это связано, во-первых, со вторым югославянским влиянием, под которым, по его мнению, и надо понимать возрождение архаических форм, особенно в XV в., а во-вторых, с тем, что в длительном и постепенном процессе формирования делового языка еще полностью не произошло его освобождения от местных диалектных вариаций, в связи с чем деловой язык не мог стать основой для развития на нем единой литературы. Этим объясняется временный успех высокого стиля, где не было диалектных вариаций, а было представлено внешнее парадное единство.

В этом стилиевом потоке — книжном, до известной степени церковнославянском — происходила переработка на новой почве предшествующих стилей русского языка. Активное использование русских архаических слов, славянизмов, а также книжных и даже искусственных образований привело к большому расхождению высоких стилей с общей речью народа. Но, сказал докладчик, письменная речь XV — XVI вв. содей-

ствовала и обогащению литературного языка, ибо все ценное, что создавалось в рамках высокого слога, вошло составным элементом в национальный литературный язык.

Неясным остается вопрос о влиянии языка устно-поэтического творчества на развитие этих двух стиливых потоков, но такое влияние, без сомнения, было.

Характеризуя дальнейшее развитие литературного языка, В. В. Виноградов сказал, что с XVI в. происходит расширение функций близкого к живой разговорной речи стиливого потока: он воздействует на стиль публицистики, на все расширяющийся стиль деловой переписки, а затем в него включается ряд повествовательных стилей. В XVII в. происходит распад системы риторических, высоких стилей, все больше начинает колебаться противоположность двух стиливых потоков литературного языка — простого и высокого. С конца XVII в., а особенно в петровскую эпоху ясно определяется система так называемых «посредственных», или средних, стилей, — то течение, в котором происходит переплавка элементов того и другого стиливого потока и которое сыграет потом большую роль в процессе формирования нормы литературного языка. При этом важно отметить, что в середине XVI — начале XVII в. в стилях, близких к живому языку великорусской народности, устанавливается та морфологическая система, которая затем ляжет в основу грамматического строя национального русского литературного языка — устанавливается структура склонений и спряжений, хотя в высоком стиле и продолжают употребляться архаические формы.

Развитие литературного языка этого периода связано с тем, что стиливой поток, близкий к народной речи, все глубже внедряется в систему высоких стилей, сильно изменяя ее. На почве такого взаимодействия и развиваются средние стили, в которых происходит освобождение от диалектной пестроты простого слога и обработка и национализация элементов высокого славянизированного стиля. Все эти процессы вели к выработке единой национальной нормы литературного языка. В. В. Виноградов указал, что при создании этой стилистической нормы раньше всего складывается морфологическая система. Что же касается фонетики литературного языка, то здесь нормы устанавливаются только во второй половине XVIII в. Больше всего вариаций имеет и длительнее всего развивается синтаксический строй при твердой устойчивости основного структурного ядра как в системе предложений, так и в области словосочетаний. Развитие форм словосочетаний и конструкций идет особенно усиленно с XVIII в.; тогда же определяются основные нормы словарного состава литературного языка.

Кроме того, докладчик заметил, что формирование стилистической нормы литературного языка связано с языком центра. В связи с этим он подошел критически как к точке зрения проф. Б. А. Ларина, считавшего, что разговорный язык Москвы XVII в. отличался диалектной пестротой, так и ко взглядам акад. С. П. Обнорского, утверждавшего, что в процессе формирования национального литературного русского языка большую роль сыграли северновеликорусские говоры. Вернее — старое мнение, что русский литературный язык сложился на основе московского говора.

В. В. Виноградов подробно охарактеризовал процессы развития русского литературного языка в связи с формированием национального языка. Он указал, что с конца XVII — начала XVIII в. все больше определяются основные стиливые системы в составе литературного языка; все большее значение для делового производства, публицистики и некоторых жанров научного языка приобретает средний стиль.

К началу XVIII в. в русском литературном языке уже вполне установился освобожденный от многих славянизмов и близкий к живой общенародной речи грамматический строй, в котором все сильнее давали себя знать некоторые черты южновеликорусского наречия (например, именительный падеж множественного числа на -а от существительных мужского рода). Во всем этом, сказал В. В. Виноградов, можно видеть отражение влияния южновеликорусской системы, которое сказалось в развитии отдельных вариантных форм и, кроме того, в существенном изменении или обогащении словарного состава литературного языка, т. е. в вытеснении прежних слов их синонимами, шедшими из южных говоров, или в пополнении литературного словаря словами народной, чаще южнорусской областной речи.

Докладчик отметил, что в литературном языке XVIII в. сохраняются три стиля — простой, средний и высокий. При всем этом в простом стиле еще продолжают диалектные колебания; средний стиль, установившийся на средневеликорусской основе, но впитавший южновеликорусские элементы, к концу XVIII в. более или менее стабилизируется; в высоком стиле продолжается еще употребление архаических форм.

В развитии всех этих процессов сыграла огромную роль ломоносовская нормализация грамматического строя литературного языка: Ломоносов создал единую грамматическую базу национального языка и установил нормы употребления грамматических форм. Для развития литературного языка XVIII в. центральной проблемой становится упорядочение и обогащение лексического состава литературного языка. Реформа Ломоносова устанавливала базу для формирования среднего стиля, в который отбирались элементы живой разговорной речи и в который проникали славянизмы, тесно связанные этой живой речью.

Развитие русского литературного языка, сказал В. В. Виноградов, «включает в себя и нормализацию среднего стиля во всем многообразии его лексических норм и выражается, с другой стороны, в поисках взаимодействия элементов высокого и простого слога и установления общей нормы национального литературного языка. Главным же было то, что возникал вопрос об отборе тех элементов высокого слога, которые легко сочетались с элементами общенародными. Этот процесс идет на протяжении всего XVIII в., причем здесь остро сказывается борьба классовых точек зрения на характер отбора тех или иных элементов. Показательна первая система такого отбора, связанная с творчеством Карамзина, которая была попыткой поэтизации однотипных элементов среднего стиля, в результате чего получилось сильное обеднение словарного состава.

Последующее развитие национального литературного языка и национальной художественной литературы, связываемое с именем Пушкина, состояло в том, что в язык художественной литературы проникают народно-диалектные формы в их национальном восприятии. В творчестве Гоголя виден процесс более широкого включения в литературный язык разнородных диалектных элементов, элементов народной речи и системы просторечия, ранее оставшейся за пределами литературы.

Говоря о малой изученности вопроса о просторечии, В. В. Виноградов отметил, что в XVII — XVIII вв. наряду с диалектными вариациями общенародного языка установилась такая система разговорной речи, которая была тоже общенародной, но которая не включалась в литературный язык, хотя и была его подосновой. Во второй половине XVIII в. возникает проблема «олитературивания» просторечия, т. е. связывания его с устной нормой литературного языка или создания норм литературного разговорного языка. На протяжении XIX в. шла обработка просторечия и расширение норм литературно-разговорной речи. В связи с этим докладчик заметил, что если современный литературный язык имеет письменную и устно-разговорную формы, то о наличии последней нельзя говорить по отношению, например, к древнерусскому литературному языку. По мнению В. В. Виноградова, о н о р м и р о в а н н о й общенародной форме устного выражения можно говорить лишь по отношению к тому народно-разговорному языку, с которым, в основном, совпадает и литературный, т. е. по отношению к тому периоду, когда литературный язык существует в составе общенародного национального языка.

Подводя итоги всему сказанному выше, докладчик заключил, что процесс развития литературного языка, связанный с формированием великорусской народности, продолжается с XIV до XVII в., но со второй половины XVI в. уже виден некоторый перелом в сторону развития национального языка. Что же касается развития литературного языка в национальный период, то процесс идет неравномерно в разных частях языка. Если в области морфологии уже со второй половины XVI в. устанавливается некоторое единство, то в лексике сближение литературного языка с общенародным развивается в течение XVIII в., и лишь в первой половине XIX в. словарный состав литературного языка полностью включается в систему общенародного языка.

В. В. Виноградов указал, наконец, на один чрезвычайно сложный вопрос — на вопрос о единстве структуры литературного языка при всем многообразии его стилей в ту или иную эпоху. В настоящее время из-за отсутствия исследований такого рода нельзя показать, например, общность базы двух стилистических потоков литературного языка XIV—XVI вв. и определить вместе с тем их различия.

В своем докладе В. В. Виноградов затронул также проблему возникновения древнерусской письменности и указал на неверность попыток оторвать целиком развитие русской графики и в известной мере орфографии от истории графики и орфографии старославянского языка. Однако, отметил он, это связано не столько с церковной традицией, сколько с тем, что славянские народы в то время находились в живых и тесных культурных и политических сношениях. Письмо является общеславянским, и близкие его разновидности могли возникнуть на разных славянских территориях.

Что же касается связи возникновения литературного языка с возникновением письменности, то, сказал докладчик, неверно думать, что если есть письменность, то есть и уже сложившийся литературный язык. Запись разговорной речи — это еще не литературный язык, под которым понимается язык художественной литературы, науки, делопроизводства. Когда появляется письмо, появляется и проблема формирования литературного языка и его разных стилей на базе разговорной речи путем закрепления ее в письменных формах. Но эти вопросы остаются еще не изученными, и книга Д. С. Лихачева «Возникновение древнерусской литературы» их не решает.

Комиссия уделила большое внимание процессам, отражающим формирование особенностей психического склада русской нации, в связи с чем на нескольких заседаниях рассматривались вопросы формирования русской национальной культуры — литературы, фольклора, музыки, изобразительного искусства.

Вопросам развития литературы в свете проблемы образования русской народности

и нации было посвящено три доклада — члена-корр. АН СССР Д. С. Лихачева, проф. М. К. Добрынина и члена-корр. АН СССР Д. Д. Благого, в которых был выдвинут ряд важных вопросов развития русско-украинской литературы.

Сообщение Д. С. Лихачева было сосредоточено на вопросах связи историко-литературного процесса с образованием древнерусской и великорусской народности, поскольку анализ этой связи дает возможность установить качественное различие между национальным самосознанием отдельных эпох. Важно увидеть, когда отдельные восточнославянские народности обособляются друг от друга и на каких этапах они еще сохраняют осознание своего единства. По мнению докладчика, в этом отношении характерны XIV, XV и даже XVI в., когда постоянное обращение к киевской старине идет в плане осознания этого единства. «Задонщина» еще целиком отождествляется с древнерусскими традициями, но в «Сказании о Мамаевом побоище» киевские традиции отступают, и на первом плане выступает уже Москва. Во-вторых, такое изучение позволяет решить вопрос об образовании великорусской народности в связи с появлением собственно великорусской литературы. Как кажется Д. С. Лихачеву, «Моление Даниила Заточника», Лаврентьевская летопись и некоторые другие произведения XII — XIII вв. являются памятниками, связанными с будущей великорусской народностью, так как их специфические черты резко отличны от киевских, волыньских и галицких памятников. При этом вопрос о специфических особенностях великорусской литературы не может быть разрешен без связи с историей украинской и белорусской литературы — он может быть решен только в комплексном их рассмотрении. Наконец, можно поставить вопрос о роли литературы в развитии великорусской народности, ибо литература, играя активную роль, способствует тому, что данная народность осознает себя как обособленную от других.

Д. С. Лихачев отметил далее неправомерность преувеличения областных различий в литературе эпохи существования народности, ибо это ведет к отрицанию общерусской литературы. Он подчеркнул, что объединительный процесс был более сильным, чем разъединительный, и что литературоведам следует учитывать как те, так и другие процессы. В дальнейшем докладчик еще раз указал на важность этого положения.

Д. С. Лихачев указал также на отсутствие синхронности в образовании трех народностей: черты великорусской народности появляются в литературе гораздо раньше, чем черты украинской. Группа таких памятников, как Лаврентьевская летопись и «Моление Даниила Заточника», обладает особыми чертами, превосходящими позднейшую великорусскую литературу, процесс образования и развития которой не может быть сведен к простому отделению от литературы других восточнославянских народностей.

В докладе проф. М. К. Добрынина были выдвинуты следующие вопросы: каковы отличительные черты литературы народности сравнительно с литературой нации; где границы литературы, раскрывающей психический склад народности, и где границы литературы, раскрывающей психический склад нации, т. е., по существу, вопросы периодизации литературного процесса. Докладчик критически охарактеризовал различные теории периодизации истории литературы и отметил, что во всех многочисленных теориях был существенный недостаток: в основу периодизации не был положен принцип общественно-экономических формаций, отсутствовало верное понимание процесса развития, переходов от рода к племени, от племени к народности, от народности к нации. Наиболее новой в этом плане является работа Д. Д. Благого, который верно намечает момент перехода русской народности в русскую нацию — XVII — XVIII вв., но мало останавливается на признаках, характеризующих литературу народности и литературу нации.

М. К. Добрынин наметил те черты, которыми, как он считает, отличается русская литература как явление нации от литературы как явления народности. Хотя элементы национального своеобразия в русской литературе складываются раньше, чем возникает сама русская нация, но, говорит М. К. Добрынин, определить черты национальной литературы легче, если идти от более развитого состояния к менее развитому.

В литературе XIX в., как развернутой национальной форме, легко улавливаются специфические черты, национальный характер нашей литературы. Намечается ряд признаков национальной русской литературы: 1) единство языка как первоэлемента литературы; 2) усиление связей литературы с действительностью, повышение ее идейности, углубление конкретно-исторического содержания; 3) наличие тем, специфичных для русской литературы: о путях развития России, о борьбе против крепостничества за освобождение народа, показ разложения дворянства и появления капиталистического хищника и т. д.; 4) создание типов, характеров, образов, специфичных для русской литературы, представляющих собой «сгусток» явлений жизни определенного времени (Чацкий, Онегин, Печорин и др. — одна линия; Рахметов, Лопухов, Кирсанов — другая). На основе этого в литературе появляются попытки теоретической разработки вопроса о русской нации и ее характерных чертах — это делают Белинский, Чернышевский и Добролюбов; 5) изменение роли литературы в жизни нации. Достаточно вспомнить высказывание Белинского о роли русских писателей и формулу В. И. Ленина

о мировом значении русской литературы, чтобы понять роль этой последней в создании и формировании нации.

Что касается проявления черт национального характера в русской литературе XVIII в., сказал М. К. Добрынин, то здесь они не выявляются с такой яркостью, так как это ранний этап развития национальной литературы, и это обстоятельство сказывается здесь во всем: и в характере идейного содержания, и в тематике, и в типах, образах, и в языке. Идей общенационального значения раскрываются у немногих писателей XVIII в., таких, как Ф. Прокопович, потом М. В. Ломоносов и особенно А. Н. Радищев. Но у других — признаки национальной литературы не являются столь ощутительно. Таким образом, идет лишь процесс становления русской нации, но нет еще нации в развитом виде.

Наконец, в литературе русской народности (XI — XVII вв.) идейность, тематика, типы имеют характер; сама роль литературы этого времени существенно отличается от роли литературы национального периода. Только в творчестве Симеона Полоцкого выступают элементы, свойственные новому периоду.

Итак, заключил докладчик, литература XIX в. как явление национального характера, как отражение условий жизни общества содержит в себе в развитом состоянии признаки литературы нации и существенно отличается от литературы XVIII в. как первого этапа в развитии нации, а еще больше — от литературы XI — XVII вв., связанной с развитием русской народности.

Отвечая на вопрос о том, с какого времени, по данным литературного процесса, можно считать, что существует уже развитая нация, М. К. Добрынин сказал, что он предложил бы отнести к концу XVIII в., к периоду Радищева, когда появляется осознание общенациональных задач, ставящихся самим ходом развития страны.

С этим положением не согласилась Н. Н. Коваленская, высказавшая мнение, что момент становления нации следует отнести к более позднему времени. Она высказала также сомнение и в верности замечания проф. Л. В. Черепинина о необходимости отодвинуть процесс перехода народности в нацию с конца XVII в. несколько вглубь. Н. Н. Коваленская отметила, что факты истории искусства этой возможности не дают, как не представляют ее и данные истории литературы.

Член-корр. АН СССР Д. Д. Благой в своем докладе остановился прежде всего на вопросе о специфике литературы и в связи с этим не согласился с мнением проф. М. К. Добрынина об отсутствии у литературоведов возможности построить самостоятельную периодизацию развития литературы.

Он указал, что художественная литература — это специфическая форма отражения и познания действительности. Поэтому, хотя она и развивается вместе с жизнью народа и должна изучаться в органической связи с нею, нельзя недооценивать и специфику литературы, нельзя представлять ее серией исторических иллюстраций. У литературоведения как науки есть свой особый предмет изучения, ибо литература, являясь специфическим выражением жизни народа, обладает и относительной самостоятельностью своего развития. Поэтому, говорит Д. Д. Благой, в основу периодизации историко-литературного процесса должно быть положено изучение литературы в ее специфике и в объективных закономерностях ее развития. Поскольку литература должна изучаться в органической связи с жизнью народа, — периодизация литературы не может не стоять в соответствии с основными моментами этой жизни. Но вместе с тем периодизацию литературного процесса следует строить, опираясь на явления самой литературы, на этапы моменты ее исторического развития. При правильном построении этой периодизации она не вступит в противоречие с общесторической периодизацией.

С этим тезисом Д. Д. Благого не согласилась М. В. Нечкина. По ее мнению, у докладчика наблюдается разрыв с историей народа, что является неверным.

Д. Д. Благой остановился далее на основных моментах развития русской литературы как национальной. Он отметил, что уже дореволюционные историки литературы говорили, что так называемую новую литературу (в отличие от древней) надо начинать не с петровской эпохи, а с середины — второй половины XVII в. Именно в это время в литературе возникают принципиально новые явления: она начинает терять свою средневековую окраску; появляется антицерковная и политическая сатира, светские жанры историй и повестей («Повесть о Карпе Сутолове» и особенно «Повесть о Фроле Скобееве»). Типичным героем этого времени является сын, покидающий отчий дом («Притча о блудном сыне» С. Полоцкого, «Повесть о Горе-Злочастии» и др.). В финале этих повестей еще торжествует «старина», но в популярности данной темы — знамение времени. В петровское время такие повести возникают вновь, но уже с противоположным финалом («Повесть о российском матросе Василии Карютском»).

Все эти явления связаны с глубинным историческим процессом — возникновением общерусской экономической общности, началом образования всероссийского рынка, который дал возможность элементам нации, существовавшим до того в потенции, начать складываться в собственно нацию.

Важно, сказал докладчик, что через полстолетие после своего возникновения русская нация начинает развиваться как великая нация, возможность чего создали

особые исторические условия. «...еще ни одна великая нация не существовала и не могла существовать в таком удалении от моря, в каком находилась вначале империя Петра Великого» (К. Маркс, Секретная дипломатия). Северная война, являвшаяся борьбой за выход к морю, и была борьбой за возможность существования русского народа как великой нации.

Д. Д. Благой отметил, что дальнейшее развитие русской художественной литературы происходит именно как развитие великой национальной литературы. С этим связано и убыстрение темпов развития литературы. Еще литература петровского времени отставала от развития общеисторической жизни народа, от ломки старого и утверждения нового в эпоху Петра. Тогда художественной литературы как таковой у нас еще не было, как не было писателей с достаточно определенно выявленной творческой биографией, не было и широкой читательской аудитории. Уровень литературных произведений того времени был примитивным и уступал по художественным достоинствам устному народному творчеству.

Но уже в 30-е годы XVIII в. с первыми сатирами Кантемира и одами Ломоносова литература не только начинает подниматься на уровень задач общественной жизни, но и опережает ее в идейной направленности. К концу же XVIII в. у нас уже есть развитая литература, ряд блестящих писательских имен, единственное в своем роде явление — литературная деятельность Радищева.

Д. Д. Благой особо остановился на вопросе о процессе так называемой «европеизации» русской литературы XVIII в. Он сказал, что характерным в развитии русской литературы XVIII и начала XIX в. — имея в виду относительную самостоятельность литературы — было стремление к ее развитию в литературу великой нации, способную занять достойное место в ряду европейских литератур. Для этого надо было овладеть достижениями этих литератур и, не утратив самобытности, утвердить свою самостоятельность.

Далее докладчик указал, что уже Белинским были намечены три периода в развитии русской литературы: ломоносовский, карамзинский (Д. Д. Благой считает, что точнее и правильнее назвать — «карамзинско-радищевский») и пушкинский. Это правомерная периодизация русского литературного процесса времени формирования и становления национальной литературы, соответствующая основным этапам становления русского народа как великой нации.

На первом этапе этого становления «государство помещиков и торговцев» играло исторически прогрессивную роль: оно выступало в качестве основоположника национального единства; соответствующие идеи этого государства определяют собой пафос русского классицизма, его литературную специфику. Наибольшее художественное и идейное выражение это получило у Ломоносова, почему Белинский и назвал первый период развития русской литературы ломоносовским.

Но уже с 60-х годов XVIII в. начался существенный перелом в развитии литературы. И здесь также наблюдается соответствие с общеисторическим процессом, так как с 60-ми годами XVIII в. историки связывают существенные перемены в развитии экономических отношений, начало формирования капиталистического уклада в России. Во второй половине XVIII в. Российская империя достигает своих естественных в территориальном отношении границ и становится великой державой. Но в то же время все резче дает себя знать классовый характер государства помещиков и торговцев, что выражается в предельном усилении крепостнического гнета при Екатерине и в усилении в связи с этим протеста крестьянских масс. Абсолютистская монархия в эту эпоху становится тормозом в развитии страны. С этого времени складывается сатирическое, вернее — критическое направление в русской литературе. В этом наиболее плодотворном течении всей русской литературы проявилась с огромной силой ее национальная специфика, литературным выражением которой было становление критического реализма. Критическое направление с особенной силой выявляется в деятельности Новикова и Фонвизина и эмансипируется от служения абсолютной монархии в литературном творчестве Радищева, в котором имеется мощный протест против существовавшего в то время политического строя.

Все требования жизни ярко воплощаются в деятельности Радищева, который впервые внес в русскую общественную мысль революционное сознание. «Путешествие» Радищева было самым революционным и самым демократическим произведением мировой просветительской мысли XVIII в. Но, замечает Д. Д. Благой, вести начало русской национальной литературы с Радищева нельзя; книга Радищева как раз наглядно показывает незавершенность процесса становления русской национальной литературы как искусства слова. Еще Пушкин говорил, что «Путешествие» Радищева написано варварским слогом.

Не в творчестве Радищева завершился полуторавековой процесс становления русской национальной литературы и, шире, — русской национальной культуры — он завершился, по мнению докладчика, в многогранной деятельности и творчестве Пушкина, вырастающих на почве первого периода в развитии русского освободительного движения. Именно тогда сложились нормы русского национального литературного

языка, сохраняющие значение до настоящего времени. Кроме того, именно в творчестве Пушкина впервые выявилась полностью специфика русской художественной литературы. Пушкин явился первым поэтом-художником на Руси, полно и ярко показавшим национальную проблематику, которая была подсказана и обусловлена своеобразием русского исторического процесса. С поразительным чутьем великого национального художника-мыслителя Пушкин поставил в своем творчестве коренные общественно-политические вопросы своего времени и этим сообщил литературе великую просветительную силу. Но кроме того, дав русской литературе ее настоящее содержание и отразив в своем творчестве национальную специфику, Пушкин достиг во всем этом небывалого эстетического совершенства. Он создал сокровищницу национального искусства слова — специфически русскую стилистику, приемы художественного обобщения, образного отражения действительности.

Итак, заключил Д. Д. Благой, в творчестве Пушкина завершился процесс формирования русской национальной литературы. Дальнейшее ее развитие — это развитие литературы, уже ставшей национальной.

Последнее положение доклада Д. Д. Благого вызвало возражения многих членов комиссии. По мнению Н. М. Дружина, завершение процесса становления русской национальной литературы надо относить к более позднему периоду, чем деятельность Пушкина. В. В. Виноградов указал на неправомерность мнения Д. Д. Благого о том, что национальная художественная литература возникла одновременно с нормой национального литературного языка. Сначала язык должен получить свои общенациональные нормы, чтобы потом на его базе можно было создавать национальную художественную литературу. В творчестве Пушкина нормы национального языка определились, но считать, что литература стала национальной именно в его творчестве, едва ли верно, так как лишь сформировавшаяся нация и ее идеи находят свое выражение в художественной литературе, а рост этой литературы в свою очередь содействует становлению нации. Если признать, что национальная художественная литература дана нам в творчестве Пушкина, то надо признать нацию установившейся в предшествующий период развития. Р. И. Аванесов высказал мнение, что литература, удовлетворяющая всем требованиям, предъявляемым национальной культуре, не может существовать до сформирования русской нации и что трудно говорить о национальной литературе без романов Тургенева, Гончарова, Толстого.

Большие возражения встретило у членов комиссии и толкование Д. Д. Благом формулы В. И. Ленина о существовании двух культур в одной национальной культуре, понимаемой как отражение происходивших процессов разрушения национальной общности. Д. Д. Благой полагает, что формула В. И. Ленина о наличии в каждой национальной культуре элементов демократической и социалистической культуры, хотя бы в неразвитом виде, распространяется на весь период существования буржуазной нации, т. е. с XVIII в. до Советской эпохи. Но элементы культуры — это еще не культура как таковая. Хотя для нас ясна огромная разница между Радищевым и Карамзиным, хотя мы говорим о реакционном романтизме Жуковского, — надо уметь видеть прогрессивность многих и существенных сторон деятельности Карамзина и Жуковского для своего времени и не причислять полностью их творчество к другой культуре. Не надо смешивать понятие культуры и понятие лагеря: Радищев и Карамзин — это два борющихся течения в пределах одной культуры. Поэтому и можно говорить о «карамзинско-радищевском периоде» развития литературы, в котором Карамзин сыграл большую роль, в связи с чем Чернышевский и называл его великим писателем.

В своем докладе Д. Д. Благой сказал, что положение В. И. Ленина о двух культурах, понимаемое как отражение разрушения национальной общности, может быть применено лишь к последней стадии развития русского капитализма, начиная примерно с 60-х годов XIX в. С этим положением Д. Д. Благого не согласилась член-корр. АН СССР М. В. Нечкина, которая высказала мнение, что при подобной постановке вопроса нельзя понять становления культуры буржуазной нации. В любую эпоху трудящиеся массы составляют большинство нации, и надо разбираться, как каждое художественное произведение относится к основной проблематике — к борьбе масс за свое освобождение. Иначе литература будет оторвана от основного исторического процесса.

В. В. Виноградов выразил сомнение в правильности мысли, что процесс возникновения, борьбы и гибели одной большой культуры проходит в 50 лет (т. е. с 60-х годов XIX в. до 1917 г.). Прф. М. К. Добрынин считает необходимым понимать положение В. И. Ленина о двух культурах в широком методологическом плане. По его мнению, культура Карамзина и культура Радищева — это разные вещи, и борьба их очевидна. Такая борьба двух культур есть и в период народности — борьба господствующих верхов и народных масс. К этому мнению присоединилась и доктор искусствовед, наук Н. Н. Коваленская.

В связи с докладом Д. Д. Благого В. В. Виноградов поставил вопрос, в чем заключается специфика национальной художественной литературы, а в стилисти-

ческом плане — в чем специфические свойства эстетики, стиля литературы национального периода. Однако в завязавшейся дискуссии по этому вопросу никакой приемлемой для всех участников формулировки найдено не было.

Р. И. Аванесов в своем выступлении обратил внимание на то, что необходимо учитывать изменения жанров художественной литературы по мере превращения ее в литературу национальную. В литературе великорусской народности отсутствовал, например, жанр психологического романа; переход на новую систему стихосложения совпадает с начальным моментом становления русской национальной литературы и т. д.⁵

*

Вопросы народного творчества в свете изучаемой проблемы были поставлены в докладе проф. В. И. Чичерова. В. И. Чичеров указал на то, что при решении проблемы формирования русской буржуазной нации в области фольклора наиболее важны следующие вопросы: об особенностях отражения исторической действительности в творчестве русского народа на разных этапах его развития; об истории архаического обрядового фольклора; о создании разных стилей и их судьбах в истории народного творчества; об изменении формальных особенностей фольклора на разных этапах жизни народа; о времени осознания народного творчества как общенационального достояния. Докладчик отметил, что древнейшие формы русского народного творчества по способам изображения действительности близки к эпическим творениям других народов. Характерной чертой ранних форм русского героического эпоса является мифологизирование природы, однако это не означает отсутствия связи с реальной действительностью, а свидетельствует лишь о своеобразии ее изображения.

В дальнейшем в русском эпосе начинается переход к изображению бытовой реальной действительности. Максимально точное в историческом плане изображение действительности в русском народном эпосе получает развитие в исторических песнях XVI в. (цикл песен об Иване Грозном). С начала XVII в. установка на конкретное отображение действительности сказывается не только в стремлении дать точное описание события, но и представить его в бытовой обстановке, что достигается подчеркиванием личных, индивидуальных переживаний («Плач Ксении Годуновой по Скопину-Шуйскому»).

Принципиально новым видом исторической песни и по содержанию, и по форме является песня об Азове и особенно песни о Степане Разине. Фантастика песен этого периода связана уже не с мифологическими представлениями дохристианского времени, а с суевериями и поверьями крестьян, характерными для XVII в.

Исторические песни, сказал проф. В. И. Чичеров, можно подразделить на ранние — XVI в. и более поздние — вторая половина XVII, XVIII и начало XIX в. В XVIII в. идет развитие тенденции, появившейся во второй половине XVII в. и направленной к созданию нового в стилистическом отношении вида народной исторической песни (солдатская песня). Следовательно, намечается несколько этапов в развитии эпоса. В эпоху существования древнерусской народности развивается как особый вид народного искусства, отражающий историческую жизнь русского народа, былевой эпос. Этот эпос сохраняет свое значение и в последующее время и уже в XV—XVI вв. возбуждает интерес к себе как к наследству, повествующему о героическом прошлом.

В условиях складывания и укрепления национального Русского государства зарождается, а в XVI в. получает полное развитие историческая песня, продолжающая стилистические основы былевой поэзии, но характеризующаяся установкой на точность передачи исторических событий.

Во второй половине XVII в. в исторических песнях о народных восстаниях формируются новые стилистические черты, характерные для этой поэзии также и в XVIII — XIX вв. В отличие от былины и исторической песни предшествующего периода, являющихся достоянием территориально ограниченных местностей, эти новые исторические песни имеют повсеместное распространение и всеобщую изустную известность.

Далее проф. В. И. Чичеров остановился на судьбах архаического обрядового фольклора и указал, что и здесь можно видеть специфику развития народного творчества в конкретно-исторических условиях жизни русского народа. Можно наметить два типа русского обрядового фольклора, границы которых совпадают с областными границами элементов материальной культуры. Один тип — северовеликорусский. Южные границы его проходят южнее быв. Новгородской губернии, захватывая средние и южные районы быв. Тверской, Ярославской и Владимирской губернии; далее граница идет по направлению к Казани и Уралу. Второй тип — средневеликорусский — занимает земли, которые еще в середине XV в. или принадлежали Москве, или находились в

⁵ 23 ноября 1953 г. член-корр. АН СССР Д. Д. Благой прочитал на заседании комиссии новый доклад: «Роль русской художественной литературы в формировании русской нации», которым начался второй этап работы комиссии. (Доклад опубликован в журн. «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка». М., 1954, вып. 1, стр. 22—36.)

соседстве с нею (Тверь, Рязань) и были связаны с культурой центра страны. Этот тип, захватывая земли с запада от Москвы к Владимиру и Рязани, выходит на Волгу и идет по Поволжью до Каспия. Средневеликорусский тип прослеживается в быв. Курской, Орловской и Воронежской губ., но во взаимодействии с украинским и белорусским фольклором. Можно думать, что областные типы обрядового фольклора сложились в начале процесса формирования Московского государства; в дальнейшем основные черты этого фольклора — как в целом, так и в областных границах — сохраняются неизменными и в XVIII — XIX вв.

На тех же территориях, на которых распространен обрядовый фольклор, выявляются и областные стили народного творчества — северновеликорусский и средневеликорусский. У этих стилей есть и общая основа и свои особенности. Северновеликорусский стиль — специфически эпический; средневеликорусский — противоположен ему: в нем главное — раскрытие личных переживаний человека.

Далее В. И. Чичеров отметил, что важно изучать изменение разработки тем, в которых выражается формирование психического склада русского народа. Существенна, например, патриотическая тема защиты Родины. Она звучит в различных произведениях и жанрах с одинаковым смыслом, но разрабатывается по-разному. В ранних произведениях эта тема выступает как тема единения народа при защите Родины в борьбе с врагами. В фольклоре московской Руси она связана с подчеркиванием мысли об объединении и укреплении сил вокруг Москвы, об уничтожении внешней опасности. В XVIII в. эта тема звучит по-новому — как тема создания нового государства, сочетаемая с темой борьбы с внешними врагами; тогда же получает развитие и тема классовой борьбы и социального неравенства.

Параллельно с углублением и осложнением содержания идет и изменение форм народного творчества. В ранних записях ясно представлена поэтика традиционного народного творчества — единая в основе, но варьируемая в пределах областных стилей. В XVIII в. эта поэтика начинает изменяться: в ней ощущается тяготение к формам книжной поэзии. Это наблюдается во второй половине XVIII в., и явные изменения отчетливо выступают к началу XIX в. («Песня об Аракчееве» и др.). Новые формальные особенности становятся наиболее очевидными примерно с 60-х годов XIX в. Вновь создаваемые произведения строятся с использованием живых, а не традиционных стилистических форм (именно тогда развивается такой жанр, как частушка).

Наконец, проф. В. И. Чичеров обратил внимание и на изменение отношения к народному творчеству с конца XVII — начала XVIII в. Глубокий и практический интерес к нему проявляется уже в середине XVIII в. (Тредьяковский, Ломоносов), но по-настоящему народное творчество входит в круг исследовательских интересов в XIX в., особенно начиная с деятельности Пушкина. К 60-м годам борьба за народность и национальную самобытность русского искусства будет тесно соединяться с изучением и пропагандой фольклора. К середине XIX в. фольклор полностью осознается как национальное искусство, как часть национальной культуры.

*

Вопросам становления национальной русской музыки в свете общей проблемы формирования русской нации был посвящен доклад доктора искусствовед. наук Т. Н. Ливановой.

Она отметила, что корни русской музыкальной культуры уходят в глубокую древность — в IX — X века. Однако все, что зародилось в музыке до XVII в., сводится к фольклорному наследию и особым формам церковной музыки. Поэтому периодом становления национальной музыкальной культуры можно считать середину XVII в. Здесь лежит та условная линия, до которой шло развитие музыкальной культуры русской народности. Период с середины XVII в. до 70-х годов XVIII в. может быть назван переходным: здесь существует не только народная и церковная музыка, но нарождаются промежуточные жанры, и само народное музыкальное творчество претерпевает изменения — появляются новая тематика и новые стилистические черты. С 70-х годов XVIII в. уже оформляется национальная школа в музыке, зарождается и начинает становиться русская опера, создаются романсы композиторского плана и новые инструментальные формы. Но это лишь постепенное становление классической музыкальной школы. Только в середине 20-х годов XIX в., когда появляются творения созревшего таланта Глинки, можно говорить о ее рождении.

Что касается церковной музыки, то ее напевы приобрели настолько своеобразный облик, что существо их и способ записи в XVII в. резко отличаются от унаследованных раньше церковных напевов Киева. Русский народ внес в церковное пение также очень много своеобразного и резким образом изменил его характер.

В переходный период — с середины XVII в. до 70-х годов XVIII в. — начинается собирание русских песен. С конца XVII в. русские песни попадают в рукописные сборники, в которых уже представлен единый стиль записи, созданный, повидимому, широкими кругами городских грамотных музыкантов-любителей из числа разночинцев.

В этом новом виде народная песня широко распространяется по всей стране, теряя облатные признаки и становясь общенациональным искусством.

В церковной музыке в это время обращаются к многоголосию. Параллельно происходит наполнение церковной музыки светским содержанием. Но оперы, симфонии — жанров, которые были уже в других странах, в России в это время еще нет. Все это появляется с 70-х гг. XVIII в., являющихся новой гранью в развитии музыки.

Попытки создать русскую оперу были и в 50-х годах XVIII в., но это были в большей степени попытки введения в оперу русского языка, чем разработка русской музыки: музыку в подобных операх писал обычно итальянский композитор («Цефали и Прокрисса», «Альцеста» Сумарокова). Поэтому такие оперы не были еще национальными. Нельзя говорить о создании русской национальной оперы, о сложении русской национальной музыкальной культуры и в 70-х годах XVIII в. Нельзя потому, что тогда нет еще характерных черт русской национальной музыки. Музыка следует здесь еще за литературой, а не развивается самостоятельно: она создается лишь как вставка в литературный текст, и композитор целиком следует за этим текстом.

Так идет развитие русской музыки до формирования классической музыкальной школы, до Глинки. Чтобы этой музыке стать классической и подлинно национальной, ей не хватает разработки больших героических тем, связанных с крупными историческими событиями, и обращения к народной песне как основе творческого развития музыкального стиля каждого композитора. Все это появляется в творчестве Глинки.

Т. Н. Ливанова охарактеризовала черты, присущие русской национальной музыкальной школе, и указала на то, что они связаны непосредственно с историей русской нации и получают свое воплощение в ней. Этими чертами являются: раскрытие образа народного героя и народа как важнейшей силы в исторических событиях; наличие жизнеутверждающего начала, оптимистического разрешения темы, даже при ее трагедийности. Тем самым русская музыка не только воплощает характерные черты психического склада русской нации, но и способствует ее определению.

Особенностью русской классической музыкальной школы является не только обращение к важным историческим событиям в жизни русского народа, но вместе с тем и углубление в переживания человека, в его духовный мир. Для русской музыкальной школы характерна широта жанров и выражение эпического, драматического и лирического начал. Наконец, доступность и запоминаемость русской национальной музыки — это тоже ее характерная особенность.

*

В докладе доктора искусствовед. наук Н. Н. Коваленской были освещены вопросы становления русского национального изобразительного искусства.

Н. Н. Коваленская обратила внимание на то, что решить вопрос о начале становления и о времени завершения развития русской буржуазной нации может помочь классовый анализ искусства. Рассматривая развитие русского изобразительного искусства, Н. Н. Коваленская указала, что ясно оформившееся новое искусство относится к 50—60-м годам XIX в. — оно целиком принадлежит эпохе капитализма. Завершение в этот период процесса сложения русского демократического искусства, повидимому, совпадает с завершением процесса сложения буржуазной нации. Начало же этого процесса, достигшего отчетливого выражения в 60-х годах XIX в., относится к XVII—XVIII вв. и связано с определенными явлениями в развитии светского искусства. В начале XVIII в. можно увидеть первые признаки развития такого искусства, накопление отдельных его элементов, но здесь еще далеко до перехода в новое качество.

Таким настоящим переходом к светскому искусству в живописи является лишь петровское время, когда появляется новое отношение к этому искусству. Но и петровская эпоха — это лишь начало сложения искусства будущей буржуазной нации, но еще не само буржуазное искусство. Как в самой петровской эпохе, так и в ее искусстве есть противоречия: эта эпоха, прогрессивная в экономике, политическом устройстве, военном деле, не была прогрессивной в социальных отношениях. Ограниченность эпохи сказывается и в ограниченности реализма искусства петровского периода: оно приобретает придворный характер, в нем преобладает декоративизм и т. д.

С 60-х годов XVIII в. в искусстве начинается борьба нового со старым, начинает оказывать свое действие зарождение в России капиталистического уклада, который кладет отпечаток на всю культуру. В искусстве этого времени нет прямого отражения крестьянской войны и показа ее героев; но уже появляются рисунки, где дается образ скорбной, униженной, но и вместе с тем полной достоинства и могущества крестьянской Руси (Ермилов).

Постепенно нарастает реализм, который поднимает русских художников того времени на мировую высоту. Старой декоративности противопоставляется простота и правдивость в искусстве. В начале XIX в. близость к народу проявляется в жанровой живописи, которая приобретает социальный характер. Это особенно ярко видно в творчестве Кипренского, являющегося выразителем русской нации в изобразительном

искусстве. Итак, время с начала XVIII в. по вторую половину XIX в. — это период, когда завершается формирование искусства буржуазной нации.

Далее Н. Н. Коваленская остановилась на вопросе о том, как проявляются объединяющие начала в искусстве, связанные с формированием русской буржуазной нации. В этой связи она указала, что уже в XVI в. московская школа иконописания начинает подавлять остальные местные школы. В заключение доклада Н. Н. Коваленская отметила две особенности русского искусства, в которых выражается русский национальный характер, психический склад русской нации. Первая — особый демократизм русского искусства, демократизм с позиций народа. Вторая особенность связана с условиями жизни русского народа, с частыми иноземными нашествиями, что заставляло русский народ стремиться к объединению. Отсюда — патриотизм, гражданственность русского искусства.

Второй этап работы комиссии, который начался, как было указано выше, докладом Д. Д. Благого 23/XI 1953 г., будет состоять в обсуждении докладов, построенных на основе самостоятельных разысканий и исследований авторов, а также на основе заслушанных сообщений с учетом всех тех вопросов, которые были поставлены в ходе предварительного обсуждения. Комиссия планирует привлечь к обсуждению проблемы формирования русской народности и нации экономистов и философов, а впоследствии вынести все эти вопросы на большое совещание специалистов разных областей знания.

Вал. Вас. Иванов

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

29 и 30 октября 1953 г. в Институте языкознания АН СССР проходило расширенное заседание Ученого совета института с участием представителей академий наук союзных республик и филиалов АН СССР, посвященное обсуждению планов научно-исследовательской работы лингвистических институтов академий наук союзных республик и филиалов АН СССР.

С докладом «О состоянии советского языкознания и задачах научно-исследовательской работы на 1954 год» выступил акад. В. В. Виноградов. Отметив, что советские языковеды после лингвистической дискуссии 1950 г. проделали большую работу, В. В. Виноградов указал на наличие двух периодов в развитии языкознания за последние три года.

Для первого периода, охватывающего время с 1950 г. до середины 1952 г., было характерно господство коллективных и индивидуальных работ широкого теоретического размаха и сравнительно бедной фактической оснащенности. В настоящее время в одних трудах явно преобладают конкретные языковые и историко-языковые материалы над историческими или теоретико-лингвистическими обобщениями, в других же работах, наоборот, преобладает умозрительное теоретизирование, часто не оправданное широким самостоятельным изучением языковых связей. Главная же линия развития советского языкознания должна быть направлена по пути создания таких работ по языкознанию, в которых объединялось бы ясное и глубокое изложение больших теоретических выводов с глубоким анализом тщательно собранного языкового материала.

В. В. Виноградов отметил ряд мало исследованных областей языкознания и указал на необходимость разработки некоторых конкретных проблем — истории и взаимоотношения родственных языков в связи с историей народа, составления описательных и сопоставительных грамматик языков народов Советского Союза, создания высококачественных национальных толковых, а также двуязычных словарей, лексикографических руководств и обобщающих теоретических трудов по лексике.

В. В. Виноградов говорил о медленной и не всегда удачной работе по созданию самых необходимых учебных пособий для высшей филологической школы и обратил внимание на почти полное отсутствие руководств по истории отдельных языков народов Советского Союза.

Далее В. В. Виноградов назвал основные проблемы плана научно-исследовательской работы Института языкознания на 1954 г.: 1) развитие языка от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным; 2) история языка и внутренние законы его развития; 3) сравнительно-историческая лексикология и методика этимологических исследований; 4) закономерность развития словарного состава языка; 5) описание грамматического и фонетического строя современных и древних языков; 6) лексикографическая работа (сборник по теории лексикографии, словари);

7) культура речи и развитие норм литературного языка; 8) изучение языка художественной литературы; 9) изучение территориальных диалектов; 10) подготовка материалов для истории отечественной филологической науки, истории языкознания; 11) подготовка библиографического указателя литературы по русскому языку с 1825 по 1880 г.

Канд. филол. наук Б. В. Горнунг ознакомил присутствующих с состоянием работы по языковедческим проблемам, подлежащим постоянной координации, и с координационным планом по языкознанию на 1954 г. Б. В. Горнунг назвал три проблемы, подлежащие разработке по решению XII сессии по координации научной деятельности академий наук союзных республик: вопросы общего языкознания, вопросы взаимоотношения национального языка и диалектов, составление описательных грамматик, толковых и двуязычных словарей.

Б. В. Горнунг отметил, что в разработке первой проблемы (основные вопросы общего языкознания) участвовали институты языкознания лишь трех академий наук (СССР, Груз. ССР и УССР). Институт языкознания АН СССР в 1954 г. сдает в печать два теоретических сборника, один из которых посвящен вопросам грамматического строя, другой — методике сравнительно-исторических исследований. В Институте языкознания АН УССР этой проблеме посвящена лишь одна индивидуальная тема акад. Л. А. Булаховского («Сравнительно-исторический метод»), разработка которой будет закончена в 1954 г. Институт языкознания АН Груз. ССР заканчивает к 1954 г. несколько небольших теоретических исследований, посвященных вопросам природы языковых законов, классификации языков и другим проблемам. В 1954 г. работа по вопросам общего языкознания будет вестись, в основном, лишь Институтом языкознания АН СССР, в связи с чем Б. В. Горнунг указал на нецелесообразность сохранения этой проблемы в координационном плане.

Проблема взаимоотношения национального языка и диалекта, как сообщил докладчик, в такой формулировке ставится только в Институте языкознания АН СССР, где готовится работа «Язык народностей и язык наций», и в Институте языкознания АН УССР, где будет закончена работа «Полтавско-киевский диалект как основа украинского национального языка». Институт языкознания АН СССР, а также институты Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской академий работают над подготовкой диалектологических атласов. В остальных институтах союзных академий ведутся различные диалектологические исследования, которые не подчинены единому плану. В 1954 г. координация разработки диалектологических проблем должна проводиться более интенсивно.

Что же касается проблемы составления описательных грамматик, то в 1954 г. Институтом языкознания АН СССР с участием работников республиканских филиалов и академий будет закончен коллективный труд «Принципы составления описательных грамматик». Сданы в печать большие коллективные труды по сравнительной грамматике тюркских языков, исследования по синтаксису и ряд других грамматических исследований по отдельным языкам.

Работа по составлению толковых и двуязычных словарей ведется в Институте языкознания АН СССР, а также в институтах Украинской, Белорусской, Грузинской, Эстонской, Латвийской, Литовской, Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Армянской и Азербайджанской академий. В 1954 г. Институт языкознания АН СССР сдаст в печать шестой том четырнадцатитомного словаря русского языка (последний том будет окончен в 1958 г.). Параллельно ведется работа над первым томом трехтомного словаря русского языка, над словарем языка Пушкина и над словарями курдского, лакского, эскимосского и чукотского.

Член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников сделал сообщение о состоянии языковедческой работы в филиалах АН СССР. Он отметил, что в работе институтов и секторов языка филиалов АН СССР произошел решительный поворот в сторону непосредственного изучения фактов национальных языков, в сторону удовлетворения запросов практики. Докладчик указал, что в настоящее время вся работа научно-исследовательских институтов языка и литературы концентрируется вокруг трех больших тем: словарный состав, грамматический строй, местные диалекты. Осуществляется составление словарей литературных национальных языков (составляется коми-русский и русско-коми словарь, русско-финский, русско-молдавский, русско-татарский, башкирско-русский словари, толковый словарь терминов и заимствованных слов в якутском языке), в некоторых филиалах готовятся монографии на лексикологические темы. В разработке темы «Грамматический строй» участвует большинство институтов национальных республик. Так, ведется работа по составлению грамматики башкирского языка, теоретической грамматики современного финского языка, языковеды Казанского филиала работают над отдельными темами из области морфологии и синтаксиса современного татарского языка. Проводится собрание и изучение диалектных материалов. Значительное место в проблематике филиалов АН СССР занимают темы, связанные с подготовкой вузовских учебников современных национальных языков.

Отмечая, что в институтах филиалов АН СССР ведется большая и полезная работа, Б. А. Серебренников указал и на наличие ряда недостатков. Одним из существенных недостатков является чисто эмпирический характер научно-исследовательской работы,

отсутствие надлежащего внимания к общетеоретическим вопросам. Не находят никакого разрешения такие проблемы, как принципы составления научных и описательных грамматик, составления различных типов словарей, принципы изучения диалектов; медленно внедряется сравнительно-исторический метод. Б. А. Серебренников констатировал также, что языковедческие институты филиалов АН СССР, по существу, не связаны между собой и с республиканскими академиями, что координация работы в действительности нет.

29 октября на вечернем заседании, после сообщения Б. А. Серебренникова, и 30 октября на утреннем заседании выступили представители ряда институтов академий наук союзных республик и филиалов АН СССР, которые сообщили о состоянии языковедческой работы и научно-исследовательских планах на 1954 г.¹

В ходе заседания Ученого совета выяснилось, что ряд проблем, посвященных общетеоретическим вопросам (развитие языка от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальностей, история языка и внутренние законы его развития, сравнительно-историческое изучение языков и др.), отражен в тематических планах только двух институтов. Так, в Институте языкознания АН УССР ведутся исследования по вопросам славянского языковедения, русско-украинских языковых связей и полтавско-клевского диалекта как основы украинского национального языка. В числе проблем Института языкознания АН Груз. ССР на 1954 г. намечена разработка общих вопросов марксистско-ленинского учения о языке, включающая две темы: 1) «Звуковые закономерности иберийско-кавказских языков» и 2) «Сравнительная фонетика картвельских языков». Раскрытие этих конкретных тем, как отметил член-корр. АН СССР Г. В. Церетели, и даст возможность подойти к общим проблемам звуковых изменений и законов в развитии языков.

Изучение грамматического строя отдельных языков в 1954 г. будет вестись во всех институтах союзных академий. В Институте языкознания АН Груз. ССР в 1954 г. будет продолжаться изучение грамматической структуры грузинского языка. Эта проблема включает тему: «Грамматика грузинского языка» (часть I — «Морфология») и др. Над научной грамматикой армянского языка будут работать сотрудники Института языка АН Арм. ССР. В Институте языка и литературы АН Тадж. ССР в 1954 г. будет закончена работа над созданием научной грамматики современного таджикского языка. В Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР по завершении работы над первой частью синтаксиса башкирского языка («Синтаксис простого предложения») в 1954 г. начнется составление второй части («Синтаксис сложного предложения»). В Институте языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР в 1954 г. предполагается подготовить следующие выпуски по грамматике киргизского языка: 1) «Система словообразования в киргизском языке» и 2) «Система словоизменения в киргизском языке». Институт языка и литературы АН Эст. ССР работает над составлением описательной и нормативной грамматики эстонского литературного языка. Институт истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР наметил на 1954 г. создание курса современного молдавского литературного языка. Институт истории, языка и литературы Карело-финского филиала АН СССР будет работать в 1954 г. над темой «Современный финский литературный язык» («Теоретическая грамматика современного финского языка», часть II).

Работа по лексикографии в разной степени отражена во всех тематических планах. В Институте языкознания АН Груз. ССР продолжается составление толкового словаря грузинского языка и будет вестись работа над сванско-грузинско-русским словарем. Институт языкознания АН УССР также продолжит работу над четырехтомным украинским словарем; параллельно ведется работа над однотономником. В Институте языка и литературы АН Эст. ССР сотрудники работают над картоетской для толкового словаря

¹ Канд. филол. наук И. А. Багмут и доктор филол. наук И. К. Белодед (Институт языкознания АН УССР), член-корр. АН СССР Г. В. Церетели (Институт языкознания АН Груз. ССР), директор Института языка и литературы Молдавского филиала АН ССР А. Т. Борщ, ст. науч. сотр. А. Я. Бириал (Институт языкознания АН БССР), зав. сектором языкознания Института литовского языка и литературы АН Лит. ССР И. И. Круопас, ст. науч. сотр. А. Я. Унверере (Институт языка и литературы АН Эст. ССР), зав. сектором словарей Института языка и литературы АН Эст. ССР Э. Ю. Нурм, канд. филол. наук Б. С. Саяргалиев (Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР), доктор филол. наук И. А. Батманов (Институт языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР), зав. Сектором языкознания Института истории, языка и литературы Карело-финского филиала АН СССР Н. И. Богданов, зав. сектором языкознания Института языка и литературы АН Тадж. ССР В. А. Лившиц. В обсуждении планов научно-исследовательской работы союзных академий приняли участие сотрудники Института языкознания АН СССР: ст. науч. сотр. Э. В. Севортян, ст. науч. сотр. С. И. Ожегов, ст. науч. сотр. И. К. Кусикьян и ст. науч. сотр. С. И. Бернштейн.

эстонского языка; в 1954 г. продолжится работа и над двуязычными словарями. В Институте языкознания АН БССР составляется белорусско-русский словарь. В тематическом плане Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР на 1954 г. отражена работа над составлением картотеки для молдавско-русского словаря.

В ряде республик в 1954 г. будет вестись работа над составлением терминологических словарей. При Институте языкознания АН Груз. ССР существует отдел научной терминологии. В 1954 г. здесь будет завершена окончательная редакция словаря по сельскохозяйственной терминологии. В Эстонии намечено составление словарей политической и экономической терминологии. В Молдавии продолжается работа над медицинскими, географическими, ботаническими и политехническими терминами.

Проблемы диалектологии представлены в планах союзных академий следующими темами: говоры Киевщины, говоры Переяслав-Хмельницкого района (АН УССР); средние говоры северо-эстонских диалектов как основа литературного эстонского языка (АН Эст. ССР); местоимения и прилагательные в белорусских говорах (АН БССР); диалектология языков Карело-Финской ССР (Карело-финский филиал АН СССР); грамматические особенности некоторых грузинских и сванских диалектов (АН Груз. ССР); диалекты башкирского языка (Башкирский филиал АН СССР); история диалектов армянского языка (АН Арм. ССР). В планах некоторых союзных академий и филиалов АН СССР отражена работа над диалектологическими атласами (АН УССР, АН Лит. ССР, АН БССР). Ст. науч. сотр. Э. В. Севортян отметил, что диалектологической работе не отведено должного внимания в планах институтов Казахской, Узбекской, Туркменской академий наук. В ряде же планов проблема диалектологии вообще отсутствует (Таджикистан).

Историческому изучению национальных языков посвящены следующие темы: вопросы исторической грамматики и истории литературного языка (АН УССР); историческая грамматика белорусского языка (АН БССР); история армянского языка (АН Арм. ССР).

Историческое изучение тюркских языков является наиболее отстающим участком работы, почти не отраженным в тематических планах лингвистических институтов тюркоязычных республик. Причинами такого отставания, по мнению Э. В. Севортяна, является: 1) отсутствие кадров квалифицированных историков языка и 2) неумение выделить первоочередные проблемы по истории языка. Э. В. Севортян указал, что в тех республиках, где отсутствуют старые письменные источники, следует обратиться к применению сравнительно-исторического метода и разворачиванию диалектологической работы (например, в Казахстане). В республиках же, где вопрос об источниках не стоит так остро или совсем не стоит, необходимо начинать с анализа тех письменных источников, которые должны быть материалом для разработки истории данного языка. Соблюдение этих предварительных условий постановки исторических исследований является обязательным.

Непосредственно связанная с историей языка работа сравнительно-исторического характера ведется только в Киргизии. Применение сравнительно-исторического метода, по мнению доктора филол. наук И. А. Батманова, затрудняется отсутствием источников по отдельным языкам; в частности, следовало бы переиздать словари М. Кашгарского и В. В. Радлова. И. А. Батманов указал, что для успешного разрешения проблемы генезиса многих тюркских языков необходимо более тесное сотрудничество тюркологов с монголистами и иранистами.

Выступление ст. науч. сотр. С. И. Ожегова было посвящено вопросам культуры речи. Указав на важность этой проблемы, С. И. Ожегов отметил, что до сих пор ей не уделялось должного внимания. В планах институтов академий наук вопросы культуры речи не находят отражения, если не считать составления грамматик и словарей, которые во многом содействуют повышению культуры речи, устанавливая грамматические, лексические и иные нормы литературного языка.

В области русского языка, сказал С. И. Ожегов, основными задачами являются установление норм произношения и ударения на основе объективных данных и изучение грамматических норм русского литературного языка. Тематикой ближайшего времени явятся вопросы стилистического упорядочения литературной речи.

Далее С. И. Ожегов, указав на важность проблемы терминологии, отметил, что хотя в союзных республиках за последнее время накоплен богатый материал и издана серия справочников по разным терминологическим вопросам, однако теоретического обобщения этой работы пока еще нет. Ряд имеющихся статей по литовской, латышской, эстонской терминологии представляет собой только начало теоретической разработки терминологических проблем. Терминологическая работа русистов должна еще только начинаться.

Ст. науч. сотр. С. И. Бернштейн указал, что в научно-исследовательских планах институтов академий наук совершенно не находит себе места описательная фонетика. Исключение составляет тема «Фонетические основы орфоэпии азербайджанского языка» в плане Института АН Азерб. ССР. Очерки по фонетике, включенные в курсы

отдельных языков (киргизского, таджикского и др.), не могут, сказал С. И. Бернштейн, претендовать на исследовательское значение.

С. И. Бернштейн предложил поставить как общую тему для институтов языкознания академий наук союзных республик и филиалов АН СССР уже с 1954 г. «Описание звукового строя языков народов Советского Союза».

Вечернее заседание 30 октября 1953 г. открылось выступлением акад. В. В. Виноградова, который ознакомил присутствующих с тематическим планом журнала «Вопросы языкознания». Напомнив о поставленных задачах, В. В. Виноградов указал, что в журнале до сих пор не освещены многие важнейшие вопросы языкознания. Журналу еще не удалось поместить ни одной значительной теоретической статьи, посвященной проблеме взаимоотношения языка и мышления. Не нашел широкого отражения важный вопрос образования национальных языков. Не удалось получить статьи, посвященной вопросам взаимоотношения морфологии и синтаксиса, проблеме соотношения лексики и грамматики, вопросам фонетики и фонологии. Мало была развита критика реакционных теорий. Недостаточно широкий и глубокий характер имели статьи, посвященные сравнительно-историческому методу, теории перевода.

Акад. В. В. Виноградов сказал, что хотелось бы получать для журнала такие статьи, в которых общие теоретические выводы сочетались бы с ярко подобранным, самостоятельно разработанным конкретным материалом. Среди проблем, разработку которых редакция хотела бы видеть на страницах журнала, В. В. Виноградов отметил следующие: 1) проблема частей речи; 2) проблема сложного предложения на материале разных языков народов Советского Союза; 3) проблема культуры речи и стилистики; 4) проблема синонимии; 5) проблема грамматической синонимии; 6) разработка теории словосочетаний на материале конкретных языков; 7) проблема периодизации истории конкретных языков и пр. Доктор филол. наук И. К. Белодед в своем выступлении указал, что в журнале помещается мало фундаментальных теоретических статей, посвященных глубокой разработке проблемы взаимоотношений языка и мышления, формирования национальных языков и языков народностей, восточнославянскому единству и т. д. Канд. филол. наук Б. С. Саяргалиев, отмечая, что журнал «Вопросы языкознания» является настольной книгой научных работников, выразил сожаление о том, что в нем мало помещается материалов о тюркских языках. Ст. науч. сотр. Института языкознания АН СССР Л. И. Жирков поставил вопрос о том, чтобы редакция журнала «Вопросы языкознания» излагала свои взгляды на основные лингвистические понятия, которыми оперирует и лингвист-теоретик и преподаватель языковедческих дисциплин. Это предложение Л. И. Жиркова подверглось резкой критике со стороны ст. науч. сотр. Института языкознания АН СССР С. И. Бернштейна, который подчеркнул положительное значение дискуссий в советской науке и указал, что сама редакция может состоять из работников, придерживающихся разных взглядов. Директор Института языка и литературы Молдавского филиала АН СССР А. Т. Борщ указал на необходимость улучшения в журнале отдела хроники.

В своем заключительном выступлении акад. В. В. Виноградов отметил, что до сих пор в журнале не осуществлены два очень важных раздела: раздел истории отечественного языкознания и отдел консультаций. Кроме того, он подчеркнул необходимость расширения отдела хроники научной жизни.

В заключение Ученым советом Института языкознания АН СССР при участии представителей академий наук союзных республик и филиалов АН СССР была принята резолюция. В резолюции план научно-исследовательской работы Института языкознания АН СССР на 1954 г. получил одобрение и отмечена необходимость более широкого участия языковедов союзных и автономных республик в коллективных трудах, предусмотренных этим планом. Утверждены заключения Института языкознания АН СССР по планам научно-исследовательских работ по языкознанию институтов союзных академий и филиалов АН СССР.

В резолюции констатируется также, что теоретические вопросы языкознания в работе периферийных языковедческих учреждений все еще не занимают того места, которое они должны занимать. Поэтому Ученый совет Института счел целесообразным сохранить на 1954 г. теоретические вопросы языкознания в числе проблем, подлежащих постоянной координации. В резолюции рекомендуется всем академиям наук союзных республик и филиалам АН СССР включиться в диалектологическую работу.

В. Л. Воронцова, Н. З. Гаджиева, А. И. Сумкина

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ БОЛГАРСКОЙ ГРАММАТИКИ

Институт славяноведения АН СССР ведет работу над коллективным трудом «Основные вопросы болгарской грамматики», который будет содержать монографии и статьи по ряду важных и малоизученных проблем¹. 7 — 9 декабря 1953 г. в Институте проходило второе совещание по вопросам болгарской грамматики, на котором были обсуждены доклады по основным разделам будущей книги.

Канд. филол. наук М. И. М а т у с е в и ч сделала доклад о результатах экспериментально-фонетического изучения согласных в современном болгарском литературном языке (изучение было проведено в лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского университета). Болгарский литературный язык начал складываться на основе восточноболгарских говоров, в частности тырновского, но затем, в связи с ростом значения Софии как столицы страны, литературная норма стала приобретать характерные черты западного наречия. В результате этого в болгарской литературной норме в отношении отдельных фонетических особенностей сейчас существуют некоторые варианты, которые в той или иной степени считаются равноправными. Детальному экспериментальному исследованию до настоящего времени было подвергнуто лишь софийское произношение (в работах Ст. Стойкова). Поэтому при подготовке книги «Основные вопросы болгарской грамматики» необходимо было выяснить на основе экспериментальных данных прежде всего фонетические особенности восточноболгарских говоров (по софийскому говору предстоит сделать лишь некоторые дополнения).

М. И. Матусевич изложила результаты изучения согласных тырновского говора. Путь проведения экспериментального исследования был следующий. Прежде всего фонетические особенности тырновского говора устанавливались на слух. Согласные при исследовании брались в трех положениях: в начале слова, в интервокальном положении и в конце слова, в абсолютном исходе. После установления фонетической характеристики болгарских согласных на слух было проведено экспериментальное исследование этих звуков при помощи рентгеноскопии, искусственного нёба (съемка палатограмм) и кимографических записей. Полученный экспериментальный материал сравнивался с экспериментальными данными Ст. Стойкова по софийскому произношению и с данными современного русского языка, по которому также были сняты некоторые важные для сравнения рентгенограммы и палатограммы.

Основные фонетические особенности тырновских согласных сравнительно с софийскими и русскими, отмеченные М. И. Матусевич, следующие: 1) апиальность образования переднеязычных согласных; в этом отношении наблюдается различие с положением в русском языке; с софийским произношением различия нет; 2) большая, чем в софийском произношении, степень мягкости согласных; 3) отсутствие различия в произношении мягких согласных перед гласными заднего ряда и перед *и, е*; в софийском произношении мягкий согласный встречается только перед гласными заднего ряда, а перед гласными *и, е* произносится твердый; 4) отсутствие, в основном, аффрицированных переднеязычных смычных мягких согласных, что характерно и для софийского произношения; 5) тенденция придыхательности глухих, не свойственная русскому языку; 6) отсутствие конечных звонких согласных и конечных мягких, что наблюдается и в софийском произношении.

В прениях по докладу М. И. Матусевич выступили московские фонетисты: доктор филол. наук В. А. А р т е м о в, ст. науч. сотрудники Института языкознания А. А. Р е ф о р м а т с к и й и С. С. В ы с о т с к и й. Они дали высокую оценку работе М. И. Матусевич, отметив, что исследование проводится на базе последних достижений экспериментальной фонетической науки. Очень удачным было признано применение при исследовании одного объекта разных методов (слуховой анализ, рентгенограммы, палатограммы, кимограммы). По некоторым вопросам московские специалисты поделились своим опытом.

Уже на первом совещании при обсуждении проспекта книги «Основные вопросы болгарской грамматики» стало ясно, что тема «Простые и сложные времена в болгарском языке» потребует от авторского коллектива особого внимания и большой работы. Совещание показало, что между болгароведами имеются значительные расхождения по этому сложному вопросу болгарской грамматики.

На втором совещании канд. филол. наук В. В. Б о р о д и ч сделала доклад «Значение простых и сложных времен в болгарском языке». В. В. Бородин убедительно показала несостоятельность или недостаточность существующих в грамматической литературе (Ю. Трифонов, Б. Цонев, Л. Андрейчин) определений значения простых и сложных времен в болгарском языке и предложила свое решение этого вопроса.

¹ См. И. К. Б у н и н а, Обсуждение основных вопросов болгарской грамматики, «Вопросы языкознания», М., 1953, № 1, стр. 155—157. Проспект труда и сокращенный стенографический отчет о первом совещании опубликованы в «Кратких сообщениях» Ил-та славяноведения АН СССР, вып. 10, М., 1953.

По мнению докладчика, основное противопоставление аориста перфекту выражается «...в том, что при аористе действие как бы проходит перед глазами говорящего, т. е. предполагается, что данное действие наблюдается говорящим лицом, а при перфекте — действие дается как факт, т. е. оно не может быть наблюдаемым (хотя это действие и могло быть совершено на глазах у говорящего или даже совершено им самим, но это для него не имеет значения: для него важен только факт совершения действия — факт, в котором он заинтересован; он как бы не наблюдает данного действия)». Плюсquamперфект (определяемый обычно как прошедшее действие, бывшее прежде другого прошедшего) может выражать действие предшествующее, последующее или одновременное с другим; дело не в том, какое действие выражает плюсquamперфект, а в том, что это действие представляется как факт, а не как процесс. В этом отношении плюсquamперфект полностью совпадает по значению с перфектом. Перфект и плюсquamперфект противопоставляются аористу и имперфекту, представляющим действие как процесс. Между собой перфект и плюсquamперфект формально различаются только глагольной связкой: в перфекте она употребляется в настоящем времени, в плюсquamперфекте — в прошедшем. Поэтому перфект всегда имеет связь с настоящим, а плюсquamперфект такой связи с настоящим не имеет. Нет случаев, когда бы аорист или имперфект нельзя было бы заменить перфектом или плюсquamперфектом, а перфект и плюсquamперфект, в свою очередь, — аористом или имперфектом. Но перфект предпочитается аористу там, где говорится о действиях ненаблюдаемых, предполагаемых и т. д. Наоборот, аорист предпочитается перфекту, если речь идет о наблюдаемых, последовательных в повествовании действиях. Таким образом, нельзя установить твердых правил употребления той или другой формы, можно лишь говорить о предпочтительном употреблении в том или ином случае перфекта или аориста, плюсquamперфекта или имперфекта. Все зависит от точки зрения автора на глагольное действие и от стиля повествования.

Так называемые времена пересказывания являются только частным случаем употребления сложных прошедших времен. Это дальнейшее их развитие, использование для передачи ненаблюдаемого действия, о котором узнают с чужих слов.

В прениях по докладу выступили: сотрудники Института языкознания АН СССР доктора филол. наук Н. С. Поспелов и П. С. Кузнецов, сотрудники Института славяноведения кандидаты филол. наук И. К. Бунина, Э. А. Якубинская, Е. В. Чешко; преподаватели Г. В. Казачкова, Е. А. Захаревич (ЛГУ) и Н. В. Котова (МГУ). Было отмечено, что доклад вызвал большой интерес, в нем содержится ряд верных наблюдений. По изучению значения простых и сложных времен, несомненно, уже проделана значительная работа, однако считать ее законченной нельзя. Докладчику не удалось в полной мере выделить из всего многообразия значений, которые имеет перфект, то, что является в нем сейчас основным; определение значения сложных времен вызывает возражения. Большие споры на совещании развернулись по вопросу о пересказывательном наклонении.

Канд. филол. наук Ю. С. Маслов, сделавший доклад на тему «Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке», познакомил участников совещания с основными принципиально важными особенностями морфологической системы болгарского глагольного вида в отличие от вида других славянских языков и прежде всего — русского. Остановившись кратко на сходстве в области морфологии глагольного вида между болгарским языком и другими славянскими языками и указав морфологические особенности видовой системы болгарского языка, связанные со своеобразием состава форм болгарского глагола, докладчик центральное место отвел тем морфологическим особенностям вида, которые касаются самой структуры видовой системы как таковой, независимо от ее связей с другими грамматическими категориями глагола: эти особенности были перечислены и важнейшей из них было уделено основное внимание.

Первой и очень важной чертой своеобразия видовой системы болгарского глагола является значительно более широкая, чем в других славянских языках, способность образования производных основ несовершенного вида. Проведенное сравнение болгарского языка с русским языком позволяет видеть, что в болгарском (кроме единичных фактов) только внешние фонетические или фонетико-морфологические причины ведут к отсутствию производных основ несовершенного вида, к тому же процент подобных случаев в общей массе глаголов невелик; в русском языке причины отсутствия производных основ несовершенного вида гораздо разнообразнее, они в большей мере коренятся во внутренних, смысловых факторах, в значении соответствующих глаголов, и вообще само это явление распространено гораздо шире. Рассмотрение положения в болгарском языке убеждает в том, что возможность образования производных глаголов несовершенного вида развита здесь не только в большей мере, чем в русском, но что возможность эта в болгарском языке почти безгранична. Что же касается других славянских языков, то в них, насколько можно судить по грамматической литературе, положение дел в общем более или менее аналогично тому, которое имеется в русском. Исходя из этого, можно считать, что данная черта болгарского языка — почти неограниченная возможность образования в нем производных основ несовершенного вида —

есть его специфическая особенность, не встречающаяся в таких размерах ни в одном другом славянском языке. Последствия отмеченной особенности болгарского языка для его видовой системы в целом весьма значительны.

1. Почти неограниченная возможность создания производных основ несовершенного вида приводит к тому, что в болгарском языке чрезвычайно суженной оказывается группа непарных глаголов совершенного вида. Наличие в болгарском языке регулярных видовых пар типа *ругна* — *рухвам* «рухнуть», *отшумя* — *отшумявам* «отшуметь», *зарева* — *заревавам* «зареветь» и т. д. заставляет по-иному, нежели в русском языке, ставить вопрос о соотношении собственно видовых значений (т. е. «совершенности» и «несовершенности») и таких более специальных и специфических значений, как мгновенное, начинательное, финитивное, охвата длительности и некоторых других. Для русского языка перечисленные специальные значения обычно справедливо квалифицируются как «подвиды», выделяемые внутри более общей категории совершенного вида. В болгарском языке картина иная: перечисленные значения оказываются представленными в обоих видах — совершенном и несовершенном. «Мгновенность», «начинательность», «финитивность» и т. д. не могут рассматриваться здесь как «подвиды» внутри одного из видов. Это — «способы действия», лексико-грамматические разряды глаголов. Вид глагола и способ глагольного действия выступают в болгарском языке как независимые друг от друга категории: способ действия не предопределяет вида.

2. Почти неограниченная возможность создания производных основ несовершенного вида ведет к тому, что среди различных морфологических типов видовых пар, представленных в славянских языках, в болгарском почти безраздельно господствующим становится один тип, а именно — глагол совершенного вида: производный от него глагол несовершенного вида, например: *онемея* — *онемеявам* «онеметь». Остальные типы пар оттесняются на задний план. Чистыми видовыми парами, т. е. такими парами, члены которых отличаются друг от друга одним только видом, при полном тождестве оттенка лексического значения, являются в болгарском языке пары, возникшие в процессе создания производных основ несовершенного вида. В результате развития этих пар соответствующие «первичные несовершенные глаголы» оказываются в болгарском языке изолированными, превращаются в непарные глаголы *imperfectiva tantum*.

3. Почти безраздельное господство в болгарском глаголе видовых пар одного морфологического типа (совершенный глагол: производный от него несовершенный) ведет к тому, что в современном болгарском языке система видовых пар является в общем наиболее «регулярной» в сравнении с системой видовых пар других славянских языков. Относительная простота и единообразие формальных средств придают видовым парам господствующего в болгарском языке типа чрезвычайно «правильный» характер и делают соответствующие парные глаголы более похожими на формы одного слова, чем это имеет место в видовых парах всех других морфологических типов, встречающихся и не встречающихся в болгарском языке; по своим значениям, по выражаемому в них «способу действия» производные глаголы несовершенного вида, составляющие пару со своими производящими, ничем от них не отличаются, тогда как в других типах пар различие лексических оттенков в той или иной степени имеет место. Вследствие этого точка зрения, рассматривающая парные глаголы совершенного и несовершенного вида как формы одного слова, будучи высказана акад. В. В. Виноградовым применительно к русскому языку, в еще большей мере справедлива для болгарского. Традиционное рассмотрение парных глаголов болгарского языка как разных глаголов должно быть отвергнуто. Регулярность болгарской системы видовых пар с ее почти безраздельным господством пар, возникших путем имперфективации, не следует понимать в том смысле, будто вся система видовых отношений болгарского глагола отличается чрезвычайной простотой.

Изучение морфологии глагольного вида позволяет сделать следующий вывод (пока еще не окончательный, так как он пуждается в проверке на материале синтаксиса). Нельзя считать, будто в болгарском языке система совершенного и несовершенного вида отстает в своем развитии по сравнению с другими славянскими языками. Мнения подобного рода исходят, очевидно, не из анализа реального положения дел в современном болгарском языке, а из априорного соображения: раз в болгарском языке сохранились в качестве живых категорий аорист и имперфект, значит вид развился здесь слабее, чем в других славянских языках.

Предпосылкой такого рассуждения является гипотеза о том, что исчезновение аориста и имперфекта в русском, чешском, польском и других языках есть следствие бурного развития видов, сделавшего ненужными старые различия этих времен. Но гипотеза эта не доказана, и даже в том случае, если она верна для других славянских языков, она вовсе не обязательна для болгарского. Факты показывают другое: несмотря на сохранение имперфекта и аориста, система вида развита в болгарском ничуть не в меньшей степени, чем в других современных славянских языках. Для болгарской видовой системы в целом большую роль играет почти неограниченная способность образования производных основ несовершенного вида. А эта особенность может служить признаком высокого развития вида, признаком чрезвычайно последо-

вательного осуществления в болгарском языке основной тенденции, наблюдаемой в развитии видовой системы во всех славянских языках.

Доклад Ю. С. Маслова получил высокую оценку; описание морфологии глагольного вида, содержащееся в докладе, было признано интересным и убедительным. Большинство сделанных выступавшими замечаний или имели характер дополнений, или касались частных вопросов. В некоторых общих положениях разошлись с мнением докладчика П. С. Кузнецов (высказавший точку зрения, что парные глаголы совершенного и несовершенного вида не следует рассматривать как формы одного слова) и В. В. Бородин (считающая, что вид в болгарском языке представляет собой совершенно иную категорию, чем в других славянских языках, и что именно об этом следует говорить, а не о более сильном или более слабом развитии вида в болгарском языке по сравнению с другими славянскими языками).

Доклад «Словосочетания с предлогом *с* в болгарском литературном языке» сделала канд. филол. наук Е. В. Чешко. Одним из важнейших разделов темы о выражении синтаксических отношений существительного в болгарском языке является вопрос о предложных словосочетаниях, поскольку в болгарском языке, в значительной степени утратившем падежные флексии, предлогам принадлежит исключительно важная роль в выражении синтаксических отношений имени.

При изучении синтаксических отношений существительного, выражаемых словосочетаниями с одним предлогом, перед исследователями встают следующие задачи: 1) дать классификацию типов смысловых отношений, выражаемых сочетаниями существительных с данным предлогом, определив отношения этих типов друг к другу, т. е. показать, что объединяет и разграничивает отдельные типы отношений, выражаемых припомощи данного предлога; 2) рассмотреть данные типы смысловых отношений с точки зрения их связи с собственным значением предлога, т. е. выделить те типы отношений, в которых предлог выступает во всей полноте своего лексического значения, называя данный тип связи предметов и явлений и, с другой стороны, те смысловые отношения, в которых лексическое значение предлога ослабляется или вовсе утрачивается и он превращается в показатель определенной грамматической связи слов. Подобный анализ будет означать оценку роли предлога как определенного грамматического средства выражения синтаксических отношений имени. Определение путей и условий грамматикализации предлогов — одна из важнейших задач болгарской грамматики. Анализ данных явлений в словосочетаниях с отдельными предлогами явится основным материалом для решения этого вопроса: 3) исследовать конкретные условия образования тех или иных смысловых соотношений, их зависимость от грамматических и лексических особенностей сочетающихся слов, от синтаксических условий, от условий контекста; 4) рассмотреть предложные сочетания с точки зрения их роли в предложении.

Е. В. Чешко изложила затем итоги исследования словосочетаний с предлогом *с*, проведенного в указанном плане.

Выступавшие в прениях с удовлетворением отмечали, что в разработке сложного вопроса о предложных словосочетаниях Е. В. Чешко находится на правильном пути. Т. П. Рыбальченко отметила, что работа Е. В. Чешко даст много и для практики преподавания болгарского языка. Некоторые сомнения по поводу выдвинутых докладчиком положений, касающихся вопроса грамматикализации предлогов, были высказаны Ю. С. Масловым, который предложил обратить внимание на следующий вопрос: может быть, нужно говорить о грамматикализации предлога только по отношению к предлогу *на*, во всех же других случаях — не об утрате собственного значения предлога, а о значении более близком к этимологическому, о значении переносном и т. д. В заключительном слове Е. В. Чешко, указав на сложность затронутого Ю. С. Масловым вопроса, сказала, что совершенно ясной для нее представляется необходимость разграничивать свободное и связанное употребление предлога.

Закрывая совещание, проф. С. Б. Бернштейн отметил, что совещание много дало коллективу Института, материалы совещания будут тщательно изучены и окажут помощь коллективу в его работе над книгой «Основные вопросы болгарской грамматики». С. Б. Бернштейн кратко осветил состояние работы над книгой и остановился на трудности этой работы: оторванность от живой речи (в целях возможного для нас преодоления этой трудности необходимо расширить используемый текстовый материал), недостаточность имеющегося у исследователей «ощущения» языка, наличие диалектизмов в языке писателей. С. Б. Бернштейн выразил уверенность в том, что, несмотря на трудности, коллектив института сделает в срок работу и выпустит книгу, нужную и для науки, и для практического преподавания болгарского языка.

М. Г. Сенкевич

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка)	3
Н. И. Конрад (Москва). О литературном языке в Китае и Японии	25

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. Бокарев (Москва). Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков	41
Р. А. Будагов (Москва). К вопросу о языковых стилях	54

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. А. Магомедов (Тбилиси). Неизданная монография П. К. Услара о та- басаранском языке	68
--	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. К. Чичагов (Москва). Филологические заметки (К выходу в свет пер- вого научного издания новгородских грамот на бересте)	77
---	----

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

К. Яначек (Прага). Что мы знаем в настоящее время об этруском языке?	93
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Белецкий (Киев). <i>Р. А. Будагов. Очерки по языкознанию</i>	102
Т. Г. Брянцева и Р. М. Цейтлин (Москва). Инструкция для состав- ления «Словаря современного русского литературного языка» (в трех томах)	111
М. А. Соколова (Ленинград). <i>П. Я. Черныш. Язык Уложения 1649 года.</i>	122
Э. А. Макаев (Москва). <i>М. И. Стеблин-Каменский. История скандинавских языков</i>	126

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вал. Вас. Иванов (Москва). Обсуждение вопросов формирования русской народности и нации	133
В. Л. Воронцова, Н. З. Гаджиева, А. И. Сумкина (Москва). В Институте языкознания АН СССР	151
М. Г. Сенкевич (Москва). Совещание по вопросам болгарской грамматики	156

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции)
Р. А. Будагов, В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов,
Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного
редактора), В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42.

Т-04010	Подписано к печати 19. V. 1954 г.	Тираж 14 000 экз.	Зак. 182
Формат бумаги 70×108 ³ / ₁₆ .	Бум. л. 5	Печ. л. 13,7	Уч.-изд. 17.0

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ИСПРАВЛЕНИЯ

в № 3 журнала «Вопросы языкознания»

Стр.	Строки сверху	Напечатано	Следует читать
92	17	<i>и сбил</i>	<i>и сбил</i>
132	11	<i>ґеіѢ</i>	<i>ґаѢ</i>
132	12	<i>hvađá</i>	<i>hvađ á</i>
145	13	имеют характер	имеют особый характер

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанными литературно подписанными автором.

После подписи сообщаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес, телефон.

2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15—20 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завизирована автором.

4. Названия источников даются без всяких сокращений. При ссылках (в тексте и сносках) указываются автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), место издания, год издания, страницы.

5. При ссылке на труд иностранного автора следует указывать и фамилию автора, и название труда в тексте статьи по-русски (в сносках — на языке книги).

6. Все иноязычные примеры должны быть снабжены переводами.

7. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать волнистой чертой), а значения — в кавычках.

8. Автор должен обязательно указывать инициалы имени и отчества упоминаемых в статье лиц.

9. Авторская правка в сверстанных листах не допускается.

10. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.